В НАЧАЛЕ МАЯ
ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ
№ 3 (13)
ЖУРНАЛА
„КРАСНАЯ НОВЬ"

СОДЕРЖАНИЕ:

М. Горький. Автобиографические рассказы.
М. Пришвин. Кощеева цепь—хроника.
А. Малышкин. Вокзалы—повесть (окончание).
Всев. Иванов. Голубые пески—роман (окончание).
Б. Пильняк. Волки—рассказ.
СТИХИ: **В. Брюсова, М. Волошина, С. Клычкова, Н. Антокольского, В. Инбер.**
Л. И. Аксельрод. Методологические основы социологии (**Ортодокс**). в их развитии.
И. Майский. Демократическая контр-революция.
Ю. Ларин. Деревня и бюджет.
А. С. Мартынов. Великая историческая проверка (продолж.).
Проф. Иванцов. Новый поход против Дарвина.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ.

П. С. Коган. Современная литература за рубежом (продолж.).
Н. И. Иорданский. Между историей и политикой (продолжение).
В. Полонский. Мысли о культуре и некультурности.
А. Воронский. О группе писателей „Кузница".

ВНУТРИ СОВЕТСКОЙ РОССИИ.

Ив. Вольнов. „Сход".
О. Форш. „Живцы".

ИЗ БЕЛОЙ ПРЕССЫ.

Георгий Виллиам. Побежденные—очерки.

БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии: **Б. Андреева, С. Боброва, Б. Завадовского, С. Клычкова, В. Кряжина, проф. Пинкевича, Ю. Соболева, Н. Спасского и др.**

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, Сретенский бульвар, 6, Главполитпросвет. ═══ Телефон № 2-71-00

Прием у редактора по понедельникам, средам и пятницам от 1 ч. до 3 ч.

Под Знаменем Маркизма

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ.

№ 4—5

Апрель — Май 1923.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕРИАЛИСТ"
МОСКВА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

ВЫХОДИТ ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ:

А. Деборина, В. Невского, Д. Рязанова, А. Тимирязева.

№ 4–5

АПРЕЛЬ — МАЙ 1923

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „МАТЕРИАЛИСТ“
МОСКВА

Главлит. № 9834. Тираж 8.000 экз.

„Мосполиграф"—20-я типография „Красный Пролетарий". Цименовская ул., д. 1/16.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

Д. Рязанов.—Пояснительные замечания к статьям Маркса и Энгельса . . . . . —
Маркс и Энгельс.—Полемика с Карлом Гейнценом:
I. Фр. Энгельс.—Коммунизм и К. Гейнцен 9
II. К. Маркс.—Морализующая критика и критикующая мораль . . 21

А. Деборин.—Вступительные замечания к статьям Дидро 42
Дидро.—Статьи из Энциклопедии:
I. Эпикуреизм 44
В. Юринец.—Эдмунд Гуссерль 61

К. Корнилов.—Современная психология и марксизм 86

А. Тамиразов.—Диалектика в естествознании 115
И. Стуков.—В плену у релятивизма 132
А. Максимов.—Теория относительности и материализм 140

Мих. Павлович.—Ленин, как разрушитель народничества 157
Б. Шеболдаев.—Бабувизм и рабочие в Вел. Франц. Рев. 183

М. Покровский.—О книге академика Лаппо-Данилевского 190
Полянский.—О „левом фронте" в искусстве 197

Ст. Кривцов.—В. В. Воровский. 210
В. Невский.—Л. Мартов 222

Э. Гольденберг.—Еще несколько слов об общественно-необходимом труде 229
А. Мендельсон.—К вопросу о различных версиях в трактовке понятия „об общественно-необходимом труде" 230
В. Поздняков.—Формула схемы простого воспроизводства 245

Сообщения и заметки. 246

Трибуна.

Н. Бабахан.—В защиту ленинизма 248
Материалист.—Ответ тов. Бабахану 257

Библиография.

В. В—ян.—Национальный вопрос в Р.К.П. 268
Г. Баммель.—Мюллер Фрайфелс 280
В. В—ян.—Фр. Энгельс.—Л. Фейербах 283
В. Румий.—К. Диль.—Социализм, коммунизм, анархизм 284
И. Вайнштейн.—Э. Енчмен—Теория новой биологии 285
В. Семенченко.—О книге Штарка 293
В. Мотылев.—И. И. Рубин.—Очерки по теории Маркса 295
И. Л.—А. Ефремин.—Методическое пособие по полит. грамоте 296
В. Полянский.—К 75-летию революции 48 г. 298
Ц. Фридланд.—А. Саймонс.—Классовая борьба в истории Америки 299

Пояснительные замечания к статьям Маркса и Энгельса.

Вопрос о том, как велика в том идейном монолите, каким является духовное наследство Маркса и Энгельса, в революционном коммунизме, доля каждого из них, что именно каждый из них принес в него, может показаться праздным, схоластичным. Но этот вопрос имеет не только личный, чисто биографический интерес. Поэтому он был поставлен уже Энгельсом, который и дал на него ответ.

Если бы могли выделить те основные мысли, которые, согласно Энгельсу, принадлежат исключительно одному Марксу, то мы были бы в состоянии, исследуя своеобразное развитие Маркса и Энгельса, установить те особенные влияния, те особенные условия, под воздействием которых они пришли к тому или иному выводу, к той или другой идее. Так не подлежит никакому сомнению, что несмотря на то, что общая атмосфера, в которой росли и развивались оба основателя научного социализма, была в общем однородна, каждый из них шел особым путем до того времени, когда они независимо друг от друга достигали в общем одинаковых идейных результатов. Это своеобразие можно констатировать и до 1841 г., когда оба пришли к крайним выводам в области философии и от 1843 г., когда можно отметить преобладание в идейном творчестве у Маркса—французского влияния, а у Энгельса—английского.

Отчетливая разница замечается не только в количестве идей, внесенных каждым из них, но и в их качестве, в интенсивности работы мысли, в глубине захвата и в основательности разработки. Достаточно сравнить проэкт, „Коммунистического Манифеста", написанный Энгельсом, и его окончательную редакцию, которая принадлежит, как литературный продукт, исключительно Марксу, чтобы не только выделить то, что внесено последним в идейное содержание манифеста, но и заметить, как велика разница в степени выразительности, ударности, отчетливости, лапидарности, с какой каждый из них выражает иногда одну и ту же мысль.

Это самое явление мы можем также констатировать и во всех тех идейных схватках, которые Марксу и Энгельсу пришлось иметь с противниками и в которых они, с 1845 до 1848 г., выковывали все отличительные признаки своего миросозерцания в противоположность „немецким философам", „истинным социалистам" и Прудону.

Особенно отчетливо эта разница проявляется в последней борьбе

которая завязалась незадолго до написания „Коммунистического Манифеста". В этом случае Маркс и Энгельс вынуждены были не доказывать, как в полемике против „истинных социалистов", необходимость политической борьбы, как интегральной части всей пролетарской классовой борьбы, а наоборот, как политики подчеркнуть принципиальную разницу между буржуазной и пролетарской демократией, между „политикой" коммунистов и „политикой" буржуазных республиканцев и демократов.

Это была борьба против Карла Гейнцена, который с 1846 г., вместе с Руге, открыл полемику против коммунистов, а с 1847 г. сумел создать себе последователей среди немецких рабочих в Швейцарии и Англии. Уже в пробном выпуске „Коммунистического Журнала" редакция очень мягко указывает Гейнцену на то, как неосновательны его нападки. Она видит в нем союзника, с которым можно итти вместе в общей борьбе против абсолютизма.

„Карл Гейнцен, повидимому, или совсем не знает коммунизма, или увлекся личной враждой, какая существует между ним и некоторыми коммунистами, и стал поносить великую партию, стоящую в самых первых рядах демократической армии. Прочитав его нападки на коммунистов, мы были в высшей степени изумлены, потому что задеть нас его оскорбления не могли, так как таких коммунистов, как он их описывает, и на свете нет, и он, вероятно, создал их силой своего воображения специально с целью затем их уничтожить. Мы говорим, мы были изумлены, так как нам непонятно было, как мог демократ бросить таким образом факел раздора в ряды своих собственных собратьев по оружию; но еще более возросло наше изумление, когда мы прочитали его брошюру до конца и нашли там его девять пунктов, в которых он требует почти то же самое, что и коммунисты. Единственное различие между нами в том, что гражданин Карл Гейнцен смотрит на свои девять пунктов, как на основу нового общественного строя, мы же видим в них основу лишь переходного периода, который должен привести нас к полному коммунизму. Разумным было бы поэтому объединиться нам всем для достижения требований Карла Гейнцена; если, придя к этому, народ удовлетворится и на том остановится, мы подчинимся его воле; но если он решит итти дальше, вместе с коммунистами, то надо полагать, что и гражданин Гейнцен также не будет иметь ничего против. Нам известно, что гражданин Гейнцен на всевозможные лады преследуется нашими угнетателями, он оклеветан ими и поруган. Немудрено, что он в раздраженном состоянии; поэтому у нас нет ни малейшего желания со своей стороны напасть на него; наоборот, мы не откажемся протянуть ему руку для объединения. В единстве сила, и только оно и в состоянии привести нас к цели".

Трудно было более осторожно формулировать разногласия с Гейнценом. Редакция, верная тезису, формулированному после в Манифесте—„коммунисты повсюду стремятся к соединению и соглашению демократических партий всех стран"—выражала готовность вступить

в соглашение с демократами типа Гейнцена, не отказываясь, конечно, от права относиться критически к их иллюзиям и фразам.

Но Гейнцен оттолкнул протянутую ему руку. Он выступил с еще более резкими нападками на коммунистов. Только тогда выступил против него Энгельс, а затем и Маркс.

Оба они с давних пор хорошо были знакомы с Гейнценом. Марксу приходилось еще работать вместе с ним в редакции „Рейнской Газеты", куда Гейнцен, тоже уроженец Рейнской провинции (родился 22 февраля 1809 г. в Гревенбройхе, в Дюссельдорфском округе) попал к концу 1842 г. Он служил в Бюро Рейнской железнодорожной компании в Кельне и сотрудничал в „Рейнской Газете". В 1844 г. он опубликовал свою книгу о „Прусской бюрократии", которая сейчас же была конфискована и навлекла на Гейнцена судебное преследование. Он уехал тогда за границу, сначала в Брюссель, где встретился с Фрейлигратом и Марксом. Еще в Бельгии он опубликовал новую брошюру, гораздо более резкую, против прусской администрации и юстиции („Ein Steckbrief" 1845). После он вместе с Фрейлигратом уехал в Швейцарию, где, при сотрудничестве Руге и Гервега, издавал в 1846 г. периодический сборник „Opposition".

В это время Гейнцен не был еще революционером. Наоборот, он считал своей задачей сделать революцию ненужной и только предлагал оппозиции стать более энергичной, пуская в ход против правительства как активное, так и пассивное сопротивление. Последнему способу он придавал в особенности большое значение. Вместе с тем он полемизировал очень резко против „истинных социалистов", отрицавших всякую политическую борьбу. Постольку он был прав, но его нападки потеряли всякий смысл, когда, став, наконец, на революционный путь в 1847 г., он обрушился на новое течение среди коммунистов, упрямо смешивая Энгельса и Маркса с Грюном и другими „истинными социалистами". Всем этим „заоблачным" и „оторванным от жизни" коммунистам, проповедывавшим „классовую борьбу", он противопоставлял чистую демократию и федеративную республику на манер швейцарской и северо-американской.

Предоставим теперь слово Мерингу:

„Порицание, мимоходом высказанное „Немецкой Брюссельской Газетой" 12 сентября этому коммунистоеду, вызвало длинное возражение со стороны Гейнцена, которое было напечатано редакцией и теперь, конечно, не могло быть оставлено без внимания Марксом и Энгельсом. Последний ответил 3 и 7 октября двумя статьями, которых, к сожалению, не оказалось в единственно сохранившемся экземпляре газеты. Гейнцен ответил на письмо еще более длинной барабанной статьей против коммунизма. Этот ответ занял 31 октября в газете не менее девяти длинных столбцов. Это вызвало на поле битвы Маркса, который напечатал ряд статей против Гейнцена 28 и 31 октября, 11, 18 и 25 ноября".

Меринг мог поэтому напечатать в своем собрании только статью Маркса, к сожалению, с большими сокращениями.

Мы печатаем теперь в том же порядке, в каком они появились, обе статьи. Только в этом виде они дают полное представление о полемике с Гейнценом, которая, по содержанию своему, сохраняет не только исторический интерес, как один из важнейших документов в истории духовного развития Маркса и Энгельса, но и злободневный. Читатель найдет в них материалы как по вопросу об отношениях между „экономикой“ и „политикой“, между „чистой“ и „пролетарской“ демократией, так и по такому частному вопросу, как „внеклассовая теория германского самодержавия“.

Сравнение обеих статей покажет также, как различно, несмотря на одинаковость основных взглядов, Маркс и Энгельс трактовали один и тот же предмет. Все особенности литературной манеры каждого из них особенно ярко вырисовываются в этих статьях. Оба были прекрасными полемистами, оба были блестящими стилистами и, несмотря на это, какая разница между Марксом и Энгельсом!

Так же ясно проступает и другое различие, которое в дальнейшем развитии Маркса и Энгельса несколько ослабевает, но продолжает сохраняться. Маркс был по преимуществу теоретиком пролетарской классовой борьбы, внимательно исследовавшим почву, на которой она развивалась, условия, при которых она развертывалась,—ее главным стратегом. Энгельс, теоретически образованный, интересовался, однако, больше вопросами непосредственной борьбы, был ее тактиком, прилагавшим основные принципы в повседневной политике—не всегда с одинаковым успехом.

Правда, мы и в статье Энгельса находим блестящие теоретические экскурсы, великолепные формулировки. Так классическое определение научного коммунизма, как „теоретического выражения положения, которое занимает пролетариат в классовой борьбе между ним и буржуазией и теоретического суммирования условий освобождения пролетариата“, определение, которым Энгельс начинает и свой проект „Коммунистического Манифеста“.

Гейнцен ответил Марксу брошюрой „Герои тевтонского коммунизма. Посвящается Карлу Марксу. Берн, 1848 г.“, но она вышла уже летом 1848 г., когда Маркс и Энгельс даже самого заядлого радикала могли бы удовлетворить той энергией, с которой они выполняли свои обязанности в революционной борьбе. Несмотря на это, брошюра Гейнцена стоит прочтения, ибо она убедительно показывает, как в сущности стары и заплесневелы те аргументы, которые выдвигались, как „новые“ и „оригинальные“, против Маркса и Энгельса, против пролетарской демократии.

Бравый Гейнцен после эмигрировал в Америку, где он вел в различных газетах борьбу против рабства, а среди немецких эмигрантов продолжал воевать против Маркса и проповедывать свой демократизм.

Он умер 12 ноября 1880 года.

Д. Рязанов.

Коммунисты и К. Гейнцен.

Первая статья.

Брюссель, 26 сентября. Сегодняшний номер „Немецко-Брюссельской газеты“ содержит статью Гейнцена, в которой последний под предлогом самозащиты против незначительного упрека редакции открывает длинную полемику против коммунистов.

Редакция советует обеим сторонам отказаться от полемики. В таком случае, однако, ей следовало бы опубликовать из статьи Гейнцена только ту ее часть, в которой он действительно защищается против упрека в том, будто он первый обрушился на коммунистов. Если Гейнцен и „не имеет в своем распоряжении никакого органа печати“, то это еще не является достаточным основанием для того, чтобы в его распоряжение была предоставлена газета для опубликования нападок, которые сама редакция этой газеты считает нелепыми.

Впрочем, нельзя себе представить лучшей услуги, чем та, которая была оказана коммунистам опубликованием этой статьи. Никогда ни против одной партии не выдвигались более глупые и более бессодержательные обвинения, чем те, которые Гейнцен здесь бросает по адресу коммунистов. Статья является лучшим оправданием коммунистов. Она доказывает, что если бы коммунисты до сих пор не нападали на Гейнцена, они должны были бы это немедленно сделать.

Господин Гейнцен с самого начала выступает, как представитель всех немецких радикалов, не примыкающих к коммунистам. Он хочет спорить с коммунистами, как партия с партией. Он „имеет право требовать“, он устанавливает с величайшей решительностью, „на что коммунисты способны“, чего от них „следует ожидать“ и что „является долгом истинных коммунистов“. Он отождествляет свое расхождение с коммунистами с расхождением с последними „немецких республиканцев и демократов“, и выступает, как „мы“ от имени этих республиканцев.

Кто такой господин Гейнцен и кого он представляет?

Господин Гейнцен—бывший либеральный мелкий чиновник, который еще в 1844 году воодушевлялся идеей прогресса в пределах законности и немецко-конституционной мизерией и который в лучшем случае в дружеской беседе шопотом признавался, что, пожалуй, в очень отдаленном будущем республика станет желательной и возможной. Господин Гейнцен, однако, ошибся насчет возможности борьбы на почве закона в Пруссии. Он вынужден был бежать из-за своей плохой книги о бюрократии (даже Яков Венедей написал несколько лет тому назад гораздо лучшую книгу о Пруссии). Теперь он прозрел. Он объявил борьбу на почве закона невозможной, стал революционером и, конечно, республиканцем. В Швейцарии он познакомился с savant serieux Руге, который приобщил его к своей незатейливой философии, представляющей путанную смесь из фейербаховского атеизма и идеи человечества, отрывочных мыслей из Гегеля и Штир-

неровской риторики. Вооруженный всем этим, г. Гейнцен счел свое духовное развитие законченным и, опираясь справа на Руге, слева на Фреслиграта, начал свою революционную пропаганду.

Мы само собой не ставим г-ну Гейнцену в укор его переход от либерализма к кровожадному радикализму. Мы, однако, утверждаем, что он этот переход сделал только под влиянием личных обстоятельств. До тех пор, пока г. Гейнцен мог вести борьбу в пределах законности, он нападал на всех тех, которые поняли неизбежность революции. Но как только эта легальная борьба для него сделалась невозможной, он поспешил объявить ее невозможной вообще, не считаясь с тем, что для немецкой буржуазии эта легальная борьба пока еще вполне возможна, что она неизменно ведет борьбу в высшей степени легальными средствами. Как только для н е г о была отрезана возможность возвращения, он прокламировал необходимость революции. Вместо того, чтобы приняться за изучение политических и социальных условий Германии, чтобы ориентироваться в них и вывести отсюда, какого рода сдвиг, какое развитие и какие мероприятия необходимы и возможны, вместо того, чтобы разобраться в сложном отношении отдельных классов Германии между собой и их взаимоотношении с правительством и отсюда вывести, какой политики следует держаться, вместо того, одним словом, чтобы приспособить свою тактику к ходу развития Германии, г-н Гейнцен самым бесцеремонным образом требует, чтобы развитие Германии приспособлялось к нему.

Господин Гейнцен был резким противником философии, пока о н а е щ е б ы л а п р о г р е с с и в н а. Когда же она стала реакционной, когда она стала убежищем всех нерешительных, инвалидных и пишущих промышленников, тогда именно г-н Гейнцен на беду свою примкнул к ней. Да, еще худшее случилось с г-ном Гейнценом. Г-н Руге, который всю свою жизнь сам был простым прозелитом, приобрел в лице г-на Гейнцена своего единственного прозелита. Господин Гейнцен должен таким образом служить утешением для г-на Руге в том отношении, что в лице первого нашелся по крайней мере хоть один человек, полагающий, что ему понятны писания г-на Руге.

За что собственно агитирует г-н Гейнцен? За немедленную германскую республику, в которой традиции американской революции и 1793 года сочетаются с некоторыми мероприятиями, позаимствованными у коммунистов, и которая имеет яркий черно-красно-желтый вид. Германия занимает в силу своей промышленной отсталости такое жалкое положение в Европе, что она никогда не возьмет на себя инициативу, никогда первая не будет прокламировать революцию, никогда на свой страх и риск без Франции и Англии не провозгласит республики.

Всякое представление о том, будто бы германская республика может быть воздвигнута независимо от движения цивилизованных стран, будто бы германская революция может быть сделана на свой страх и риск и, как это выходит у г. Гейнцена, не считаться с действительным движением классов в Германии—все такие представления о республике и революции являются свободной черно красно желтой фантастикой. И чтобы сделать эту славную германскую республику еще более славной, г. Гейнцен ее разрисовывает соответственно фейербаховской идей человечества, переделанной по методу Руге, и прокламирует ее как царство „человека", которое уже почти наступило. И все эти, не знающие удержу, мечты немцы должны осуществить.

Какие методы пропаганды применяет, однако, великий „агитатор" г-н Гейнцен? Он объявляет князей главными виновниками всего горя,

всей нужды. Это утверждение не только смешно, но и чрезвычайно вредно. Г-н Гейнцен не мог бы сильнее польстить немецким князьям,— чем он это делает в данном случае, приписывая этим бессильным и слабоумным марионеткам какое-то фантастическое, сверхземное, демоническое всемогущество. Утверждая, что князья могут причинить столько несчастий, г-н Гейнцен этим признает за ними силу творить в таких же размерах и добро. Выводом отсюда является не необходимость революции, а благочестивое пожелание иметь на троне благородного князя, доброго императора Иосифа. Впрочем народ сам лучше знает, чем г-н Гейнцен, кто его угнетает. Г-ну Гейнцену никогда не удастся направить против князей ту ненависть, которую испытывает закрепощенный крестьянин против помещика, рабочий— против своего работодателя. Но господин Гейнцен работает, несомненно, в интересах помешиков и капиталистов, когда он вину за эксплоатацию, которой подвергается народ со стороны этих двух классов, приписывает не этим последним, а князьям. А между тем именно эксплоатация помещиков и капиталистов порождает девятнадцать двадцатых немецкой нищеты!

Г-н Гейнцен призывает к немедленному восстанию. Он печатает в этом смысле прокламации и старается их распространить в Германии. Мы спрашиваем: не вредит ли скорее такая бессмысленная, действующая в слепую, пропаганда интересам немецкой демократии? Мы спрашиваем: не доказал ли опыт, насколько такая пропаганда бесполезна?

Разве не были в Германии в эпоху значительно большего общественного возбуждения, чем нынешняя эпоха, а именно в тридцатых годах, распространены сотни тысяч таких летучих листков, брошюр и т. д. и разве имел хоть один из них какой-нибудь успех?

Мы спрашиваем: может ли хоть один человек в здравом уме думать, что народ будет сколько-нибудь прислушиваться к такого рода политическим проповедям и призывам? Мы спрашиваем: содержали ли когда-нибудь летучие листки г-на Гейнцена что-нибудь, кроме проповеди и призывов? Мы спрашиваем: не смехотворно ли оглашать мир призывами к революции без смысла и понимания, без знания и соображения с фактическим положением вещей?

Какова задача партийной прессы? Прежде всего дискутировать, обосновать, развивать и защищать требования партии, отвергать и опровергать претензии и утверждения противной партии. Какова задача немецкой демократической прессы? Доказать необходимость демократии, выводя ее из негодности существующего правительства, представляющего более или менее интересы дворянства, из неудовлетворительности системы конституционализма, ставящей у власти буржуазию, из невозможности для народа улучшить свое положение, пока он не обладает политической властью. Она должна выяснить тот гнет, которым подвергаются пролетарии, мелкое крестьянство и мелкое мещанство,—ибо эти-то классы и составляют в Германии „народ"—со стороны бюрократии, дворянства и буржуазии, она должна выяснить, чем обусловлено возникновение не только политического, но прежде всего социального гнета, и какими средствами он может быть устранен. Она должна доказать, что завоевание политической власти пролетариями, мелкими крестьянами и мелким городским мещанством является первым условием для осуществления этих средств. Она должна дальше исследовать, в какой мере можно рассчитывать на немедленное осуществление демократии, какие средства находятся в распоряжении партии и к каким другим партиям она должна примыкать, пока она еще слишком слаба, чтобы действовать

самостоятельно. И вот, выполнил ли г-н Гейнцен хоть одну из этих задач? Нет. Он себе не дал труда сделать это. Он ничего не объяснил народу, т.-е. пролетариям, мелким крестьянам и мелким мещанам. Он никогда не исследовал положения классов и партий. Он только разыгрывал вариации на тему: „встань, подымайся!". И к кому обращается г-н Гейнцен со своим кровавым призывом? Прежде всего к мелким крестьянам, к тому классу, который в наше время менее всего способен проявить революционную инициативу. На протяжении последних шестисот лет все прогрессивные движения были настолько связаны с городом, что самостоятельные демократические движения сельского населения (Wat Tyler, Jack Cade, Jacquerie, крестьянские войны), во-первых, всякий раз носили реакционный характер, а, во-вторых, всякий раз подавлялись. Промышленный пролетариат городов стал венцом всякой современной демократии, мелкая буржуазия и еще больше крестьяне зависят всецело от его инициативы. Это доказывает французская революция 1789 года и новейшая история Англии, Франции и Северо-Американских Штатов. А господин Гейнцен возлагает надежды на крестьянский бунт теперь, в девятнадцатом столетии?

Господин Гейнцен, однако, обещает и социальные реформы. Конечно, равнодушие народа к его призывам постепенно вынудило его к этому. А что это за реформы? Именно такие, какие сами коммунисты предлагают, как подготовительные меры к устранению частной собственности. То единственное, что заслуживает признания у Гейнцена, последний позаимствовал у коммунистов, на которых он так резко нападает. Да и это под его руками превратилось в сплошную нелепость и в чистую фантазию. Все мероприятия с целью ограничения конкуренции, с целью ограничения скопления больших богатств в руках немногих, всякое ограничение или упразднение права наследства, всякая государственная организация работы, — все эти мероприятия в качестве революционных мероприятий не только возможны, но даже необходимы. Они возможны потому, что весь восставший пролетариат стоит за ними и вооруженной рукой охраняет их. Они возможны, несмотря на все выдвинутые против них экономистами затруднения. Все эти затруднения заставят только пролетариат итти все дальше и дальше до полного упразднения частной собственности. Пролетариат вынужден будет это сделать, чтобы не потерять снова того, что было им уже завоевано. Они возможны, как подготовительные мероприятия, как переходные промежуточные ступени к упразднению частной собственности, но только в качестве таковых.

Господин Гейнцен же требует этих мероприятий, как прочных окончательных мероприятий. Они ничего не должны подготовлять, они должны быть окончательными. Они для него не средство, а цель. Они рассчитаны не на революционные, а на спокойные буржуазные условия. В силу этого они становятся невозможными и одновременно реакционными. Буржуазные экономисты совершенно правы, указывая против Гейнцена, что эти мероприятия являются реакционными в сравнении со свободной конкуренцией. Свободная конкуренция есть последняя, высшая, наиболее развитая форма существования частной собственности. Все мероприятия, следовательно, имеющие своей предпосылкой сохранение института частной собственности, и все же направленные против свободной конкуренции,—реакционны и клонятся к реставрированию низших ступеней развития собственности. Они должны поэтому в последнем счете быть снова вытесненными конкуренцией и иметь своим следствием восстановление нынешнего положения вещей. Эти возражения буржуазных экономистов, теряющие

всю свою силу, поскольку мы рассматриваем указанные выше социальные реформы, как простые mesures de salbt puulic, как революционные и переходные мероприятия—эти же возражения являются уничтожающими для аграрно-социалистически-черно-красно-желтой республики г-на Гейнцена.

Господин Гейнцен воображает, конечно, что можно изменить и организовать по произволу отношения собственности, наследственное право и т. д. Господин Гейнцен—один из невежественнейших людей этого столетия—не может, конечно, знать, что отношения собственности каждой эпохи являются необходимым результатом способа производства и сношений этой эпохи. Господин Гейнцен не может, конечно, знать, что нельзя превратить крупное землевладение в мелкое, не изменив всей системы агрикультуры, и что в противном случае крупное землевладение будет очень скоро снова восстановлено. Господин Гейнцен не может знать, какая тесная связь существует между современной крупной промышленностью, концентрацией капиталов и производством пролетариата. Господин Гейнцен не может знать, что такая экономически зависимая и порабощенная страна, как Германия, может себе позволить предпринять на свой страх и риск только такое преобразование своих отношений собственности, которое лежит в интересах буржуазии и свободной конкуренции.

Коротко говоря: У коммунистов эти мероприятия имеют разумный смысл, потому что они понимаются не как произвольные мероприятия, а как результаты, которые сами собою необходимо будут вытекать из развития промышленности, сельского хозяйства, торговли, средств сообщения, из развития обусловленной этим классовой борьбы между буржуазией и пролетариатом, при чем будут вытекать не как окончательные мероприятия, а как порожденные самой преходящей классовой борьбой mesures de salut public переходного характера.

У господина Гейнцена они не имеют никакого смысла, ибо они выступают у него, как произвольно придуманные, мещанские планы исправления мира, ибо у него нет и намека на связь этих мероприятий с историческим развитием, ибо господин Гейнцен нисколько не заботится о практической осуществимости его проектов, ибо он стремится не формулировать экономические необходимости, а, наоборот, декретами опрокинуть эти необходимости. Тот же господин Гейнцен, для которого требования коммунистов приемлемы только после того, как он их предварительно жестоко исказил и превратил в чистые фантазии,—этот же господин Гейнцен упрекает коммунистов в том, что они „производят путаницу" в головах необразованных людей, что они „гонятся за призраками" и „теряют почву действительности под ногами"!

Таков господин Гейнцен во всей его агитаторской деятельности, и мы прямо и открыто заявляем, что считаем ее безусловно вредной и компрометирующей для всей демократической партии. Партийный публицист должен обладать совсем другими качествами, чем те, которыми обладает господин Гейнцен, который, как сказано, является одним из невежественнейших людей нашего столетия. Господин Гейнцен, может быть, и преисполнен самых благих намерений, он, может быть, является самым благомыслящим человеком во всей Европе. Мы знаем также, что лично он честный человек и обладает мужеством и стойкостью. Но всего этого недостаточно, чтобы быть партийным публицистом. Для этого требуется нечто большее, чем твердость характера, благие намерения и голос Стентора. Для этого требуется немного больше ума, немного больше ясности, лучший стиль и боль-

ше знаний, чем у господина Гейнцена. Долголетний опыт показывает, что г-н Гейнцен и неспособен приобрести эти качества.

Вынужденный, однако, покинуть родину, г-н Гейнцен был поставлен в необходимость сделаться партийным публицистом. Он был вынужден сделать попытку организовать себе партию среди радикалов. Он, таким образом, занял положение, которое ему не по плечу, и его безуспешные усилия оказаться на высоте этого положения делают его только смешным. Он бы поставил этим в смешное положение и немецких радикалов, если бы они дали повод думать, что он их представляет, что он делает себя смешным от их имени.

Но г. Гейнцен не представляет немецких радикалов. Эти имеют совсем иных представителей,—напр. Якоби и других. Господин Гейнцен не представляет никого и никем не признан представителем, за исключением немногих немецких буржуа, которые поддерживают деньгами его агитацию. Впрочем, мы ошибаемся. Один класс в Германии признает его своим представителем, восторженно поклоняется ему, шумно агитирует в его пользу, в ресторанах покрывая своим голосом голоса всех ресторанных гостей (точь-в-точь как, по словам Гейнцена, „коммунисты перекричали всю литературную оппозицию"). Этим классом является многочисленный, просвещенный, стойкий в убеждениях и влиятельный класс коммивояжеров.

И этот господин Гейнцен требует от коммунистов, чтобы они его признали представителем радикальных буржуа и дискутировали бы с ним как с таковым.

Все изложенное до сих пор дает уже достаточно оснований для оправдания полемики коммунистов против г-на Гейнцена. В следующем номере мы остановимся на тех упреках, которые г-н Гейнцен в номере 77 делает коммунистам: Если бы мы не были твердо убеждены, что г-н Гейнцен абсолютно не годится для роли партийного публициста, мы бы ему советовали внимательно проштудировать Misére de la Philosophie Маркса. Теперь однако мы можем ответить на его совет нам читать „Новую политику" Фребеля другим советом ему, а именно: сидеть тихо и ждать спокойно „боя". Мы убеждены, что г-н Гейнцен окажется в такой же мере хорошим батальонным командиром, в какой мере он оказался плохим публицистом.

Чтобы не дать повода г-ну Гейнцену жаловаться на анонимные нападки, мы подписываем эту статью.

Ф. Энгельс.

Вторая статья.

Коммунисты—как мы это выяснили в первой статье—не за то нападают на Гейнцена, что он не коммунист, а за то, что он плохой демократический партийный публицист. Они нападают на него не как коммунисты, а как демократы.

Простая случайность, что именно коммунисты открыли полемику против него. Если бы не было никаких коммунистов на земном шаре, то против Гейнцена должны были бы выступить демократы. Во всем этом споре речь идет только о следующем: 1) способен ли господин Гейнцен, как партийный публицист и агитатор, принести пользу демократии, что мы отрицаем; 2) правильны ли или по крайней мере терпимы ли агитационные методы г-на Гейнцена, на что мы также отвечаем отрицательно. Речь идет таким образом не о коммунизме и не о демократии, а о личности и о личных причудах г-на Гейнцена.

Коммунисты не только не склонны в настоящий момент начать бесполезные споры с демократами, но скорее сами выступают, как демократы во всех практических вопросах партийной политики. Демократия имеет во всех цивилизованных странах своим необходимым следствием политическое господство пролетариата, а политическое господство пролетариата является первой предпосылкой всяких коммунистических мероприятий. Пока, следовательно, демократия еще не завоевана, коммунисты и демократы борются рука об руку, до тех пор являются интересы демократов также интересами коммунистов. До того разногласия между обеими партиями имеют чисто теоретический характер, и они могут теоретически дискутироваться без всякого ущерба для их совместных действий. Можно будет даже столковаться о некоторых мероприятиях, которые следовало бы осуществить немедленно по завоевании демократии в интересах угнетенных до этого момента классов, напр., о переходе в управление государством крупной промышленности, железных дорог, о воспитании всех детей на государственный счет и т. д.

Перейдем однако к г-ну Гейнцену.

Господин Гейнцен заявляет, что не он начал спор с коммунистами, а коммунисты начали с ним. Мы имеем перед собой таким образом известный аргумент носильщика, по поводу которого мы с ним препираться не будем. Он называет свой конфликт с коммунистами „бессмысленным расколом, который коммунисты вызвали в лагере немецких радикалов". Он утверждает, что он уже три года тому назад стремился всеми силами и при всяком поводе предотвратить надвигающийся раскол. За этими бесплодными усилиями последовали нападки коммунистов против него. Три года тому назад, как хорошо известно, г-н Гейнцен не был вовсе еще в лагере радикалов. Он был тогда легальным прогрессистом и либералом. Расхождение с ним вовсе не означало, следовательно, раскола в лагере радикалов.

Господин Гейнцен встретился с коммунистами здесь, в Брюсселе, в начале 1845-го года. Эти последние не только не думали нападать на господина Гейнцена за его якобы политический радикализм, но и прилагали все усилия к тому, чтобы привести либерального тогда господина Гейнцена в лагерь именно этих радикалов. Эти усилия однако не увенчались успехом. Только в Швейцарии господин Гейнцен стал демократом.

„Позже я все более и более стал убеждаться в необходимости энергичной борьбы против коммунистов",—следовательно, в необходимости бессмысленного раскола в лагере радикалов! Мы спрашиваем немецких демократов, годится ли в партийные публицисты тот, кто так смехотворно противоречит самому себе.

Но кто такие те коммунисты, которые, по утверждению господина Гейнцена, выступили с нападками против него? Выше приведенные указания и следующие за ними упреки по адресу коммунистов дают на это ясный ответ. Коммунисты, говорится там, „заглушили своим криком голос литературной оппозиции, они создали сумятицу в головах необразованных людей, дискредитировали беспощаднейшим образом самых радикальных людей, они... по мере сил старались парализовать политическую борьбу, да, даже объединились, наконец, с реакцией. Сверх того, они часто опускались, очевидно под влиянием доктрины, в практической жизни до роли подлых и лицемерных интриганов"...

Из туманной неопределенности этих обвинений вырисовывается ясно различимый образ: образ писателя-промышленника господина Карла Грюна. Господин Грюн имел три года тому назад личные счеты

с господином Гейнценом. Вслед за этим господин Грюн выступил с нападками на господина Гейнцена в „Трирской газете". Господин Грюн попытался перекричать весь лагерь литературной оппозиции. Господин Грюн старался по возможности парализовать политическую борьбу и т. д.

С каких это пор однако господин Грюн является представителем коммунистов? Если он три года тому назад сделал попытку сблизиться с коммунистами, то он никогда не был открыто признан коммунистом, никогда сам себя публично таковым не объявлял и более года тому назад счел даже нужным выступить против коммунистов.

Господин Маркс уже тогда дезавуировал в полной мере господина Грюна перед господином Гейнценом, как он потом при первом поводе изобразил публично этого самого господина Грюна в его настоящем виде.

Что касается, наконец, „подлой и лицемерной" инсинуации господина Гейнцена по адресу коммунистов, то она имеет своей основой инцидент, происшедший между господином Грюном и господином Гейнценом, и—ничего больше. Инциндент этот касается обоих названных господ, но никак не коммунистов. Мы даже не знаем подробностей этого инцидента настолько, чтобы быть в состоянии составить себе мнение о нем. Предположим, однако, что г. Гейнцен прав.

Если, однако, г. Гейнцен выставляет этот инцидент как неизбежное последствие коммунистической доктрины после того, как Маркс и другие коммунисты дезавуировали его виновника, после того как выяснилось с полной очевидностью, что инкриминируемое лицо никогда не было коммунистом,—то это является со стороны г. Гейнцена безграничным вероломством.

Если, впрочем, г. Гейнцен со своими вышеприведенными обвинениями имеет в виду и других лиц помимо г. Грюна, то он может иметь в виду только тех „истинных социалистов", чьи действительно реакционные теории давно были дезавуированы коммунистами. Все способные к развитию элементы этого ныне совершенно распавшегося направления перешли к коммунистам и сами ныне нападают на истинный социализм там, где он еще выступает. Г. Гейнцен, следовательно, снова обнаруживает обычное для него глубокое невежество, когда снова выкапывает эти давно похороненные фантазии, чтобы их поставить в вину коммунистам. Выдвигая здесь обвинения против истинных социалистов, которых он смешивает с коммунистами, г. Гейнцен вслед затем бросает по адресу коммунистов те же нелепые обвинения, которые выдвигали против них истинные социалисты.

Он, следовательно, не имеет даже права нападать на истинных социалистов, ибо одной своей стороной он сам принадлежит к ним.

И в то время, когда коммунисты резко выступали в печати против социалистов, этот же г. Гейнцен сидел в Цюрихе, где г. Руге посвящал его в те обрывки истинного социализма, которые уместились в путаной голове последнего. Воистину, г. Руге нашел достойного его ученика!

Но где же остаются действительные коммунисты? Гейнцен говорит о почтенных исключениях и талантливых людях, которые, как он предвидит, отклонят солидарность с коммунистами (!) Коммунисты уже отклонили от себя всякую солидарность с писаниями и действиями истинных социалистов. Из всех выше приведенных упреков ни один не подобает коммунистам, за исключением заключительных слов всей тирады, которые гласят следующим образом: „Коммунисты... в надменном самомнении пренебрегают всем тем, что только способно было бы служить основой объединения честных людей".

Г. Гейнцен, очевидно, этим намекает на то, что коммунисты потешались над его высокоморальными аллюрами и высмеивали все те святые и возвышенные идеи, добродетель, справедливость, мораль и т. д., о которых г. Гейнцен воображает, что они составляют основу всякого общества.

Этот упрек мы принимаем.

Коммунисты, несмотря на моральное негодование честного г. Гейнцена, не перестанут высмеивать эти вечные истины. Коммунисты к тому же утверждают, что эти вечные истины ни в коем случае не являются основой, а, наоборот, продуктом того общества, в котором они фигурируют.

Если, впрочем, г. Гейнцен предвидел, что коммунисты откажутся солидаризоваться с теми людьми, которых ему угодно причислить к их лагерю—к чему тогда все его нелепые упреки и бессовестные инсинуации? Если г. Гейнцен знает коммунистов только по наслышке, (а можно почти думать, что это так), если он так мало знает, кто они, что он от них требует, чтобы они сами себя более точно охарактеризовали, чтобы они так сказать представились ему,—какое же бесстыдство надо иметь, чтобы при этих условиях полемизировать против них?

„Конкретное указание тех лиц, которые собственно представляют коммунизм или которые представляют его в наиболее чистом виде, вероятно, привело бы к отпадению от коммунизма главной массы тех, которые являются его опорой и служат ему орудием, и против такого требования будут, конечно, протестовать не одни только господа из „Трирской газеты". И несколькими строками дальше: „Те, которые действительно являются коммунистами, будут, надо думать, настолько последовательны и честны (о, добродетельный филистер!), чтобы откровенно выявить свою доктрину и отречься от тех, которые не являются коммунистами. Надо полагать, что они неспособны (что за филистерские обороты!) поддерживать недобросовестно (!) ту путаницу, которая порождается в головах многих тысяч страдающих и необразованных людей тем, что мечтательно рисуют себе или выдают, как возможность, то, что является фактически невозможностью (!!), а именно найти путь, ведущий от существующих условий действительности к осуществлению той доктрины (!). Тем, которые примыкают к ним без ясного представления о коммунизме, действительные коммунисты нравственно обязаны (опять этот добродетельный филистер) или разъяснить с исчерпывающей полнотой сущность их доктрины и твердо вести их к намеченной цели, или же они должны отделиться от первых, не делать их своим орудием".

Господин Руге мог бы себя поздравить, если бы он мог написать таких три периода, как эти последние. Филистерским требованиям соответствует филистерская путаница мыслей, которая заботится только о существе, а не о форме и которая именно поэтому говорит как раз противоположное тому, что она хочет сказать. Г. Гейнцен требует, чтобы действительные коммунисты отмежевались от мнимых коммунистов. Они должны положить конец той путанице, которая (так он хочет сказать) происходит от смешения двух различных направлений. Но как только эти два слова „коммунисты" и „путаница" сталкиваются в его голове, в ней самой возникает путаница. Г. Гейнцен теряет нить мыслей. Выставленное им положение, что коммунисты вообще производят путаницу в головах необразованных людей, расплывается между пальцев, он забывает о действительных коммунистах и о мнимых коммунистах, в комичной беспо-

мощности он спотыкается о всякого рода невозможности, которые рисуют себе и выдают за возможности, и падает, наконец, плашмя на почву действительных отношений, где он опять приходит в себя. Теперь ему приходит в голову, что он собственно хотел говорить о чем то совершенно другом, что речь была совсем не о том, возможно ли то или другое. Он снова возвращается к своей теме, но он еще так оглушен, что забывает вычеркнуть ту замечательную фразу, которая представляла скачок в сторону. Таково положение, поскольку дело касается стиля г. Гейнцена. Что касается существа дела, то мы повторяем, что г. Гейнцен, как добропорядочный немец, слишком поздно приходит со своими требованиями, и что коммунисты уже давно дезавуировали тех истинных социалистов. Затем мы снова видим тут, что пускание в ход и под сурдинку инсинуации вполне совместимо с характером добродетельного филистера. Г. Гейнцен именно вполне прозрачно намекает, что коммунистические публицисты только использовывают коммунистических рабочих. Он прямо заявляет, что откровенное формулирование этими публицистами их задач повело бы к отпадению от них главной массы тех, которые служат коммунистам орудием. Он усматривает в коммунистических публицистах пророков, жрецов, или попов, обладающих тайной мудрости, которую они скрывают от необразованной массы, чтобы тем легче вести ее на помочах. Все его добродетельно-филистерские заявления о необходимости прояснить сознание тех членов коммунистической партии, которые не имеют ясного представления об ее задачах и целях, о том, что эти последние не должны быть использованы в качестве орудия, все эти заявления исходят очевидно, из предположения, будто коммунистические литераторы заинтересованы в недостаточной сознательности рабочих, будто они только использовывают их так, как и просветители прошлого столетия хотели использовать народ. Этим нелепым представлением объясняется и неоднократно выдвигаемый им—и везде вне всякой связи с контекстом—упрек в путанице, порождаемой в головах необразованных людей, и вся эта стилистическая неслаженность, являющаяся наказанием за неумение выступить с открытым забралом. Мы только отмечаем эту инсинуацию, не распространяясь о ней дальше. Мы предоставляем коммунистическим рабочим самим судить о ней.

Наконец, после всех этих предварительных замечаний, уклонений в сторону, требований, инсинуаций и неожиданных поворотов г. Гейнцена, мы приходим к его теоретическим нападкам, к его аргументам против коммунистов.

Г. Гейнцен „усматривает коротко и ясно основу коммунистической доктрины в упразднении частной собственности (также и приобретенной собственным трудом) и в неизбежно вытекающем из этого упразднения принципе совместного пользования земными благами".

Г. Гейнцен воображает, что коммунизм есть известная доктрина, которая исходит из определенного теоретического принципа, как из своей основы, и отсюда выводит дальнейшие заключения.

Г. Гейнцен очень ошибается. Коммунизм не доктрина, а движение. Он исходит не из принципов, а из фактов. Коммунисты имеют своей предпосылкой не ту или другую философию, а весь исторический процесс и, в частности, его современные фактические результаты в цивилизованных странах. Коммунизм есть следствие крупной промышленности и ее неизбежных спутников возникновения мирового рынка и обусловленной им безудержной конкуренции, все более расширяющихся, принимающих все более катастрофический характер торговых кризисов, ставших уже теперь вполне мировыми,

возникновения пролетариата и концентрации капиталов, имеющих своим следствием классовую борьбу между пролетариатом и крестьянством. Коммунизм, поскольку он является теорией, является теоретическим выражением положения пролетариата в этой борьбе и теоретическим суммированием условий освобождения пролетариата.

Г. Гейнцен из этого может видеть, что для оценки коммунизма требуется нечто большее, чем простое представление, что его основой является упразднение частной собственности, он может видеть, что лучше было бы ему взяться за изучение известных экономических вопросов, чем праздно болтать об упразднении частной собственности, что он не может иметь ни малейшего представления о тех последствиях, к которым должно привести упразднение собственности, если он не знает его предпосылок.

Что же касается этого последнего вопроса, то тут невежество г. Гейнцена настолько велико, что он даже думает, будто совместное пользование земными благами (тоже недурное выражение) есть следствие упразднения частной собственности. Верно как раз обратное. Так как крупная индустрия, развитие машин, средств сообщения, мировой торговли принимает такие колоссальные размеры, что их эксплоатирование частными капиталистами с каждым днем становится все более и более невозможным, так как все усиливающиеся кризисы мирового рынка дают нам самое убедительное доказательство этого; так как производительные силы и средства сношения современного способа производства и обращения с каждым днем все больше перерастают рамки индивидуального обмена и частной собственности; так как, одним словом, наступает момент, когда общественное управление промышленностью, сельским хозяйством, обменом становится материальной необходимостью для промышленности, для сельского хозяйства и для обмена как таковых—поэтому-то частная собственность будет упразднена.

Когда г. Гейнцен упразднение частной собственности, которое, конечно, является предпосылкой освобождения пролетариата, изолирует таким образом от его конкретных условий, когда он ее рассматривает вне всякой связи с действительным миром, как простую кабинетную выдумку, то она становится чистейшей фразой, о которой он может сказать только плоский вздор, вроде следующего:

„Этим указанным упразднением всякой частной собственности коммунизм необходимо упраздняет также и самостоятельное существование (г. Гейнцен таким образом нас обвиняет в стремлении сделать людей сиамскими близнецами). Следствием этого является опять-таки включение каждой отдельной личности в общее хозяйство казарменного типа, организованное, вероятно (!!), по общинам (просим снисходительного читателя заметить себе, что это является следствием только собственного вздора г. Гейнцена о самостоятельном существовании). Этим коммунизм уничтожает индивидуальность, независимость, свободу. (Старый вздор истинных социалистов и буржуа. Как будто можно уничтожить еще какую-нибудь индивидуальность в современных индивидуумах, ставших благодаря системе разделения труда помимо их воли сапожниками, фабричными рабочими, буржуа, юристами, крестьянами, т.-е. рабами определенной специальности и соответствующих ей нравов, образа жизни, предрассудков, узости горизонта и т. д.) Он приносит в жертву отдельную личность с ее необходимым атрибутом или фундаментом (это „или"—превосходно!) приобретенной частной собственности „призраку общества" (и здесь Штирнер!), между тем как общество может и должно (должно!!) быть не целью, а средством для каждой отдельной личности".

Г. Гейнцен придает особенное значение приобретенной частной собственности и доказывает этим лишний раз свое абсолютное незнакомство с предметом, о котором он говорит. Филистерская справедливость. Гейнцена, которая каждому дает то, что он заработал, наталкивается, к сожалению, на противодействие крупной промышленности. Пока крупная промышленность еще не достигла такого уровня развития, при котором она может окончательно освободиться от оков частной собственности, до тех пор она не допускает никакого иного распределения продуктов, чем ныне существующее, до тех пор будет капиталист класть в карман свою прибыль, а рабочий будет все больше и больше знакомиться на практике с тем, что за вещь такая минимум заработной платы.

Г. Прудон сделал попытку развить принцип приобретенной собственности и привести его в связь с существующими отношениями и, как известно, потерпел полный крах. Г. Гейнцен, правда, никогда не решится на такую попытку, ибо для этого пришлось бы ему заняться основательным изучением вопроса, чего он никогда не сделает. Но пример г. Прудона мог бы ему послужить уроком, чтобы больше не выступать публично со своей приобретенной собственностью.

Если после всего этого г. Гейнцен бросает коммунистам упрек в том, что они гоняются за призраками и теряют почву действительности под ногами, то мы теперь знаем, по чьему адресу этот упрек должен быть действительно направлен.

Г. Гейнцен высказывает дальше еще многое другое, в разбор чего мы входить не будем. Заметим только, что по мере развития статьи периоды г. Гейнцена становятся все более и более тяжеловесными. Его литературная беспомощность, не умеющая никогда находить подходящего слова, была бы уже сама по себе достаточна, чтобы компрометировать всякую партию, которая вздумала бы признать его своим литературным представителем. Твердость его убеждений приводит его к тому, что он каждый раз говорит не то, что он хочет сказать. Каждое из его предложений содержит таким образом двойную бессмыслицу: во-первых, бессмыслицу, которую он хочет сказать, и, во вторых, ту которую он не хочет сказать, но которую он тем не менее говорит. Мы это выше иллюстрировали. Заметим только еще, что г. Гейнцен повторяет свой старый суеверный взгляд относительно всемогущества князей, когда он говорит, что власть, которую надо свергнуть (он имеет в виду только государственную власть), является теперь, как и всегда, источником и оплотом всякого бесправия, и что он стремится организовать действительное правовое государство и внутри этого фантастического здания, „провести все те социальные реформы, теоретическая правильность (!) и практическая осуществимость (!) которых доказаны всеобщим развитием (!)“!!!

Намерения его в такой же мере хороши, как стиль плох. Такова уж судьба добродетели на этой скверной земле.

„Совращенный духом времени,
Первобытно-дикий санкюлот,
Очень неискусный в танцах,
Храня высокие качества под своей мохнатой грудью,
Лишен талантов, но имеет мужественный характер“.

Г. Гейнцен будет приведен нашими статьями в справедливое негодование оскорбленного добретельного филистера, однако из-за этого он не изменит ни своей писательской манеры, ни своей компрометирующей и бесцельной формы агитации. Его угроза фонарем в день решительных действий доставила нам несколько веселых минут.

Одним словом, с немецкими радикалами коммунисты должны и хотят совместно работать, но они оставляют за собой право выступить против всякого публициста, который компрометирует всю партию. По этой причине и по многим другим соображениям мы сочли нужным выступить против Гейнцена.

Ф. Энгельс.

Брюссель, 3-го октября 1847 г.

N. B. Мы только что получили написанную рабочим брошюру „Государство Гейнцена, критика Стефана“ Берн, Рецер. Г. Гейнцен мог бы радоваться, если бы он хоть наполовину обладал даром изложения этого рабочего. Из этой брошюры для г. Гейнцена помимо других вещей должно стать также вполне ясным, почему рабочие отвергают его аграрную республику. Заметим еще, что это первая написанная рабочим брошюра, которая не выступает замаскированно, а стремится свести политические битвы современности на взаимную борьбу различных общественных классов.

Морализующая критика и критикующая мораль.

(К истории немецкой культуры).

Против Карла Гейнцена Карл Маркс.

Незадолго до реформации и во время ее у немцев создалась своеобразная литература, уже одно название которой поражает,—грубиянская. В настоящее время мы—накануне революционной эпохи, аналогичной XVI веку. Не удивительно, что у немцев снова появляется грубиянская литература. Интерес к историческому развитию без труда побеждает то чувство эстетического отвращения, которое этого рода писания вызывают и уже вызывали в XV и XVI столетиях у людей даже с мало развитым вкусом.

Плоская, хвастливая, наглая, претенциозно-грубая в нападении и истерически-чувствительная к чужой грубости; с огромной затратой сил заносящая меч, чтобы затем со всего размаха опустить его плашмя; неустанно проповедывающая добрые нравы, и то и дело эти добрые нравы нарушающая; смехотворно сплетающая пафос с вульгарностью; афиширующая свой интерес лишь к объективной стороне дела и все время ее игнорирующая; с одинокой надменностью противопоставляющая народной мудрости мещанскую, книжную полуученость, а науке—так называемый „здравый смысл“; с какой-то самодовольной несдержанностью растекающаяся в беспредельную ширь; мещанское содержание облекающая в плебейскую форму; борющаяся с языком, чтобы придать ему—если так можно выразиться—чисто телесный характер; охотно открывающая за строками фигуру самого автора, руки которого так и чешутся показать мощь своей длани, широту своих плеч и вытянуться во весь свой богатырский рост; прокламирующая здоровый дух в здоровом теле и, сама того не ведая, зараженная мелочной грызней и физической лихорадкой XVI столетия; сдавленная в тисках догматических, бескрылых понятий и то же время контролирующая деятельность разума ничтожной житейской практикой, негодующая на реакцию и злобно реагирующая на

прогресс; бессильная выставить противника в смешном виде и потому оглушающая его всей гаммой смехотворной ругани; Соломон и Маркольф, Дон-Кихот и Санчо-Панчо, мечтатель и провинциал в одном лице; хамская форма возмущения, обличие возмущенного хама; все это погруженное в атмосферу честного самосознания самодовольного ничтожества, — такова была грубиянская литература XVI столетия. Если нас не обманывает память, народное остроумие поставило ей лирический памятник в виде песенки „Heinecke, der starke Knecht". Господину Гейнцену принадлежит честь быть одним из возродителей грубиянской литературы, и поэтому его можно считать за одну из немецких ласточек наступающей весны народов.

Манифест Гейнцена, напечатанный в „Deutsche Brusseler Zeitung" № 84, дает нам материал для изучения этого рода литературы, на историческое значение которой для Германии мы выше указали. На основании его манифеста мы охарактеризуем ту разновидность литературы, представителем которой является господин Гейнцен, точно так же, как историки литературы на основании дошедших до нас произведений XVI века характеризуют, например, „Гусиного проповедника"[1]):

„Бирон: Спрячь свое лицо, Ахиллес, сюда идет вооруженный Гектор.

Король: Гектор в сравнении с ним был не более, как простой троянец.

Бойе: Разве это Гектор?

Дюмен: Гектор, кажется, был совсем другого сложения.

Бирон: Решительно, это не Гектор!

Дюмен: Он или бог или живописец, потому что делает рожи".

Но в том, что господин Гейнцен—настоящий Гектор, нет никакого сомнения. „Уже давно,—признается он,—томило меня предчувствие, что я паду от руки какого-нибудь коммунистического Ахилла. Ныне, после того, как я подвергся нападению со стороны Терсита, отражение опасности снова вселяет в меня мужество и т. д.". Лишь Гектору дано предчувствовать, что он падет от руки Ахилла.

Впрочем, быт может, господин Гейнцен почерпнул свои представления об Ахилле и Терсите не из Гомера, а из шлегелевского перевода Шекспира. В таком случае он присваивает себе роль Аякса. Приглядимся же поближе к Аяксу Шекспира.

„Аякс: Поговори еще, поговори! Я тебя взобью, как тесто, и сделаю из тебя красавца!

Терсит: Скорее мои насмешки превратят тебя в умного и благочестивого человека хотя лошадь твоя, и та скорее выучит наизусть любую проповедь, чем ты выучишь наизусть хоть одну молитву. Дерись, дерись, возьми тебя чесотка с твоими лошадиными наклонностями.

Аякс: Говори, поганый гриб, что давеча там провозглашали?

Терсит: Глупость твою, разумеется.

Аякс: Проклятое отродье! (Бьет его.)

Терсит: Так! Бей! бей!

Аякс: Ведьмин помет!

Терсит: Бей, ослиная голова, бей! Осел мог бы тебя научить храбрости. Ты, ведь, только на то и годен, чтобы давить троянцев, а для умных людей ты дикий хам. У вашего брата ум сосредоточен в мышцах.

[1]) Я отвечаю господину Гейнцену не с тем, чтобы парировать удар, направленный против Энгельса. Статья господина Гейнцена не заслуживает ответа. Я отвечаю потому, что манифест Гейнцена дает забавный материал для анализа.

Ахилл: В чем дело?

Терсит: Аякс ходит взад и вперед и ищет себя самого.

Ахилл: Как так?

Терсит: Завтра ему предстоит поединок и он так пророчески горд героической потасовкой, что он, не говоря ни слова, безумствует.

Ахилл: Как же так?

Терсит: А вот так: что шагает взад и вперед, как павлин; сделает шаг и остановится; шепчет себе под нос, как хозяйка, которой приходится в голове составлять счет за попойку; кусает себе губы с видом государственного мужа и словно хочет сказать, в этой голове ума палата, показаться бы ему только оттуда. Я предпочел бы быть вошью в овечьей шерсти, чем такой отважной глупостью".

Под чьей бы маской ни появился господин Гейнцен—Гектора или Аякса,—стоило ему только выступить на арену, как уже он громовым голосом заявлял зрителям, что его противнику не удалось положить его на лопатки. Со всей непосредственностью и эпическим многословием гомеровских героев разъясняет он причины своего спасения: „Природному пороку,—рассказывает он нам—я обязан своим спасеньем. Природа не приспособила меня к уровню моего противника". Он двумя головами выше, и вот почему „сделанные со всего размаха" удары его „маленького палача" не задели его „литературной шеи". Господин Энгельс—это несколько раз подчеркивается—„мал": он—„маленький палач", он—„маленькая персона". Мы находим затем одну из тех фраз, которые можно встретить лишь в старых героических поэмах или в балаганной пиесе о Голиафе и маленьком Давиде: „Если бы вы висели на самой верхушке фонарного столба, вас не нашел бы никто на свете". Это юмор богатыря, веселый и вместе с тем вселяющий трепет.

Не только свою „шею", но и всю свою „природу", все свое тело „литературно" демонстрирует господин Гейнцен Своего „маленького противника" он поставил рядом с собой, чтобы с помощью контраста с подобающей выпуклостью показать совершенство своего телосложения. „Маленький" уродец держит под мышками топор палача,—быть может, одну из тех игрушечных гильотин, которые в 1794 году дарили детям. Наоборот, он сам, грозный богатырь, с насмешливой улыбкой на устах держит в руках лишь „розгу", которая, как он дает понять, давно карала коммунистических „мальчиков" за их „проказы". Богатырь в припадке педагогического снисхождения говорит с своим „насекомообразным противником", вместо того, чтобы растоптать его ногой. Он говорит с ним, как „друг детей", делает ему наставление, ставит ему на вид его грехи, а именно его „лживость", „нелепую, мальчишескую льстивость", его „наглость", его „задорный тон", его „непочтительность" и другие пороки юного возраста. Если при этом розга наставляющего на путь истины богатыря время от времени взвизгивает над головой воспитанника, если по временам какое-нибудь слишком грубое выражение прерывает поток нравственных изречений и даже отчасти уничтожает их действие, то не следует ни на минуту забывать, что не может же богатырь вести моральное воспитание так, как его ведут обычные школьные наставники, вроде Квинтуса Фикслейна, и что природа, если ее прогнать в двери, вернется через окно. К тому же не следует упускать из виду, что выражения, которые в устах такого уродца, как Энгельс, произвели бы отвратительное впечатление, пленяют наш слух и сердце подобно звукам природы, когда произносятся этим колоссом. Да и уместно ли героический язык измерять масштабом мещанской речи? Разумеется нет, как не-

льзя обвинять, например, Гомера в грубиянском тоне, когда он одного из своих любимых героев, Аякса, называет „упрямым, как осел".

У богатыря были такие добрые намерения, когда он в „Deutsche Brüsseler Zeitung" показал коммунистам розгу. А „маленький" урод-ец, которому он даже не предложил взять слово,—много раз выражает он свое богатырское изумление по поводу этой ничем не объяснимой нескромности пигмея,—так неблагородно отплатил ему. „К моему обращению отнеслись без внимания,—жалуется он.—Господин Энгельс жаждет моей гибели; он хочет убить меня, злодей". А, ведь, он, Гейнцен, как и по отношению к прусскому правительству, так и в этом случае, „с одушевлением выступил на борьбу, неся под сюртуком мирные предложения, сердце, стремящееся к гуманному примирению противоречий современности" [1]). Но—увы!—„одушевление" это было облито едкой влагой вероломства.

Волк был ужасен и дик. Он лапы свои растопырил
И с отверстою пастью быстро с места сорвался.
Рейнеке легко скакнул к стороне и поспешно
Хвост свой пушистый смочил острой и едкою влагой
И в песке обвалял, чтобы пылью он мелкой покрылся.
Изегрим было уже думал, что тут-то он Лиса и хватит,
Как проказник его в глаза хвостом своим мокрым
Вдруг ударил,—и зренье у Волка тотчас помутилось.
На проделку такую Лис часто и прежде пускался
И уже много зверей, много невинных созданий
Вредоносную силу урины его испытали.

„Я был республиканцем, господин Энгельс, с тех пор, как занимаюсь политикой, и убеждения мои не ворочались туда и сюда, как головы многих коммунистов".

„Революционером, правда, я стал только теперь. Коммунисты, сознавая свою неисправимость, делают упреки своим противникам, когда те исправляются. Такова их тактика".

Господин Гейнцен отнюдь не стал республиканцем; он им был со дня своего политического рождения. Таким образом на его стороне неизменность, устойчивость, последовательность. Господин Гейнцен не всегда был революционером, он им стал. Правда, на этот раз господин Гейнцен повинен в повороте; но зато и способность к поворотам обернула свой беспрерывный характер, и поворот стал „исправлением". Наоборот, на стороне коммунистов неизменность потеряла свой высоконравственный характер. Во что превратилась она? В „неисправимость".

Стоять или ворочаться,—то и другое нравственно, то и другое безнравственно: нравственно у честного мещанина, безнравственно у его противника. Искусство критикующего мещанина в том именно и заключается, чтобы знать, в какой момент надо крикнуть „ура", а в какой—„караул".

Невежество вообще считается недостатком. Мы привыкли рассматривать его как отрицательную величину. Посмотрим, как волшебная палочка мещанского критика превращает интеллектуальный минус в моральный плюс.

Господин Гейнцен сообщает, между прочим, что в философии он все так же несведущ, как был в 1844 году. „Язык" Гегеля „так и остался непереваримым для него".

[1]) Карл Гейнцен. „Steckbrief".

Таков факт. И вот он подвергается моральному препарированию. В силу того, что для господина Гейнцена гегелевский язык с самого начала был „непереваримым", он не поддался, как „Энгельс и другие" безнравственному искушению использовать для своих целей этот самый гегелевский язык, подобно тому, как вестфальские крестьяне, насколько известно, не претендуют на использование санскритского языка.

Но, ведь, нравственное поведение состоит как раз в том, чтобы избегать всякого повода к безнравственному поведению; а где же лучший способ оградить себя от безнравственного обращения с тем или другим языком, чем в благоразумном отказе понимать этот язык.

Господин Гейнцен, ничего не понимающий в философии, потому и не ходил, по его мнению, к философам в „школу". Его школой были „здравый смысл" и „гуща жизни".

„Благодаря этому,—восклицает он с скромной гордостью праведника,—я избег опасности отречься от своей школы".

Против моральной опасности отречься от школы нет более испытанного средства, как никогда не посещать ее.

Всякое развитие, независимо от его содержания, можно представить, как ряд ступеней таким образом связанных друг с другом, что каждая из них является отрицанием всех остальных Если, например, народ развивается от абсолютной монархии к монархии конституционной, то он отрицает свое прежнее, политическое бытие. Ни в одной области нельзя проделать свое развитие, не отрицая своих прежних форм существования. На языке же морали отрицать значит отрекаться.

Отречение! Этим словом критикующий мещанин может заклеймить любое развитие, ничего не понимая в нем; свою неспособную к развитию недоразвитость он может с торжеством выставлять, как нравственную незапятнанность. Так религиозная фантазия народов заклеймила историю человечества, поместив век невинности, золотой век в период, предшествующий истории, в ту эпоху, когда еще вообще не существовало никакого исторического развития и поэтому не было никакого отрицания, никакого отречения. Так в шумные революционные эпохи, в периоды страстного отрицания и отречения, как XVIII век, появляются честные и добродетельные мужи, воспитанные и приличные сатиры, вроде Гейнцена, которые исторической сверх не противопоставляют незнающее развития состояние идиллии. В похвалу этим идилическим поэтам—тоже в своем роде критикующим моралистам и морализующим критикам—надо, однако, сказать, что они добросовестно колеблются, кому вручить пальму первенства в отношении морали—пастухам или овцам.

Впрочем, предоставим апостолу честности невозбранно наслаждаться своими собственными добродетелями. Последуем за ним туда, где он готовится перейти к „делу". С этим методом нам придется сталкиваться повсюду.

„Я ничего не могу сделать, если г. Энгельс и наши коммунисты так слепы, что не видят, что власть господствует и над собственностью, и несправедливость в отношениях собственности поддерживается одной лишь властью. Я называю дураком и трусом всякого, кто враждует с буржуа из-за его денег и оставляет в покое короля с его властью".

„Власть господствует над собственностью". Собственность, во всяком случае, тоже представляет из себя своего рода власть. Экономисты, например, называют капитал „властью над чужим трудом". Итак, перед нами двоякого рода власть: с одной стороны—власть

собственности, т.-е. собственников, с другой стороны—политическая власть, власть государственная. „Власть господствует и над собственностью". Это значит: собственность не имеет в своих руках политической власти, и последняя даже раздражает ее, например, произвольным введением налогов, конфискациями, привилегиями, ненужным вмешательством бюрократии в ход промышленности и торговли и т. п.

Другими словами: буржуазия еще не конструировалась политически в класс. Государственная власть еще не превратилась в ее собственную власть. Для стран, где буржуазия уже завоевала себе политическую власть, где политическое господство стало ничем иным, как господством не отдельного буржуа над своими рабочими, а класса буржуазии над всем обществом, для таких стран утверждение г-на Гейнцена теряет свой смысл. Лишенные собственности, конечно, не затрагиваются политическим господством, поскольку последнее касается непосредственно собственности. Господин Гейнцен воображает, что изрек истину, столь же вечную, как и оригинальную; на самом же деле он лишь отметил тот факт, что немецкая буржуазия должна завоевать себе политическую власть, т.-е. сказал то же самое, что говорил Энгельс, но сказал он это бессознательно, искренне воображая, что говорит нечто диаметрально противоположное. Преходящее отношение между немецкой буржуазией и немецкой государственной властью он торжественно провозгласил в качестве вечной истины, показав таким образом, как делается из „движения" „твердое ядро".

„Несправедливость в отношениях собственности,— продолжает г. Гейнцен,—поддерживается только властью". Одно из двух: или под „несправедливостью в отношениях собственности" г. Гейнцен понимает упомянутый выше гнет, который немецкой буржуазии приходится испытывать даже в своих „священнейших" интересах от абсолютной монархии, и в таком случае он лишь повторяет только что сказанное; или под „несправедливостью в отношениях собственности" он понимает экономические отношения рабочих, и тогда его откровение имеет следующий смысл: теперешние буржуазные отношения собственности „поддерживаются" государственной властью, которую буржуазия организовала для защиты своих отношений собственности. Следовательно, там, где политическая власть находится уже в руках буржуазии, пролетарии должны ее ниспровергнуть. Они должны сами стать властью, революционной властью. Г. Гейнцен опять бессознательно говорит то самое, что сказал Энгельс, и опять искренно убежден, что говорит нечто совершенно противоположное. Он высказывает не то, что думает, а того, что думает, не высказывает.

Впрочем, если буржуазия политически, т.-е. при помощи своей государственной власти, „поддерживает несправедливость в отношениях собственности", то она не создает ее. „Несправедливость в отношениях собственности", обусловленная современным разделением труда, современной формой обмена, конкуренцией, концентрацией и т. д. никоим образом не обязана своим происхождением политическому господству буржуазных классов, а, наоборот, политическое господство буржуазии вытекает из современных отношений производства, выдаваемых буржуазными экономистами за его необходимые и вечные законы. Поэтому, если пролетариат свергнет политическое господство буржуазии, его победа будет лишь мимолетной: она окажется лишь моментом в ходе самой же буржуазной революции, служащим ее дальнейшему развитию, как это было в 1794 г., и будет до тех пор, пока в ходе истории, в ее „движении" не выработались еще материальные условия, создающие необходимость устранения буржуазного способа производства, а следовательно—и окончательного падения политического господства буржуазии. Господство террора во Франции могло, поэтому, послужить лишь к тому, чтобы ударами своего страшного молота стереть сразу, как по волшебству, все феодальные руины с лица Франции. Буржуазия, с ее тревожной осмотрительностью, не справилась бы с такой работой в течение десятилетий. Кровавые действия народа лишь выровняли, следовательно, ее дорогу. Точно так же мимолетно было бы и падение абсолютной монархии, если бы экономические условия недостаточно созрели для господства буржуазного класса. Люди строят себе новый мир не из „богатств земных", как предполагает грубиянский предрассудок, а из исторических приобретений своего отживающего мира. В самом ходе своего развития они должны сперва создать материальные условия нового общества, и никакие усилия мысли или воли не могут освободить их от этой судьбы.

Все грубиянство „здравого человеческого рассудка", который черпает из „полноты жизни" и не калечит своих естественных наклонностей никакими философскими или другими научными занятиями, сказывается в том, что там, где ему удается заметить различие, он не видит единства, а там, где он видит единство, он не замечает различия. Когда он устанавливает различные определения, они тотчас же затвердевают у него под руками, и он видит самую вредную софистику в стремлении так столкнуть между собою эти понятия, чтобы они вспыхнули огнем. Когда г. Гейнцен, напр., говорит, что деньги и власть, собственность и господство, приобретение денег и завоевание власти—не одно и то же, он высказывает тавтологию, заключающуюся уже в самых словах, и это чисто словесное различение кажется ему геройским подвигом, который он, с полным сознанием своего ясновидения, выдвигает против слепых коммунистов, не останавливающихся на этом первом, чи то детском наблюдении.

Каким образом „приобретение денег" превращается в „приобретение власти", а „собственность" в „политическое господство", т.-е. каким образом, вместо твердо установленного различия, возведенного г. Гейнценом в догмат, устанавливаются взаимоотношения двух сил до их полного слияния,—понять довольно легко. Для этого г. Гейнцену следует только справиться о том, каким путем крепостные покупали себе свободу, а коммуны—свои муниципальные права; как горожане при помощи торговли и промышленности, с одной стороны, вытягивали деньги из кармана феодала и посредством долговых обязательств придавали подвижность поземельной собственности, а с другой стороны—помогали победе абсолютной монархии над ослабленными крупными феодалами и покупали себе их привилегии; как они впоследствии эксплоатировали финансовый кризис самой абсолютной монархии и т. д. и т. д. Г. Гейнцену следует обратить внимание на то, как, благодаря системе государственных долгов,—продукт современной индустрии и современной торговли—даже самые абсолютные монархии делаются зависимыми от биржевых королей; как в интернациональных отношениях народов промышленная монополия непосредственно переходит в политическое господство, как это было, напр., с владетельными князьями священного союза, являвшимися в „германской освободительной войне" не более, как наемными солдатами Англии и т. д. и т. д.

Но, возведя, в своем грубиянском самомнении, такие различия, как между приобретением денег и приобретением власти, в „вечные истины", к которым „несомненнейшим образом" должно относиться так-то и так-то, „здравый человеческий смысл" создает себе посред-

ством этих, не подлежащих колебанию, догматов желательную позицию, с которой удобно заливать своим нравственным возмущением „слепоту“, „глупость“ или „испорченность“ противников догмы, приготовляя в то же время из этих сердечных излияний ту подливку, в которой должна плавать имеющаяся в запасе пара чахлых, захудалых истин.

Г. Гейнцен доживет еще до той поры, когда власть собственности вступит, даже в Пруссии, в насильственный брак с политической властью. Послушаем дальше: „Вы хотите сделать социальные вопросы главнейшей задачей нашего времени, и не видите, что нет более важного социального вопроса, как вопрос о монархии и республике“. Только что г. Гейнцен видел лишь различие между властью денег и политической властью; теперь же он не видит ничего, кроме единства между политическими вопросами и социальными. Впрочем, „смешную слепоту“ и „презренную трусость“ своих антиподов он видит, конечно, по-прежнему.

Политические отношения между людьми являются, конечно, в то же время и социальными, общественными отношениями, как и все отношения, в которых люди сталкиваются между собою. Поэтому и все вопросы, касающиеся взаимных отношений между людьми, тоже являются социальными вопросами. И такими-то наивностями, место которым в катехизисе для 8-летних детей, г. Гейнцен не только хочет что-то такое сказать, а даже предполагает бросить значительную тяжесть на весы современных коллизий.

Случайно оказывается, что „социальные вопросы“, которыми в наше время занимались, становятся все важнее, по мере того как мы выходим из области абсолютной монархии. Социализм и коммунизм берут свое начало не в Германии, а в Англии, Франции и Северной Америке. Первое появление действительной активной коммунистической партии мы видим во время буржуазной революции в тот момент, когда устранена была конституционная монархия. Наиболее последовательные республиканцы, в Англии левеллеры, во Франции Бабеф, Буонаротти и т. д., первые подняли эти „социальные вопросы“. „Заговор Бабефа“, описанный его другом и товарищем по партии Буонаротти, показывает, как эти республиканцы из „движения“ почерпнули то убеждение, что с устранением социального вопроса о монархии и республике для пролетариата ни один „социальный вопрос“ решен еще не был.

Вопроса собственности, как он ставится в „наше время“, в формулировках Гейнцена нет и следа; это—простые вопросы совести или права: „справедливо ли, чтобы один человек обладал всем, а другой ничем; чтобы отдельный человек вообще мог чем-нибудь обладать“ и т. п. Тогда как действительный вопрос собственности является перед нами в различных постановках, смотря по высоте, достигнутой общим развитием промышленности, и по различным ступеням этого развития, до тигнутым в отдельных странах.

Для галицийских крестьян, напр., вопрос собственности сводится к превращению феодальной земельной собственности в мелко-буржуазную земельную собственность. Он имеет для них тот же смысл, как и для французского крестьянства 1789 г. Английский сельский рабочий, наоборот, не имеет никаких отношений с землевладельцем. Он имеет отношение только к арендатору, т.-е. к промышленному предпринимателю, вложившему капитал в землю, вместо фабрики. С своей стороны, этот промышленный капиталист, платящий ренту землевладельцу, находится в непосредственных отношениях к землевладельцу. Поэтому уничтожение собственности на землю составляет самый важный вопрос собственности для английской промышленной буржуазии, и борьба против хлебных законов имела именно этот смысл. Для сельских наемных рабочих, наоборот, уничтожение прав собственности на капитал является в Англии таким же важнейшим вопросом собственности, как и для фабричных рабочих.

Для английской, как и для французской, революции вопрос собственности состоял в свободе конкуренции и уничтожении всех феодальных отношений собственности: помещичьей власти, цехов, монополий и т. д., которые превратились в цепи для развившейся в течение XVI—XVIII столетий индустрии. В „наше время“, наконец, вопрос собственности состоит в уничтожении коллизий, порожденных крупной индустрией, развитием мирового рынка и свободной конкуренцией.

Вопрос собственности всегда был жизненным вопросом того или другого—в зависимости от степени развития промышленности—определенного класса. В XVII и XVIII столетиях, когда речь шла об отмене феодальных отношений собственности, вопрос собственности был жизненным вопросом буржуазии. В XIX столетии, когда дело идет об отмене буржуазных отношений собственности, вопрос собственности является жизненным вопросом рабочего класса. Тот вопрос собственности, который в „наше время“ является всемирноисторическим вопросом, имеет, следовательно, смысл лишь в современном буржуазном обществе. Чем более развито это общество, чем, следовательно, буржуазия в какой-нибудь стране более развита экономически, и чем более, поэтому, и государственная власть приняла буржуазный характер, тем резче выступает социальный вопрос: во Франции резче, чем в Германии, в Англии резче, чем во Франции, в конституционной монархии резче, чем в абсолютной, в республике резче, чем в конституционной монархии. Так, напр., колебания кредитной системы, спекуляции и т. д. нигде не выступают в более острой форме, чем в Северной Америке. Нигде также и социальное неравенство не обнаруживается с большей яркостью, чем в восточных штатах Северной Америки, потому что здесь оно менее, чем где бы то ни было, затушевано политическим неравенством. Если пауперизм здесь не так развился еще, как в Англии, то это обусловлено экономическими условиями, на которых мы здесь не можем подробно останавливаться. Тем не менее, и здесь пауперизм делает блестящие успехи.

„В этой стране, где нет привилегированных сословий, где все классы обладают одинаковыми правами“ (но затруднения заключаются в существовании этих классов), „и где наше население еще не так густо, чтобы давить на средства существования,—видеть такой быстрый рост пауперизма поистине ужасно“. (Отчет г. Мередита на пенсильванском конгрессе.) „Доказано, что в течение 25 лет пауперизм в Массачусетсе возрос на 60%“ (Niles, Registr).

Один из знаменитейших северо-американских политико-экономов вдобавок радикал, Томас Купер предлагает: во-первых, запретить бездомным бродягам вступление в брак; во-вторых, отменить всеобщее избирательное право,—ибо, восклицает он, „общество основано для защиты собственности. Какое разумное притязание на право издавать законы о чужой собственности могут иметь люди, по неизменным экономическим законам навеки лишенные собственности? Какие общие мотивы и интересы могут иметь эти два класса населения? Одно из двух: или рабочий класс настроен нереволюционно,—тогда он отстаивает интересы работодателей, от которых зависит его существование. Так, при последних выборах в Новой Англии фабриканты, желая обеспечить за собою голоса избирателей, отпечатали имя своего кандидата

на коленкоре, и каждый рабочий носил этот кусок коленкора в виде банта. Или же, благодаря совместной жизни и т. д., рабочий класс делается революционным, и тогда политическая власть в стране раньше или позже перейдет в его руки, и при этой системе никакая собственность не будет обеспечена" [1]).

Как в Англии под именем чартистов, так в Северной Америке под именем национал-реформистов, рабочие образуют политическую партию, боевым кличем которой ни в коем случае не является: монархия или республика, а господство рабочего класса или господство буржуазии.

И так как именно в современном буржуазном обществе, с соответствующими ему государственными формами конституционного или республиканского представительного государства, „вопрос собственности" сделался наиважнейшим „социальным вопросом", то лишь ограниченность потребностей немецкого бюргера может заставить его кричать, что вопрос о монархии есть важнейший „социальный вопрос нашего времени". Подобным же образом д-р Лист в предисловии к „Политической экономии" наивно выражает свое огорчение по поводу того, что важнейшим социальным вопросом нашего времени принято считать пауперизм, а не охранительные пошлины.

Различие между деньгами и насилием было заодно и персональным различием двух борцов. „Маленький" является нам в образе особого рода воришки, который враждует только с владельцами „денег"; баснословно сильный человек, напротив того, борется с „сильными" мира сего. Indosso la corazza e l'elmo in testa [2]). Но он бормочет при этом: „ваша особа находится однако в лучшем положении, чем моя".

В самом наилучшем положении находятся, однако, „сильные" мира сего, вздохнувшие с видимым облегчением, когда господин Гейнцен набросился на своего ученика: „теперь вы, как все коммунисты, потеряли способность познавать связь между политикой и социальными условиями". Мы только что выслушали моральную лекцию, в которой великий человек в общих чертах раскрыл с поражающей простотой взаимную связь между политикой и социальными условиями. На примере монархии он тут же наглядным образом показывает своему ученику частное применение общей теории.

Монархи (или монархия), рассказывает он, являются „главной причиной горя и нищеты". С отменой монархии отменяется, конечно, и это объяснение, так что рабство, которое привело к гибели античные республики, рабство, которое приведет к страшнейшим потрясениям в южных штатах северо-американской республики [3]), это рабство может воскликнуть словами Фальстафа: „Ах, если бы эти аргументы были так же дешевы, как ежевика". Но прежде всего: кто же, или что, состряпал монархов или монархию?

Было время, когда ради общественных интересов народ должен был выдвинуть на первое место наиболее выдающихся людей. Потом этот пост сделался наследственным и переходил в семье из рода в род. И наконец, по своей глупости и испорченности, люди терпели это целые века.—Если бы устроить конгресс урожденных болтунов всей Европы, они не могли бы дать другого ответа. И если вы просмотрите все сочинения г. Гейнцена, вы тоже не найдете в них другого ответа.

---

[1]) Thomas Cooper, Lectures on political economy. Kolumbia, pp. 361, 365.
[2]) Ариосто, Неистовый Роланд: „панцырь на спине и шлем на голове".
[3]) См. по этому поводу мемуары Джефферсона, одного из основателей республики, бывшего несколько раз ее президентом.

Настоящий „здравый человеческий смысл" полагает, что объяснил монархию уже тем одним, что объявил себя ее противником. Но самое трудное для этого нормального рассудка должно, казалось бы, заключаться в объяснении того, откуда же взялся противник здравого человеческого смысла и морального человеческого достоинства, и каким образом он с поразительным упорством тянул свое существование в течение целых столетий. Нет ничего проще. Все эти столетия обходились без здравого человеческого смысла и человеческого достоинства. Другими словами: разум и мораль столетий отвечали идее королевской власти, вместо того чтобы противоречить ей. И именно этот разум и эту мораль прошлых столетий не в состоянии понять „здравый человеческий смысл" нашего времени. Не понимает, но зато презирает. Из области истории он убегает в область морали, и здесь может пустить в ход всю тяжелую артиллерию своего нравственного возмущения.

И точно так же, как здесь политический „здравый человеческий смысл" объясняет происхождение и существование монархии, как результат неразумия, так же точно религиозный „здравый смысл" объясняет ересь и неверие, как дело рук дьявола. И таким же образом антирелигиозный „здравый человеческий смысл" объясняет религию, как дело других дьяволов,—попов.

Но раз г. Гейнцен уже обосновал, при помощи моральных общих мест, происхождение монархической власти, то вполне естественно получается отсюда и „связь монархической власти с социальными условиями". Слушайте: „Один человек забирает в свои руки все государство, приносит в жертву себе и своим приверженцам весь народ не только в материальном отношении, но и в моральном, создает в его среде различные степени уничижения, разделяет его, точно тощий и жирный (скот), сословными предрассудками и, по существу, в угоду лишь своей собственной особе, делает каждого члена государства официальным врагом всех остальных".

Г. Гейнцен видит монархов на верхушке социального здания в Германии. Он не сомневается ни минуты в том, что это они создали ее общественную основу и продолжают ее создавать. Разве можно проще объяснить связь монархии с общественными условиями, официальным политическим выражением которых она является, как заставив князей создать эту связь? В какой взаимной связи находятся представительные учреждения с современным буржуазным обществом, которое они представляют? Сделали их,—и все тут. Так уж политическое божество, с его аппаратом и иерархией, создало грешный мир, для которого оно является святыней. Как раз по образцу религиозного божества, создавшего мировой порядок, который и отражается в нем в перенесенном в небеса фантастическом виде.

Грубиянство, проповедующее с соответствующим пафосом подобную премудрость домашнего изготовления, естественно, должно с изумлением и нравственным возмущением смотреть на противника, старающегося доказать ему, что яблоко не создало яблони.

Современная историография доказала, что абсолютная монархия возникает в переходные эпохи, когда старые феодальные сословия разлагаются, а средневековое сословие горожан складывается в современный класс буржуазии, и ни одна из спорящих сторон не взяла еще перевеса над другой. Таким образом элементы, на которых зиждется абсолютная монархия, ни в коем случае не являются ее продуктом; наоборот, они образуют ее социальную предпосылку, историческое происхождение которой слишком известно, чтобы говорить о нем здесь. Тот факт, что в Германии абсолютная монархия возникла

позднее и держится дольше, объясняется лишь уродливым развитием немецкой буржуазии. Решение загадки такого хода ее развития можно найти в истории торговли и промышленности.

Упадок мелко-буржуазных свободных городов Германии, уничтожение рыцарского сословия, поражение крестьян и усиление, вследствие этого, владетельных прав князей; упадок немецкой индустрии и торговли, основывавшихся на чисто средневековом строе, как раз в тот момент, когда открылся великий мировой рынок и возникла крупная мануфактура; обезлюдение страны и варварское состояние, завещанное 30-летней войной; характер вновь оживших национальных отраслей промышленности, как, напр., мелкого льняного производства, которому соответствовали патриархальные отношения и условия; характер предметов вывоза, состоявших, главным образом, из продуктов земледелия, вследствие чего возрастали почти исключительно лишь материальные источники существования земельного дворянства и увеличивалось его относительное могущество в ущерб городскому населению; стесненное положение Германии на мировом рынке вообще, вследствие чего главным источником национальных доходов оказывались субсидии, выплачиваемые князьям чужеземцами, и последовавшая отсюда зависимость горожан от княжеского двора и т. д. и т. д.—все эти обстоятельства, из которых выработался характер немецкого общества и соответствующая ему политическая организация, превращаются для грубиянства здравого человеческого смысла в несколько мудрых изречений, вся соль которых заключается именно в том, что „немецкие властители" создали „немецкое общество" и ежедневно вновь продолжают „создавать" его. Легко объяснить тот оптический обман, который позволяет здравому человеческому смыслу „познать" в владетельных правах немецких государей источник происхождения немецкого общества, вместо того чтобы видеть в немецком обществе источник власти немецких князей.

С первого же взгляда,—который ему кажется чрезвычайно проницательным,—он замечает, что немецкие князья поддерживают и крепко держатся за старые немецкие общественные порядки, с которыми тесно связано их собственное существование, и насильственно борются сразрушительными элементами. С другой стороны, он видит ясно, что разрушительные элементы тоже борются против княжеской власти. Таким образом здоровые чувства, все пять сразу, показывают, что княжеская власть является основой старого общества, его сословных подразделений, его предрассудков и противоречий.

Но при внимательном рассмотрении это явление лишь опровергает тот простодушный взгляд, для которого послужило безвинным поводом.

Насильственно реакционная роль, в какой выступает княжеская власть, показывает лишь то, что в порах старого общества образовалось новое, чувствующее давление политической оболочки, естественно покрывающей старое общество, как давление противоестественных оков, которое оно должно взорвать. Чем слабее развиты эти новые разрушительные элементы общества, тем консервативнее кажется даже самая злая реакция старой политической власти. Чем более развиты эти новые разрушительные элементы общества, тем реакционнее кажется даже самая невинная консервативная политика старой политической власти. Реакция немецких государей,—вместо того, чтобы доказывать, что эти государи создают старое общество,—доказывает, наоборот, что с ними самими будет покончено, как только окончательно отживут материальные условия существования старого общества. Их реакция есть, вместе с тем, и реакция самого старого

общества, которое остается еще официальным обществом и, поэтому, также и оффициальным обладателем власти.

Когда материальные условия существования общества развились настолько, что преобразование его официальных политических форм стало для него жизненной необходимостью, тогда изменяется вся физиономия старой политической власти. Так, абсолютная монархия, вместо того чтобы централизовать,—а в этом, ведь, собственно, и состояла вся ее цивилизаторская деятельность,—делает попытки к децентрализации. Выросшая на развалинах феодальных сословий и принимавшая деятельнейшее участие в их разрушении, она стремится теперь сохранить хоть видимость феодальных подразделений. В то время как раньше она покровительствовала торговле и промышленности и, следовательно, возникновению класса буржуазии, видя в них необходимые предпосылки как национального могущества, так и собственного блеска,—теперь эта абсолютная монархия повсеместно становится поперек дороги дальнейшему развитию торговли и промышленности, ставшему слишком опасным орудием в руках могущественной буржуазии. От города, этой колыбели ее величия, абсолютная монархия обращает свои робкие и отупевшие взоры на сельские округа, удобренные трупами поверженных великанов, ее старых врагов.

Но под „связью между политикой и социальными условиями" господин Гейнцен понимает, собственно, лишь связь между немецкой государственной властью и немецкой нуждой и нищетой.

С материальной своей стороны, монархия, как и всякая другая государственная форма, существует для рабочего класса непосредственно лишь в форме налогов. В налогах заключается экономически выраженное существование государства. Чиновники и попы, солдаты и балетные танцовщицы, школьные учителя и полицейские, греческие музеи и готические башни, содержание князей и вельмож,—все эти сказочные создания скрываются, как зародыши, в одном общем семени,—в налогах.

И какой рассуждающий обыватель не укажет голодающему народу на налоги, на эти неправдой добытые деньги князей, как на источник его нужды? Немецкие князья и немецкая нищета! Налоги, на которые пируют князья, и которые народ оплачивает своим кровавым потом! Какой неисчерпаемый материал для декламирующих спасителей человечества!

Монархия требует больших расходов. Без сомнения. Возьмите хотя бы северо-американский государственный бюджет, и сравните с этим, сколько должны уплачивать наши 38 миниатюрных отечества за то, чтобы ими управляли и держали их на узде! Шумливым выпадам этой надменной демагогии отвечают коротко и ясно даже не коммунисты, а буржуазные экономисты, как, например, Рикардо, Сениор и т. п.

Экономическую основу государства составляют налоги. Экономическую основу существования рабочего составляет заработная плата. Требуется определить отношение между налогами и заработной платой.

Средний уровень заработной платы необходимо низводится конкуренцией до минимума, т. е. до такой заработной платы, которая позволяет рабочему с трудом поддерживать свое собственное существование и существование своего рода. Налоги составляют часть этого минимума, ибо политическое призвание рабочих состоит именно в том, чтобы платить налоги. Если бы все налоги, падающие на рабочий класс, были совершенно уничтожены, то естественным послед-

ствием этого было бы то, что заработная плата уменьшилась бы на всю сумму налогов, входящих ныне в плату, как ее составная часть. Благодаря этому непосредственно увеличилась бы соответственно прибыль работодателя, или произошла бы перемена в форме взимания налогов. Вместо того, чтобы в виде заработной платы, выплачивать также и налог, который должен платить рабочий, капиталист выплачивал бы теперь этот налог не обходным путем, а непосредственно государству. Если в Северной Америке заработная плата выше, чем в Европе, то это ни в коем случае не является следствием уменьшения налогов. Высокая заработная плата в Северной Америке является следствием территориального, коммерческого и промышленного состояния страны. Спрос на рабочих в сравнении с предложением, там гораздо выше, чем в Европе. И эту истину знает каждый ученик уже из Адама Смита. Для буржуазии же, напротив того, распределение и взимание налогов, равно как и их расходование, составляет жизненный вопрос, как благодаря влиянию, оказываемому налоговой системой на торговлю и индустрию, так и потому, что налоги являются той золотой цепью, которою можно задушить абсолютную монархию.

После изложения своих глубоких объяснений по поводу „связи между политикой и общественным состоянием“ и между „классовыми отношениями“ и государственной властью, г. Гейнцен торжествующе восклицает: „В своей революционной пропаганде я не грешил „узостью коммунистов“, которые обращаются не к людям, а к „классам“, и натравливают людей одной „профессии“ на представителей другой; ибо я допускаю „возможность“, что „человечество“ не всегда определяется „классом“ или „объемом мошны“. Грубиянский здравый человеческий смысл превращает классовое различие в различие „размера мошны“ и классовое противоречие в „ремесленную свару“. Размер кошелька—это чисто количественное различие, из-за которого можно натравливать друг на друга членов одного и того же класса. Что средневековые цехи боролись друг с другом, защищая интересы отдельных ремесл, это известно. Но не менее известно и то, что современное классовое различие ни в коем случае не основывается на „ремесле“; наоборот, разделение труда создает различные формы труда внутри одного и того же класса. И эту свою собственную „узость“, целиком почерпнутую из собственной „полноты жизни“ и собственного „здравого человеческого смысла“, г. Гейнцен насмешливо называет „узостью коммунистов“.

Но допустим на мгновенье, что г. Гейнцен знает, о чем он говорит и, следовательно, говорит не о „различном размере мошны“ и не о „ремесленной своре“. Весьма „возможно“, что отдельные индивиды не „всегда“ определяются классом, к которому они принадлежат; но этот факт имеет так же мало решающего значения для классовой борьбы, как мало значил для французской революции переход некоторых дворян на сторону tiers état. Но и тогда дворяне присоединялись, по крайней мере, к классу, именно—к революционному классу буржуазии. А по мнению г. Гейнцена все классы исчезают перед торжествующей идеей „человечности“.

Но если г. Гейнцен думает, что целые классы, существование которых покоится на экономических, от их воли независящих условиях, ставящих эти классы в самые враждебные отношения друг к другу; если г. Гейнцен думает, что, благодаря присущему всем людям свойству „человечности“, целые классы могут подняться выше действительных условий своего существования, то как легко должно быть какому-нибудь монарху при помощи своей „человечности“ подняться выше своего положения, своего „монархического ремесла“? Почему же г. Гейнцен не может простить Энгельсу, когда последний за его революционными фразами усматривает „бравого императора Иосифа“?

Но если, с одной стороны, в своем обращении к неопределенной „человечности“ немцев, г. Гейнцен до такой степени уничтожает все различия, что должен бы включить в это безразличие даже монархов, то, с другой стороны, он все же видит вынужденным себя установить различие между людьми немецкой крови, ибо без различий нет противоречий, а без противоречий нет материала для политических канцонад.

Итак, г. Гейнцен разделяет немцев на монархов и подданных. Усмотрев и выразив это противоречие, г. Гейнцен обнаружил моральную силу, дал доказательство индивидуальной смелости, политического понимания, возмущенного человеческого чувства, серьезной дальновидности, достойной уважения храбрости. Доказательством же интеллектуальной слепоты и полицейского образа мыслей может служить подчеркивание того обстоятельства, что подданные делятся на привилегированных и непривилегированных; что первые не только не усматривают в политической иерархии унизительной для себя деградации, но, наоборот, видят в ней почетную восходящую линию; что, наконец, даже теми подданными, которые считают подданство цепями, тяжесть этих цепей воспринимается различно. Но вот являются эти „узкие“ коммунисты и отмечают не только политическое различие между монархами и подданными, но и общественное различие между классами. В то время, как моральное величие г. Гейнцена за минуту перед тем состояло в том, чтобы усмотреть известное различие и выразить его, теперь оно выражается в том, чтобы не замечать различия, не считаться с ним, скрыть его. Признание противоречия из языка революции превращается в язык реакции и злостного натравливания друг на друга объединенных человечностью братьев.

Известно, что вслед за июльской революцией победоносная буржуазия в своих сентябрьских законах,—тоже, вероятно, ради „человечества“,—объявила „натравливание различных классов населения друг на друга“ величайшим политическим преступлением, каравшимся тюрьмой, денежным штрафом и т. д. Известно далее, что в английской буржуазной прессе обвинение чартистских вождей и писателей в натравливании одних классов населения на других, практиковалось предпочтительно перед всеми другими доносами. Известно даже и то, что немецких писателей заживо хоронят в тюрьмах тоже за натравливание различных классов населения друг на друга. Не говорит ли в данном случае г. Гейнцен языком французских сентябрьских законов, английских буржуазных газет и немецкого уголовного кодекса?

Но нет. Благомыслящий г-н Гейнцен опасается только, что коммунисты „пытаются предохранить князей посредством революционной фонтанели“. Подобно тому, как бельгийские либералы уверяют, что радикалы состоят в тайном союзе с католиками, а французские утверждают, что демократы сговорились с легитимистами, английские фритредеры говорят, что чартисты солидарны с торийми,—либеральный г. Гейнцен уверяет что коммунисты вступили в соглашение с князьями.

Германия, как я уже доказывал в „Немецко-Французских Ежегодниках“, поражена особым христианско-германским недугом. Ее буржуазия настолько запоздала, что она начинает свою борьбу с абсолютной монархией и стремится утвердить свою политическую власть

в такое время, когда во всех развитых странах буржуазия уже вступила в ожесточеннейшую борьбу с рабочим классом, и когда ее политические иллюзии уже пережиты в европейском сознании. В этой стране, где, с одной стороны, существует еще политическое зло абсолютной монархии с целым сонмом пришедших в упадок полуфеодальных сословий и отношений,—существуют уже, отчасти вызванные развитием промышленности и зависимостью Германии от мирового рынка, современные противоречия между буржуазией и рабочим классом и проистекающая отсюда борьба; примером тому могут послужить рабочие бунты в Силезии и Богемии. Таким образом немецкая буржуазия очутилась в противоречии с пролетариатом еще прежде, чем она политически конституировалась в класс. Борьба между „подданными" возгорелась прежде, чем князья и дворянство были изгнаны из страны вопреки всем Гамбахским песням.

В объяснение этого полного противоречий положения вещей, естественно отражающегося и в немецкой литературе, г. Гейнцен не находит ничего лучшего, как взвалить его на совесть своих противников и выставить его, как следствие контр-революционных происков коммунистов.

Между тем немецкие рабочие хорошо знают, что абсолютная монархия ни минуты не поколеблется и не может поколебаться, чтобы встретить пролетариат картечью, и нагайками, если того потребуют интересы буржуазии. Ради чего же тогда они предпочтут грубое притеснение абсолютного правительства и его полуфеодальной свиты непосредственному господству буржуазии? Рабочие очень хорошо знают, что буржуазия не только в политическом отношении сделает им большие уступки, чем абсолютная монархия, но что в интересах своей торговли и промышленности, против своей воли, буржуазия создаст условия для объединения рабочих, а это объединение является первым условием их победы. Рабочие знают, что уничтожение буржуазных отношений собственности не может быть достигнуто при помощи сохранения феодальных отношений. Они знают, что революционное движение буржуазии против феодализма и абсолютной монархии может лишь ускорить и их собственное революционное движение. Они знают, что их собственная борьба с буржуазией начнется лишь в тот день, когда буржуазия сама окажется победительницей. Несмотря на все это, они не разделяют буржуазных иллюзий г. Гейнцена. Они могут и должны участвовать в буржуазной революции, так как она является условием начала рабочей революции. Но рабочие ни одного мгновения не могут смотреть на буржуазную революцию, как на свою конечную цель. .

Что рабочие действительно таким сбразом поступают, этому блестящий пример дали в новейшее время чартисты в борьбе против хлебных законов. Ни одной минуты они не верили лживым или фантазерским уверениям буржуазных радикалов, ни на минуту они не прекращали своей борьбы с ними, но они с полным сознанием помогли своим врагам одержать победу над ториями; а на другой день после отмены хлебных законов на поле избирательной борьбы стояли друг против друга не тории и фритредеры, а фритредеры и чартисты. И, противостоя этим буржуазным радикалам, они приобрели себе место в парламенте.

Столь же мало, как рабочих, г. Гейнцен понимает и буржуазных либералов, хотя бессознательно и трудится в их интересах. Он считает необходимым твердить им по-старому о вреде немецкого „добродушия" и смирения. Честный добряк, он принимает за чистую монету раболепные речи, которыми дебютировали г.г. Кампгаузен и Ганземанн. Г.г. буржуа смеются над такой наивностью. Они лучше знают,

где раки зимуют. Они знают, что во время революции чернь делается дерзкой и заходит слишком далеко. Господа буржуа поэтому стараются, поскольку возможно, преобразовать абсолютное королевство в буржуазное без революции, мирным путем.

Но абсолютное королевство в Пруссии, как раньше в Англии и Франции, не желает добровольно превратиться в буржуазное. Убраться по добру-по здорову оно не согласно. Кроме личных предрассудков, монархам связывает руки целая бюрократическая армия, гражданская, военная и духовная,—эта составная часть абсолютной монархии, которая ни в коем случае не желает променять свое господствующее положение на служебную роль при буржуазии. С другой стороны, феодальные сословия упорно держатся за старое: для них дело идет о том, быть или не быть, т.-е. о собственности или об экспроприации. Понятно, что абсолютный монарх, несмотря на верноподданнические уверения в преданности со стороны буржуазии, видит, что его истинные интересы совпадают с интересами этих старых сословий.

Поэтому так же, как сладкие речи Лалли Толландаля, Мунье, Малуэ и Мирабо не могли убедить Людовика XVI решительно стать на сторону буржуазии против феодалов и остатков абсолютной монархии, так же мало песни сирен, Кампгаузена и Ганземанна, убедят Фридриха Вильгельма IV.

Но г. Гейнцен не имеет дела ни с германской буржуазией, ни с германским пролетариатом. Его партия—это „партия человечества", т.-е. честных, великодушных мечтателей, которые под видом „человеческих" целей сражаются за „буржуазные" интересы, не сознавая в то же время ясно той связи, которая существует между идеалистическими фразами и их реалистической сущностью.

Своей партии, партии человечества, или той его части, которая обитает в Германии, основатель государств Карл Гейнцен предлагает „наилучшую республику", им самим придуманную, наилучшую „федеративную республику с социальными учреждениями". Руссо некогда набросал проект наилучшего политического устройства для поляков, а Мабли—для корсиканцев. Великий женевский гражданин нашел еще более великого последователя.

„Составить республику я могу только" — какая скромность! — „из чисто республиканских элементов, как цветок из цветочных лепестков". Кто умеет из цветочных лепестков составить цветок, будь то хотя бы маргаритка, тому, наверное, удастся и композиция „наилучшей республики", что бы ни говорил об этом испорченный свет.

Наперекор злословию, бравый основатель государств берет себе за образец конституцию северо-американской республики. Все то, что претит ему, он вычеркивает своею грубиянскою кистью. Таким путем он получает, наконец, исправленное издание республики—ad usum delphini, т.-е. для пользы и отрады „немецкого человечества". И после того, как он нарисовал „картину республики и именно определенной республики", он поднимает своего „маленького" непочтительного ученика „за коммунистические уши" и огорашивает вопросом: в состоянии ли и он также „сделать мир", и еще „наилучший мир"? И педагог не перестает тащить „маленького" „за коммунистические уши" „вверх" до тех пор, пока он не „сталкивает" его „носом" с гигантской картиной „нового мира", — наилучшей республики. Эту гигантскую картину проектируемого им мира он собственно повесил на высочайшую вершину швейцарских Альп.

Cacatum non est pictum,—раздается голос „маленького" нераскаянного змееныша. И возмущенный республиканский Аякс сбрасывает на землю коммунистического Терсита и из широкой мохнатой груди

вырываются ужасные слова: „Вы доводите смешное до крайности, г. Энгельс!".

И в самом деле, г. Энгельс! Неужели вы не признаете, что „американская федеративная система" есть „наилучшая политическая форма", „которую до сих пор изыскало государственное искусство"? Вы качаете головкой? Что? Вы вообще отрицаете, что „американская федеративная система" изыскана „государственным искусством"? И что существуют in abstracto „наилучшие политические общественные формы"? Но, ведь, тут уж конец всему!

В то же время вы так „бесстыдны и бессовестны", что даете нам понять, будто честный немец, который хочет воспользоваться северо-американской конституцией—да еще украшенной и исправленной—для блага дорогой отчизны, подобен тому глупому купцу, который, скопировав торговые книги своего богатого соперника, вообразил, что вместе с копией вступил во владение и его богатством!

С „топором палача" в руке вы, кажется, грозите нам своей игрушкой, гильотиной, подаренной вам 1794 годом? Барбару, бормочете вы, и другие высоко поднявшиеся люди были в то время, как мы играли гильотиной, укорочены на целую голову, потому что раскричались невзначай о том, что „американская федеративная система" есть „наилучшая политическая форма". И так будет со всеми другими Голиафами, которые при какой-либо демократической революции в Европе, и особенно в растерзанной еще феодализмом Германии, вместо единой неразделимой республики и ее нивелирующей централизации будут стремиться насадить „американскую федеративную республику".

Но, Боже мой! Ведь члены Comité du salut public и стоявшие за ними якобинские кровопийцы были чудовищами, а „наилучшая" гейнценская „республика" есть „наилучшая политическая форма", „придуманная" „современным государственным искусством" для „человечества"; она предназначена для „человеков", для хороших людей, для человечных людей. Действительно! „Вы доводите смешное до крайности, г. Энгельс!"

К тому же основывающий государства Геркулес вовсе не копирует точка в точку северо-американской республики. Он украшает ее „социальными учреждениями", он обещает „регулировать отношения собственности на разумных основаниях", и семь великих „мероприятий", при помощи которых он устраняет „неурядицы" старого буржуазного общества, ни в коем случае не являются жалкими отбросами, подобранными в различных вредоносных коммунистических и социалистических кухмистерских. Своими рецептами для „гуманизирования общества" великий Карл Гейнцен обязан „инкам" и „Детским рассказам Кампе"; также и своей последней глубокомысленной фразой он обязан не философу и померанцу Руге, а поседевшему в мудрости „перуанцу". А г. Энгельс называет все это произвольно измышленными, мелко-буржуазными мечтами об улучшении мира!

Да, мы живем в такое время, когда „все более и более исчезают лучшие люди", а самые „наилучшие"—те остаются совсем непонятыми.

Возьмите, к примеру, какого-нибудь благомыслящего бюргера и спросите его по совести, чем страдают современные „отношения собственности"? Добрый человек приложит указательный палец к кончику своего носа, дважды глубокомысленно вздохнет и потом, „если угодно", выскажется в том смысле, что это позор, когда многие не имеют „ничего", даже самого необходимого, а другие, не только во вред неимущим босякам, но и почтенным бюргерам, накопляют в своих руках аристократически бесстыдные миллионы. Aurea mediocritas! Золотая середина!—восклицает честный представитель среднего сословия. Лишь бы избежать крайности! Никакое разумное государственное устройство невозможно при крайностях, при этих крайностях, при этих в высшей степени вредоносных крайностях.

А теперь обратите свой взор на гейнценскую „федеративную республику" с „социальными учреждениями" и с семью мероприятиями для „гуманизирования общества". Здесь каждому гражданину обеспечен „minimum" состояния, ниже которого он не может спуститься, и предписан „maximum" состояния, выше которого он не может подняться. Не разрешил ли г. Гейнцен всех затруднений, когда он благочестивое пожелание всех бюргеров, чтобы никто не имел ни слишком много, ни слишком мало, выразил в форме государственных декретов и этим как бы осуществил его?

И подобным, настолько же простым, как и великолепным, образом г. Гейнцен разрешил все экономические коллизии. На разумных основаниях, соответствующих чувству справедливости честных людей, регулировал он собственность. И не говорите ему, что „разумные порядки" собственности и суть именно „экономические законы", перед бездушной неизбежностью которых должны отступить все справедливые „мероприятия", хотя бы они были рекомендованы как инками, так и Кампе в его писаниях для детей, и горячо поддерживались самыми лучшими патриотами.

Как несправедливо выдвигать экономические соображения перед человеком, который не хватает, подобно другим, „изучением политической экономии", а, наоборот, в скромности своей сумел во всех своих сочинениях сохранить отблеск девственной невинности, еще не сделавшей самых первых шагов в изучении политико-экономических наук. Именно примитивности познания этого человека следует поставить в высокую заслугу то обстоятельство, что против коммунистических врагов своих он с важным видом выдвигает все те соображения, которые через посредство „Augsburger Allgemeine Zeitung" известны всем немецким читателям с 1842 г., как, например, положение „приобретенной" собственности, о „личной свободе и индивидуальности" и т. п. И как же далеко должна была зайти деморализация коммунистических писателей, если они выбирают себе противников из людей с экономическим и философским образованием и оставляют без ответа „непосредственные" выдумки грубиянского здравого смысла которому они должны были бы преподать сначала элементарные сведения об экономических условиях данных буржуазных отношений, чтобы иметь затем возможность обсуждать их вместе с ними.

Так как частная собственность, например, не есть отвлеченное понятие или принцип; так как она представляет собою не простое отношение, а всю совокупность буржуазных отношений производства (речь идет не о подчиненной, прошедшей, а о существующей теперь буржуазной частной собственности); так как все эти буржуазные отношения производства суть классовые отношения, что должно быть известно каждому школьнику из Адама Смита или Рикардо—то изменение, не говоря уже об уничтожении, этих отношений, может, конечно, произойти лишь с изменением самих классов и их взаимных соотношений; изменение же соотношений между классами есть такое историческое изменение, которое может явиться лишь результатом всей совокупности общественной деятельности, продуктом определенного, „исторического движения". Писатель может использовать такое историческое движение, но само собой разумеется, что он не может создать его. Так, например, чтобы сделать понятным устано-

вление буржуазных отношений собственности, современные историки должны были изложить весь процесс движения, в котором буржуазия достигла такой точки, когда жизненные условия ее оказались достаточно развитыми для того, чтобы уничтожить феодальные сословия и свои собственные феодальные условия существования, а следовательно, и феодальные отношения производства, при которых вели свое производство эти феодальные сословия. Таким образом отмена феодальных отношений собственности и основание современного буржуазного общества ни в коем случае не были результатом известного действия, которое исходило бы из какого-нибудь определенного теоретического принципа и явилось бы последовательным выводом из него. Наоборот, принципы и теории, развитые представителями буржуазии во время ее борьбы с феодализмом, были ничем иным, как теоретическим выражением практического движения; при чем можно с точностью проследить, как выражение это бывало более или менее утопическим, догматическим, доктринерским, соответственно более или менее развитым фазам того действительного движения, которое выражали теории.

В этом именно смысле, перед лицом своего страшного противника,—геркулеса, основывающего государства,—Энгельс имел неосторожность говорить о коммунизме, поскольку он является теорией, как о теоретическом выражении „движения".

Но, восклицает ярый борец в суровом возмущении: „Я хотел указать неизбежные практические последствия, я хотел довести „представителей" коммунизма до того, чтобы они признали эти последствия", именно те бессмысленные последствия, которые для человека, не имеющего ничего, кроме фантастических представлений, о буржуазной частной собственности, неизбежно связаны с отменой последней. Он хотел вынудить Энгельса „защищать все бессмыслицы", которые он, по смелому плану г. Гейнцена, „вызвал бы на свет божий". Но Рейнеке Энгельс так сильно разочаровал честного Изегрима, что последний не находит уже в коммунизме никакого „ядра", которое можно было бы „раскусить", и удивленно спрашивает: „каким образом приводится это явление в съедобный вид?"

И тщетно пытается добрый человек успокоить себя остроумными увертками спрашивая, например, не является ли историческое движение „движением человеческого ума и чувства" и т. д. и заклинает даже дух великого „Руге", чтобы тот разгадал ему эту тайну природы!

„После того, что случилось", восклицает разочарованный человек, „мое сердце охватывает сибирский холод; после того, что случилось, я предчувствую только предательство, мне представляются одни лишь козни" [1]).

И в конце концов он, действительно, объясняет себе дело тем, что, Энгельс „отрицает свою собственную школу", „совершает столь же трусливое, как и смешное отступление", „компрометирует весь род человеческий, чтобы только не скомпрометировать свою собственную персону", „в решительный момент бросает свою партию на произвол судьбы", и проч. в том же жанре морализующего бешенства. Точно также и различие, проводимое Энгельсом между „истинным социализмом" и „коммунизмом", между утопическими коммунистическими системами и критическим коммунизмом, есть нечто иное, как „предательство" и „коварство". Да, чисто иезуитское, только теперь нарочно выдуманное различие, так как до сих пор, по крайней мере, никто о

[1]) Карл Гейнцен, „Steckbrief".

нем не сообщал, и даже бурный вихрь полноты жизни не донес о нем, повидимому, до ушей Гейнцена ни звука.

А ведь как тонко умеет г. Гейнцен намекать на эти разногласия, поскольку они нашли себе литературное выражение! „Вот Вейтлинг, который, правда, толковее вас, но все же может считаться несомненным коммунистом". Или: „Что, если бы г. Грюн пожелал стать коммунистом и исключил бы г. Энгельса?" Само собой понятно, что, дойдя до этого пункта, честный человек, „не сумевший настолько эмансипироваться, чтобы считать верность и доверие, как бы старомодны они ни были, совершенно излишними между разумными людьми", начинает угощать нас самой абсурдной ложью, например: будто Энгельс собирался писать о „социальном движении в Англии и Франции", но тут г. Грюн „забежал вперед", и Энгельс „не нашел издателя для своего скучного повторения", и прочими измышлениями, выведенными г. Гейнценом, „как последствия известного принципа".

Такой жалкий результат морализующей критики зависит от самого „рода" этой критики и никоим образом не может быть приписан личным недостаткам Аякса Теламонида. При всех своих глупостях и плоскостях, этот санкт грубиянист имеет то нравственное качество, что свои глупости и плоскости он говорит по убеждению, что он—цельный человек.

Но, что бы ни говорили „факты", которые сам великий Карл Гейнцен предоставляет их „спокойному течению", „я", восклицает он, трижды бия себя в честную грудь, „я продолжаю безбоязненно носить с собой свой принцип и не выбрасываю его за борт, когда меня о нем спрашивают".

Генрих XLII Рейс-Шлейц-Эберсдорфский тоже лет двадцать уже ездит верхом на своем „принципе".

Вступительные замечания к статьям Дидро.

Дидро и д'Аламбер готовят себе крылья, чтобы перелететь в потомство, сказал Вольтер по поводу Энциклопедии. Только наше поколение, отделенное от времени выхода последнего тома Энциклопедии расстоянием в 150 лет, может понять справедливость высказанного Вольтером суждения. Правда, оно требует некоторой поправки в отношении д'Аламбера, который оставил Дидро в самое тяжелое время. Под общей редакцией Дидро и д'Аламбера было выпущено только семь томов Энциклопедии. После выхода седьмого тома (в 1757 г.) генерал-прокурором было возбуждено судебное преследование против „позора французской нации", т.-е. против Энциклопедии. Одновременно государственным советом был издан декрет, воспрещавший продажу и дальнейшее печатание Энциклопедии, в которой развивались опасные для религии, нравственности и существующего общественного строя идеи. Во время этого кризиса д'Аламбер ушел из редакции, измученный оскорблениями, гнусными пасквилями и цензурными стеснениями. Дидро же от предприятия своего не отказался. Он довел Энциклопедию до конца, соорудив себе поистине памятник бессмертный собственными руками.

Помещаемые ниже статьи Дидро из Энциклопедии дают некоторое представление о тенденциях и целях, которые преследовались редактором этого замечательного произведения. Статьи отличаются обстоятельностью анализа и обнаруживают стремление автора дать исчерпывающее изложение идей великих мыслителей. Эпикур, Гоббс и Спиноза оказали огромное влияние на развитие философской и научной мысли во Франции. Эпикур, Гоббс и Спиноза имеют между собой много общего. С другой стороны, на французском материализме XVII и XVIII в.в. лежит печать их идей. Учение Эпикура во Франции возобновил еще в XVII ст. Пьер Гассенди. Из прекрасной статьи Дидро читатель видит, с каким уважением и сочувствием он излагает его учение. Французский материализм XVIII в. во многих отношениях примыкает к греческому мыслителю—в особенности в области этики. Достаточно вспомнить хотя бы Ламеттри. Но из статьи Дидро

мы можем заключить о широкой распространенности эпикуреизма в образованных кругах общества. Правда, в нашем распоряжении нет данных, которые позволили бы нам судить о физиономии этого французского эпикуреизма. Мастерское описание жизни и учения Эпикура составлено Дидро, повидимому, на основании десятой книги Диогена Лаэртского. Однако надо думать, что им была использована для этой цели и книга Гассенди об Эпикуре.

Что касается статьи о Гоббсе (точное заглавие статьи: „Гоббсизм или философия Гоббса"), то она представляет собою объективное изложение основных идей—философских и политических—английского мыслителя. В первой части статьи Дидро дает биографию Гоббса. Очень странно, что Дидро, говоря о пребывании Гоббса во Франции, упоминает о его сношениях с Мерсенном и совершенно умалчивает о встречах его с материалистом Гассенди, у которого он, повидимому, многому научился.

А между тем мы знаем, что во время продолжительного пребывания своего в Париже в третий раз,—с 1840 г. до 1853 г.),—он часто встречался с Гассенди. Гассенди в то время был на верху славы. Он читал лекции в Парижском университете. Его аудитория ломилась от публики. Лекции его посещались даже учеными с крупными именами. Сам Гоббс считает Гассенди, наряду с Галилеем, Кеплером, Гарвеем, основателем современной науки о природе, оставляя за собою только славу основателя „гражданской" или политической философии. Любопытно, что Дидро в своей статье о Гоббсе не считает нужным подвергнуть критике учение английского мыслителя, хотя несомненно, что он во многом с ним не соглашался.

Статья о Спинозе носит уже совершенно иной характер. Первая часть статьи представляет собою воспроизведение статьи Бэйля о Спинозе в его знаменитом Словаре. Мнение Бэйля о Спинозе сводится в сущности к следующему: Спиноза был человек высокой добродетели, но его система—„латинская галиматья". Дидро в общем присоединяется к мнению знаменитого скептика. „Спиноза окружил себя густым мраком"; он „выставляет целый ряд произвольных принципов, заменяющих собою естественные принципы". Во второй части своей статьи Дидро подвергает резкой критике некоторые положения Спинозы. Однако надо сказать, что многое в его критических замечаниях объясняется недостаточно глубоким знакомством с системой Спинозы. С другой стороны, критика ведется Дидро с точки зрения опыта и освобожденного от метафизической и богословской оболочки материализма. В непосредственно следующей за статьей „Спиноза" маленькой заметке „Спинозист" в том же 15 томе Энциклопедии Дидро говорит: „Не следует смешивать старых и новых спинозистов. Последние исходят из того основного принципа, что материя

способна ощущать... Существует одна только материя и ее существование служит достаточным объяснением всех явлений. В остальном они твердо держатся всех выводов старого спинозизма" [1]).

Таким образом Дидро сам признает в общем учение Спинозы правильным, несмотря на резкую критику некоторых его положений. Дидро выступает против геометрического метода Спиноза, считая его неправильным. Он ратует за опыт, за естественные принципы и за атомистику. Необходимо, однако, заметить, что выводы первой статьи, в которой система Спинозы объявляется чудовищной и нелепой, мало вяжутся с заключением статьи „Spinosiste", что новых спинозистов отделяет от старых лишь понимание материи и что во всем остальном они придерживаются выводов старого спинозиама.

Под новыми спинозистами Дидро подразумевает всех тех материалистов, которые признают, что материя способна ощущать. Но это положение признавал и Гельвеций, и Ламеттри, и Гольбах, и Робине, и, наконец, сам Дидро. Стало быть, все они были спинозистами. В таком случае статья Дидро о Спинозе написана в слишком суровом и резком тоне. Но эта резкая критика находит свое оправдание в стремлении Дидро к устранению метафизических и опытом не доказуемых элементов из материалистического мировоззрения.

А. Деборин.

Эпикуреизм.

Школа элеатов породила школу эпикурейскую [1]). Ни одна философия не была столь мало понята и столь сильно оклеветана, как философия Эпикура. Ее обвиняли в атеизме, хотя Эпикур допускал существование богов, посещал храм и вовсе не питал отвращения к тому, чтобы бросаться к подножиям алтарей. На него, жизнь которого была постоянным осуществлением всех добродетелей, и прежде всего воздержания, смотрели как на проповедника распутства. Предубеждение было общим, и, к стыду стоиков, которые пускали в ход все, чтобы его распространять, надо добавить, что эпикурейцы, имевшие самую скверную репутацию, были на самом деле честнейшими людьми. Но для того, чтобы об учении Эпикура вынести ясное представление, мы выведем самого философа, окруженного своими учениками и преподающего им свои наставления в тени деревьев, посаженных им же. Он будет сам говорить ниже, и мы надеемся на справедливость читателя, что он слова его хорошо усвоит. Единственно,

[1]) Небольшая статейка „Спинозист" целиком перепечатана Бельтовым-Плехановым в „Критике наших критиков", 161 стр.

что мы себе позволим, это набросать, на-ряду с его принципами, некоторые из наиболее непосредственных выводов, которые можно сделать из них.

О философии вообще.—Человек родился для того, чтобы мыслить и действовать, а философия возникла, чтобы управлять его рассудком и волей: вздорно все то, что отклоняется от этой цели. Счастье приобретается упражнением разума, осуществлением добродетели и умеренностью в удовольствиях; это и есть то, что требуется здоровьем тела и души. Если самым важным из знаний является знание того, чего надо избегать, и что надо делать, то юноша не может отдаться занятиям философией слишком рано, а старик—отказаться от них слишком поздно. Среди моих учеников я различаю три рода характеров: существуют люди,—такие, как я,—которых не устрашает никакое препятствие и которые движутся вперед к истине, добродетели и счастью одни и самостоятельно; другие—такие, как Метродор, которые нуждаются в ободряющем их примере и, наконец, такие, как Гермак, которым нужно нечто вроде насилия. Я всех их люблю и уважаю. О, мои друзья! есть ли что-либо более древнее, чем истина? Не существовала ли она задолго до философов? Презирая, однако, всякий авторитет, философ должен шагать прямо к истине, отбрасывая в сторону суетные призраки, которые появятся на пути, и иронию Сократа, и наслаждение Эпикура. Почему народ остается погруженным в заблуждения? Оттого, что имена он принимает за доказательства. Создайте принципы: лучше меньше числом, но плодотворнее по следствиям. Не пренебрегая изучением природы, употребим свои силы в особенности на изучение нравов. К чему нам углубленное знание находящихся вне нас существ, если без этого знания мы можем рассеять страх, подавить печаль и удовлетворить наши нужды? Применение раздутой до крайности диалектики вырождается в искусство засаривать все науки трудностями: я ненавижу это искусство. Истинная логика может быть сведена к немногим правилам. В природе существуют только вещи и наши идеи; и, следовательно, истины могут быть только двух родов: истины существования и истины индукции. Истины существования принадлежат чувствам; истины индукции—разуму. Поспешное заключение (précipitation)—главный источник наших заблуждений. Однако я не позволю себе сказать вам: ждите. Без согласованного применения чувственных восприятий не может быть идеи или предварительных понятий; и без предварительных понятий не возникает ни сомнения, ни мнения. Тот, кто далек от того, чтобы потрудиться поискать истину, не будет в состоянии даже составить какой бы то ни было образ. Увеличивайте, однако, число предварительных понятий неослабным применением ваших чувственных восприятий; изучайте точное зна-

чение знаков, установленных другими, и определите тщательно значение тех, которые вы установите. Если вы позволите себе говорить, то предпочитайте наиболее простые и наиболее общие выражения: бойтесь быть непонятыми, чтобы не потерять времени на объяснение самих себя. Когда же вы слушаете, положите все силы для понимания слов. Благодаря, именно, привычному упражнению в этих принципах, вы сможете различать без труда истину, ложь, неясность и двусмысленность. Однако недостаточно вложить истину в ваши рассуждения—надо еще воплотить мудрость в ваших действиях. Вообще, вы не колеблясь отдавайтесь наслаждению, если оно не влечет за собою никакого страдания, отдавайтесь, если страдание меньше, чем оно; отдавайтесь наслаждению даже тогда, когда страдание вам обещает большое удовольствие. И будет безмерным содеянное зло, если броситесь в наслаждение, которое причинит вам слишком большое страдание или лишит вас самого большого удовольствия.

О физиологии вообще.—Какую же цель вам ставить себе при изучении физиологии? Выяснение общих причин явлений. Знание же их нужно для того, чтобы, освобожденные от всех пустых ужасов, мы без угрызения совести предавались нашим разумным наклонностям и чтобы, насладившись жизнью, мы покидали ее без сожаления.

Ничего не происходит из ничего. Вселенная всегда была и всегда будет. Существуют только материя и пустота; так как ничто среднее между ними непонятно. К понятию пустоты добавьте непроницаемость, фигуру и вес, и вы будете иметь идею материи. Отделитете же качества от идеи материи, и вы будете иметь понятие пустоты. Если природу рассматривать, отвлекаясь от материи, то получается пустота; пустота, занятая чем-либо, наводит на понятие места; пройденное место дает понятие местности.

Необходимость пустоты ясна сама по себе; ибо если бы не было пустоты, где бы существовали тела? Где бы они двигались? Но что же такое пустота? Есть ли это качество? Есть ли это вещь?—в этом нет сомнения. Это вещь, она всегда одинаковой формы, однородна, безгранична, вечна, охватывает все тела, не изменяя, но определяя их, отмечая их пределы и содержа их в себе. Вселенная есть аггрегат материи и пустоты. Материя бесконечна, бесконечна и пустота: ибо если бы пустота была бесконечной, а материя конечной, то ничто не удерживало бы тел и не ограничивало бы их отклонений; их бы разбросали толчки и повторные отталкивания; и, не образуя целого, вселенная в какой-нибудь момент времени стала бы не чем иным, как кучей друг от друга изолированных и потерявшихся в безграничности пространства тел. Если же, наоборот, материя была бы бесконечной, а пустота конечной, то были бы такие тела, которые не помещались бы в пространстве, а это абсурдно. Поэтому к вселенной мы не относим ни одного из тех выражений, в которых мы различаем измерения и определяем точки пространства в конечных телах. Вселенная неподвижна, потому что за нею нет вовсе пространства. Она неизменна, потому что она не подвержена ни разрушению, ни уменьшению. Она вечна, потому что она и не начиналась во времени, как и никогда не кончится. Между тем населяющие ее существа умирают, законы осуществляются, явления следуют друг за другом. Одни из этих явлений возникают, другие—продолжаются, и третьи—исчезают; но все эти изменения относятся лишь к частям каждого явления, но не к целому.

Единственный вывод, который можно сделать из возникновений и разрушений, состоит в том, что имеются такие элементы, из которых образуются существа и на которые они разлагаются. Без идеи составного целого нельзя понять ни образования, ни разложения; идея же составного целого невозможна без допущения простых первичных и постоянных частиц. Эти частицы и называем мы атомами. Атом не может ни делиться, ни уменьшаться, ни разрушаться; по сущности своей он—неизменный, конечный; отсюда вытекает, что в каком бы то ни было составном целом нет бесконечных частиц ни по величине, ни по протяженности, ни по числу. Однородные в отношении своей твердости и неизменяемости атомы имеют специфические качества, которыми они отличаются друг от друга. Этими качествами являются величина, фигура, вес и все другие качества, которые вытекают из них, например, гладкая поверхность, острый угол. К этим последним нельзя причислять теплоту, холод и другие подобные им качества,—это значило бы смешать неизменные качества с временными впечатлениями их на нас. Хотя мы и приписываем атому все измерения чувственно воспринимаемого тела, но на самом деле он меньше, чем любая воображаемая часть материи: он ускользает от чувственных наблюдений, область применения которых ограничивается воображением как в малом, так и в большом. Именно, различие атомов объясняет большую часть явлений, относящихся к ощущениям и чувственным состояниям. Различие фигур, будучи необходимым следствием различия величин, вполне возможно, так что во всей этой вселенной нет совершенно равных между собой сложных тел. И хотя одни атомы угловатые, другие—кривые, но их острые концы не притупляются, их углы не разбиваются. Я приписываю им вес, как существенное качество, потому что они двигаются активно или имеют потенциальное стремление к движению, только именно как следствие внутренней силы, которую ни понять, ни назвать нельзя иначе, как стремление к уравновешиванию. Атому свойственна подвижность двух родов: падение или уравновешивание (pondération), которое

увлекает его без участия какого-либо другого действия, и толчок или отраженное движение, которое оно испытывает при встрече с другим телом. Этот последний род движения бесконечно варьируется, смотря по бесконечному разнообразию масс и направлений. Движение же первого рода, будучи внутренней энергией материи, может рассматриваться как то, что создает всякое движение в природе и что является вечной причиной сложения тел. Общее направление атомов, увлекаемых движением уравновешивания, не параллельно; они немного сходятся; к этому соприкосновению их и следует относить толчки, соединения и сцепления атомов, образование тел, порядок вселенной со всеми ее явлениями. Но откуда возникает это соприкосновение? От первоначального различия атомов, как относительно массы, так и фигуры, а также относительно силы тяжести. Сила атома и отсутствие сопротивления со стороны пустоты таковы, что, если бы он не задерживался никаким препятствием, самое большое, какое только постигается умом, пространство атом пробежал бы наименьший промежуток времени. В самом деле, что бы могло его остановить? Что такое пустота для движения? Как только соединенные атомы образуют сложное целое, они продолжают находиться в нем; этому сложному целому свойственны свои различные движения, различные действия, как внутренние, так и внешние, как на далеком расстоянии, так и в том же месте. Их обыкновенно и называют элементами, состоящими из атомов; эти составные собрания можно рассматривать как принципы, хотя и не первичные. Атом есть первичная причина, в силу которой все существует, и первичная материя, из которой все возникает. Он активен (aktif) по сущности и сам по себе. Эта активность от атома переходит к элементу, от элемента к сложному целому, и варьируется, смотря по тому, какие возможны соединения. Вся же активность производит или местное движение, или стремление к нему. Вот универсальный принцип разрушений и преобразований. Изменения сложных тел являются только видом движения и следствием существенной активности образующих их атомов. Каким только воображаемым причинам ни приписывались эти проявления этой активности, которая в состоянии унести, смотря по обстоятельствам, части существа на безграничное расстояние или ограничиться их колебаниями, их незаметными перенесениями? Это и есть то, что изменяет сладкое в кислое, мягкое в твердое и т. д. И в самом деле, какова была бы наша судьба, если бы не было универсальных причин и действий, присущих атомам, взятым отдельно или в соединении с другими атомами. Число определенных существенных качеств атомов невелико, но их достаточно, чтобы возникло бесконечное разнообразие качеств в сложных телах. Из большего или меньшего отделения атомов возникает, густое, редкое, непрозрачное,

прозрачное: отсюда следует выводить также жидкое состояние, твердость, мягкость, объем и т. д. Откуда же мы вывели бы фигуру, как не из составных частей? И откуда вывести вес, как не из внутренней силы уравновешивания? Говоря точно, нет ничего, что бы само по себе было тяжело или легко. То же самое следует сказать о теплоте и холоде. Но что такое время? Для природы—это последовательность явлений, для нашего рассудка—понятие, которое часто есть источник тысячи заблуждений. Так же надо судить и о пространстве. В природе нет пространства без тел, а без последовательных событий нет времени. Движение и покой таковы, что понятия о них неотделимы в нашем понимании от понятий времени и пространства. И всякое новое возникновение есть только соединение тех же атомов. Невозникший и неизменный атом есть принцип всякого возникновения и разрушения. Из его внутренней, укорененной в его сущности активности следует то, что хотя и не может быть такого сложного тела, который был бы вечно, однако нет ничего абсолютно невозможного в том, что после нашей смерти общая связь всей материи не исчезает, а возвращает вселенную к тому же состоянию, в котором она пребывала, или по крайней мере возвращает к прежнему состоянию часть ее элементов, из которых мы состоим, вследствие чего мы могли бы воскреснуть. Но тогда мы были бы лишены памяти о прошлом. Память исчезает в момент смерти. Мир есть только незначительная часть вселенной, границы которой полагаются слабостью наших чувственных восприятий. Рассматриваемый со стороны своих частей и их взаимного порядка, мир един; он неодушевлен и, следовательно, не является богом. Душа возникает не в силу какой-нибудь высшей и умозрительной причины: к чему прибегать к такой причине, когда все могло бы как возникнуть, так и быть объяснено из материи, пустоты и движения? Мир есть продукт случая, а не осуществление какой-либо цели. Рассматриваемые в их общем колебании, порождающем их во времени, эти сущности представляют собою то, что мы называем хаосом, после же возникновения и упорядочения в определенной части пространства, видимого теперь нами, они образуют то, что мы называем миром. Было бы заблуждением думать, что море, земля и небо возникли как-либо иначе. Из соединения атомов сперва возникают семена вселенной; эти семена развиваются, и все животные, не исключая и человека, каждое в отдельности, порождаются ими. Если семена истощатся, то земля перестанет производить, и развитие видов остановится на различных разветвлениях потомства. Воздержимся относить к себе действия природы; нет никакой иной причины возникновения вещей, кроме всеобщего сцепления материальных сущностей, которое все равно, будет ли это к нашему счастью или к нашему несчастью, производили бы определенную работу. Отбросим

прочь духов и демонов! Если бы они были, то многие вещи были бы совершенно иными или их не было бы вовсе. Те люди, которые вообразили их существование, не были философами, но только духовидцами. Да и если мир имел начало, то почему же ему не иметь конца? Разве все не является составным целым? Не сохраняет ли атом свою активность в этом великом составном целом так же, как в наименьшей его части? И не является ли эта активность принципом изменения и разрушения? Наше воображение вводится в заблуждение ложными измерениями в пространстве и времени; мы рассматриваем все с точки зрения пространства, окружающего нас и моментов нашей длительности. Но для того, чтобы судить о нашем мире, надо сопоставить его с безграничностью вселенной и с вечностью времени: тогда—этот шар и стал бы тысячу раз больше, но по-прежнему подчинялся бы общему закону, и мы бы увидели, как он подчиняется всем случайным свойствам единичной частицы.

Существуют только неизменные, непреложные, вечные атомы; миры проходят, лишь атом остается таким, как он есть; ведь ничто не противоречит множественности миров; возможно, что существуют миры, подобные нашему; возможно, что существуют и отличные от него. Их следует рассматривать как большие вихри, прижатые друг к другу. Сдавливая собою наименьшие части, они наполняют вместе все это великое пустое пространство. Во время их общего вращения, откуда возникает и наше движение, те сцепления атомов, которые мы называем **землей**, занимают центральное положение, другие сцепления образуют небо и звезды, его освещающие. Не будем приписывать всего этого падению тяжелых атомов: тяжелые не имеют общего центра; они падают параллельно. Отсюда заключаем о нелепости предположения антиподов. Земля не сферическое тело; это скорее большой диск, поддерживаемый атмосферой и подвешенный в пространстве: земля не одушевлена и, следовательно, не является божественной. Колебания ее следует приписать не чему иному, как подземным испарениям, внезапным толчкам, столкновениям противоположных стихий, действиям огня. Если реки не подымают уровня моря, то это объясняется объемом последнего, его безграничной водной вместимостью и количеством паров, исходящих с ее поверхности благодаря солнцу, так что реки оказываются только слабыми стоками воды. Воды морей разливаются по всей земной массе, обливая ее, сращиваются, сливаются и начинают снова устремляться в те же водоемы, откуда вытекли, лишаясь присущей им горечи во время этого круговорота. Нильские наводнения происходят вследствие постоянных ветров, вызывающих на море, в устьях Нила, волнения, в устьях накопляются груды песку, и река начинает течь обратно. Горы столь же древнего происхождения, как и земля. Растения

имеют общее с животными то, что, подобно последним, они рождаются, питаются, размножаются, приходят в упадок и гибнут; все это, однако, не предполагает существования души, их оживотворяющей. Вся жизнь этих существ возникает благодаря только движению и положению. Каждый орган животного перерабатывает одну часть семени и передает ее затем в общее вместилище тела; по аналогии свойственно это и семенным частицам, которые отделяются друг от друга, распределяются и складываются так, что одинаковые частицы оказываются вместе с одинаковыми, их перерабатывающими; все же вместе они порождают одно целое животное. Этим механизмом не руководит никакое разумное начало,—к чему нам предполагать его действие, если все происходит так, как если бы не было последнего? Глаза не для того возникли, чтобы видеть, а ноги—ходить, но животное имеет ноги и ходит, имеет глаза и видит.

Душа человека есть нечто телесное; все те, кто утверждает обратное, ничего не понимают: они говорят бессмыслицу. Если бы душа была бестелесной, как ее рассматривают, она не могла бы ни действовать, ни дышать, а неоднородность с телом делала бы невозможным воздействие души на тело. Прибегнуть к какому-либо immатериальному принципу для исполнения этого воздействия значит не разрешить трудность, а перенести ее в другую область. Если бы в природе было какое-либо существо, способное изменять природные свойства,—истина превратилась бы в пустое слово. Душу не следует отождествлять с духовной субстанцией. Душа есть сложное целое, составленное из атомов столь единых, столь легких, столь подвижных, что она может отделяться от тела, не теряя ощутительно в своем весе. Этому сплетению атомов, при всей его тонкости, присуще множество различных качеств; оно воздушно, огненно, подвижно, ощутимо. Рассеянное по всему телу, оно является причиной возникновений страданий, действий, движений, способностей, мыслей и всех других функций как духовных, так и животных; оно-то именно и ощущает,—но эту способность оно заимствует лишь от тела. Когда душа отделяется от тела, способность ощущения исчезает, так как она является не чем иным, как следствием их связи; ощущения суть только различного рода осязания; из самих тел непрерывно истекают образы, подобные им же; они, как отпечатки, втискиваются в наши чувства. У животного и у человека—общие ощущения. Рассудок может упражняться, когда чувства отдыхают. Я понимаю что-либо умом, наиболее свободной частью души. Ум рассеян во всей сущности души, как рассеяна душа во всей сущности тела; душа и ум тождественны; они образуют только одну сущность. Ум действует почти в неделимые моменты времени; он находится в сердце: действительно, ведь отсюда исходит радость, печаль, храбрость, трусливость и т. д.!

Душа мыслит так же, как и глаз видит, при посредстве образов, эйдолов. Душа познается преимущественно в удовольствии и печали. Нарушьте естественное положение частей тела, и вы вызовете боль; верните им их естественное положение, и вы почувствуете удовольствие. И мы, быть может, достигли бы самого желательного из всех положений, если бы, вместо того, чтобы двигаться, наши члены отдыхали, или если бы мы перестали чувствовать, или застыли бы в состоянии ненарушимого спокойствия. Благодаря удовольствию и неудовольствию возникают желание и отвращение. Вообще душа радуется и раскрывается от удовольствия; от неудовольствия она вянет и свертывается. В попеременном ощущении этих движений и заключается жизнь. Чувственные состояния изменяются в зависимости от соединения атомов, образующих душевную ткань. Образы начинают вписываться в чувственные органы; последние возбуждают воображение, а воображение душу, и душа заставляет тело двигаться. Удрученная и рассеянная душа поддается сну, когда тело падает от слабости и усталости. Если душа охвачена видениями, невольно терзающими или увеселяющими ее, то такое состояние называется бессонницей или сновидением, смотря по степени сознания, участвующего в нем. Смерть есть прекращение ощущений. Резрушается тело, разрушается с ним и душа; ее способности уничтожаются,—она перестает мыслить; она ни о чем более не помнит, не думает, не действует. Но разрушение не есть уничтожение; это не что иное, как распадение отдельных частиц. Разве душа существовала до образования тела? Почему же она должна существовать после его разрушения? И так как душа ничего не ощущает после смерти, то она теряет и всякую способность чувствовать удовольствие и неудовольствие. Итак, отбросим прочь басню об аде и рае, и все лживые рассказы, суеверие которых так устрашает скверных людей, если они считает последних недостаточно наказанными за злодеяния, а хороших кормит надеждами, если находит их недостаточно вознагражденными за их добродетели.

Следовательно, нужно заключить, что изучение природы вовсе не бесполезно, так как оно доставляет человеку такие познания, которые обеспечивают ему душевное спокойствие, освобождают от всех суетных страхов его ум, подымают его на высоту богов и приводят его к истинным мотивам осуществления своих обязанностей.

Звезды—огненные сплетения. Солнце я сравниваю с губчатым телом, безмерные впадины которого пронизаны огненной материей, кидающейся во все стороны. Небесные тела не имеют души: они не являются поэтому богами. Между ними имеются неподвижные и блуждающие; последние называются планетами. Хотя все они кажутся нам сферическими, но они могут быть цилиндрической формы или конической, или дискообразной, или какими-либо частями шара. Все эти формы, да и множество других, вовсе не противоречат чувственным наблюдениям. Они движутся или благодаря общему вращению неба, которое увлекает их, или благодаря им самим, проходящим все широкое пространство небес, которое для них проницаемо. Солнце восходит и заходит, подымаясь на горизонте и опускаясь за ним; оно загорается на востоке и гаснет на западе, расточаясь и восстановляясь ежедневно. В этой звезде и есть огонь нашего мира: отсюда он весь и рассеивается, и достаточно одной искры, чтобы воспламенить всю нашу атмосферу. Луна и планеты могут сверкать или своим собственным светом, или светом, заимствованным от солнца; затмения происходят или от внезапного потушения, или от положения другого тела, затмевающего первое. Если какой-либо планете приходится пробегать такие области, которые противодействуют огню и свету,—то не угаснет ли такая планета? не произойдет ли затмения? Облака—это или массы сжатого действиями ветра воздуха, или сплетения атомов, накопившихся мало-по-малу, или же пары, поднявшиеся с земли и моря. Ветры—это или потоки атомов в атмосфере, или, быть может, стремительные воздыхания, вырывающиеся из земли и из вод, или это часть воздуха, охваченного движением, благодаря действию солнца. Если огненные частицы соединяются, они образуют одну массу, сжимаются в облако и прилагают стремительные усилия во все стороны, чтобы вырваться, и облако не разрывается с молнией и громом. Когда воды, нависшие в воздухе, редки и рассеяны, они вновь падают на землю в виде дождя, или в силу присущей им тяжести, или вследствие действия ветра. То же самое случается и в тех случаях, когда они образуют густые массы, а теплота разрежает или ветры разбрасывают их. Они несутся каплями, сливающимися при падении; если капли леденеют благодаря ветру или холоду, то идет град. Происходит то же самое, если внезапный жар рассеивает заледеневшее облако. Когда солнце частично противостоит облаку, на которое направлены его лучи, получается радуга. Цвета радуги являются следствиями этого противостояния и влажного воздуха, который порождает все эти цвета, или только один, разнообразно меняющийся в зависимости от того, какую среду он проходит и каким способом он движется. Когда земля сделалась мокрой от долгих дождей и нагрелась от сильного жара, подымающиеся испарения заражают воздух и разносят смерть на далекие расстояния.

О теологии.—Как же нам судить о богах, если при изучении природы мы не допускаем никаких принципов, кроме материи и пустоты? Отказаться ли нам от нашей философии, чтобы дать поработить себя мнениями толпы, которая говорит нам, что боги являются телесными существами? Затем эти боги будто бы счастливы: они наслаждаются спокойствием; их ничего не волнует и не производит впе-

чатления ничего из того, что происходит здесь внизу,—они находятся достаточно высоко от явлений физического и нравственного мира, чтобы не принимать никакого участия в порождении существ или не брать ни одно из них на свое попечение. Сама природа влагает в нашу душу знания их существования. Как же невежественна толпа, не имеющая никаких предварительных понятий о богах! Противиться ли нам общему мнению людей? или поднять наш голос против природы? Но природа не обманывает: боги обязаны своим существованием лишь нашим предрассудкам. И если есть много таких явлений, которые приписываются действию богов, то это только потому, что природа этих явлений и причина их возникновения нам неизвестны! И разве не много других заблуждений, которые могли бы так же ручаться за истинность общей веры? Если человека поразил во сне какой-либо призрак, то, вспоминая его после пробуждения, он приходит к выводу, что этот образ имеет как бы свой прообраз, блуждающий в природе; голос, который он мог расслышать во сне, не оставляет у него никаких сомнений в его сверхъестественной природе; а то постоянство, с которым оно появлялось в одной и той же форме в различное время, заставляет его думать, что этот прообраз бессмертен; бессмертное же существо неизменно, а неизменное—совершенно блаженно, так как оно ни о чем, даже о себе, не беспокоится. Следовательно, существование богов было и всегда будет бесполезным; да и по справедливости они не могут изменяться, ибо необходимо, чтобы принцип деятельности, этот творческий источник всякого разрушения и всякого воссоздания, был уничтожен в этих существах. Отсюда мы не можем ни надеяться, ни отчаиваться. Что же такое прорицание? Что такое чудо? Что такое религия? Если это должно быть культом богов, то это было культом удивления, от которого нельзя отказаться перед всем, что раскрывает перед нами пленительный образ совершенства и счастия. Мы склонны верить в богов человеческого обличия,—последнее приписывалось им всеми народами; это—единственная форма, в которой может изощряться разум и осуществляться добродетель. Если их сущность бестелесна, то они не имеют ни чувств, ни восприятий, ни удовольствия, ни страдания. Их тело во всяком случае не таково, как наше; это такое же соединение атомов, как наше, но атомов более тонких; это та же организация, но имеющая бесконечно более совершенные органы; это—особенная природа, и она столь свободна, столь тонка, что не может иметь причины, которая коснулась бы ее, изменила, соединила или разделила бы, так что она не способна оказывать действия. В каких местах живут эти боги, мы не знаем; этот мир, без сомнения, их недостоин. Они, может быть, скрываются в пустых промежуточных пространствах, которые находятся между прилегающими друг к другу мирами.

О морали.—Целью жизни является счастье. Это—сокровенное признание человеческого сердца. Это—очевидная цель всех поступков, даже отклоняющихся от нее. Тот, кто убивает себя, смотрит на смерть как на добро. Речь идет не о том, чтобы преобразовать природу, но следовать своей общей склонности. И с человеком может произойти несчастие только оттого, что он видит счастие там, где его нет, или там, где оно действительно есть, но ошибается насчет средств его достижения. Что же может быть первым шагом нашей нравственной философии, как не исследование того, в чем состоит истинное счастье. Пусть это изучение будет нашим сегодняшним занятием. Если мы хотим быть счастливыми с этого момента, то не будем откладывать до завтра познание того, в чем заключается истинное счастье. Безрассудные люди жаждут вечной жизни, а они не живут и однажды. Он только бессмертных наделяет высшей степенью блаженства. Между тем, забывать, что мы—только люди, это безумство, от которого мы с самого начала должны предостеречь себя: потеряв надежду быть столь же счастливыми, как боги, подражать которым мы стремимся, мы решим, что нам вовсе и не быть такими счастливыми, как они. Должен ли я гнушаться созерцанием близких окружающих меня вещей, если мой взгляд не проникает безграничности пространств? Эти вещи содержат в себе неиссякаемый источник удовольствия, если только я знаю, каким образом ими пользоваться или когда ими пренебрегать. Страдание всегда есть зло, и удовольствие—добро: чистого удовольствия не бывает. Цветы растут у наших ног, но нужно по крайней мере нагнуться, чтобы их сорвать. О удовольствие! Это для тебя только одного мы делаем все, что мы делаем; мы никогда не избегаем тебя, но только страдания слишком часто сопровождают тебя. Ты воспламеняешь наш холодный рассудок, крепость души и силу воли порождает только твоя энергия, и только ты заставляешь нас двигаться, заставляешь стремиться и тогда, когда устилаем ложе цветами для очаровавшей нас юной красавицы, и тогда, когда, презирая гнев тиранов, мы входим в раскаленных быков с опущенной головой и с закрытыми глазами. Удовольствие бывает всевозможных видов. Важно поэтому хорошо знать ценность тех предметов, в связи с которыми оно бывает, чтобы мы не оказались несведущими в том, когда его надо избегать и когда домогаться, когда жить и умирать. Кроме здоровья души, нет ничего более ценного, чем здоровье тела. Если телесное здоровье чувствуется только частично в некоторых членах тела, то тело не совершенно здорово. И так же не совершенно добродетельна душа, если при нравственной деятельности бросается в неумеренность. Музыкант не довольствуется тем, чтобы настраивать мягко некоторые струны своей лиры; для общественного согласия желательно, чтобы мы подражали ему в этом,

и чтобы в отношении ли наших добродетелей или наших страстей мы себе не позволили быть или слишком слабыми или слишком напряженными и издавать звук или слишком глухой, или слишком пронзительный. Если мы будем уважать своих ближних, то мы найдем удовольствие в выполнении наших обязанностей, потому что в нем есть верное средство мирного существования. Каким образом может быть счастлив тот, кто обманывается в выборе положения? Как можно выбирать себе положение, не зная себя? И как довольствоваться своим настоящим положением, если смешивают естественные нужды, стремленья страстей и ошибки воображения? Нужно иметь цели в настоящем, если не хотят работать для будущего. Но и будущим не всегда невозможно овладеть. Все должно служить одной цели: осуществлению добродетельных качеств, охранению свободы и жизни и презрению к смерти. Ведь смерти нет, пока мы существуем; и ее нет и тогда, когда нас уже более нет. Богов же боятся только потому, что представляют их в человеческом образе. Кто же является нечестивцем, как не тот, кто поклоняется богам толпы? Если бы истинное благочестие заключалось в том, чтобы падать ниц перед голым камнем, то нет ничего более распространенного, чем такое благочестие; но так как оно состоит в том, чтобы здраво судить о природе богов, то это очень редко встречающаяся добродетель. То, что называется естественным правом, есть только символ всеобщей полезности. Всеобщая полезность и общее согласие должны быть двумя великими правилами наших действий. У нас никогда нет уверенности, что грех останется неизвестным; совершающий его подобен безумцу, играющему в игру, в которой он больше проигрывает, чем выигрывает. Дружба есть величайшее благо жизни, и умеренность — одна из самых больших добродетелей общества. Будьте умеренны, потому что вы вовсе не животные и живете в городах, а не в глубине лесов и т. д.

Вот основные пункты учения Эпикура, этого единственного между древними философами, который сумел согласовать свою нравственность с тем, что он мог считать истинным счастием человека, а свои наставления — с наклонностями и потребностями самой природы.

Эпикур был афинянин из дома Гаргет и из фил Эгея. Его отца звали Неоклес, а мать—Керестратой; предки их жили не без почета, но нужда уничтожила его у потомства. Ничего не имея, кроме клочка земли, который не доставлял ему средств пропитания, Неоклес сделался учителем в школе; добрая старушка Керестрата, взяв своего сына за руку, ходила по домам делать очистительные жертвоприношения, изгонять духов, снимать силы колдовства; Эпикур же указывал ей формулы очищения и всех прочих нелепостей этого рода суеверий.

Эпикур родился в третьем году сто девятой олимпиады, на седьмой день месяца Гамилион. Он имел трех братьев: Неоклес, Харидем и Аристобул. Плутарх указывает на них, как на образец редчайшей братской нежности. До 15 лет Эпикур проживал в Тэосе; затем он вернулся в Афины с маленьким запасом знаний, приобретенных в школе отца; но его пребывание здесь не было продолжительным. Александр умирает, Пердикка опустошает Аттику, и Эпикур принужден скитаться из Афин в Колофон, в Митилены и Лампсак. Народные волнения прервали его занятия, но не помешали его развитию. Такие гениальные люди, как Эпикур, мало теряют времени; их деятельность стремится развернуться во все стороны; они наблюдают и учатся, сами того не замечая; и эти познания, приобретаемые почти без усилия, тем более заслуживают уважения, что они относятся к вещам всеобщим. Пока глаз естествоиспытателя нуждается в инструменте, который увеличивает отдельный предмет, он не наслаждается общей картиной окружающей его природы. В таком случае он был бы философом; последний не охватывает всего пространства мира иначе, как выйдя из своего кабинета; именно так он накопляет зародыши знания, которые живут долгое время неведомо для него, в глубине его души, поэтому они не в глубоком и определенном размышлении, но в случайно брошенных взглядах, которым он обязан ими, — драгоценные зародыши, которые развиваются скоро или медленно на счастье человеческого рода.

Эпикуру было тридцать семь лет, когда он снова появился в Афинах; он был тут учеником платоника Памфила, взгляды которого он всецело презирал; он не мог терпеть постоянных софизмов Пиррона; затем он покинул школу пифагорейца Навзифанеса, недовольный учениями о числе и о метампсихозе. Он слишком хорошо знал природу человека и его силу, чтобы примириться со строгостью стоиков. Он занимался перелистыванием работ Анаксагора, Архелая, Метродора и Демокрита; он особенно привязался к философии последнего, сделав из нее основание для своей.

Платоники занимали академию, перипатетики—лицей, циники—кинозарг, стоики—портику. Эпикур же держал свою школу в восхитительном саду, землей которого он владел и который он сам развел с этой целью. Это, именно, научило афинян наслаждаться видом поля в пределах города. Ему было сорок четыре года, когда Афины, осажденные Деметрием, опустошались голодом; Эпикур, решивший жить и умереть вместе со своими друзьями, распределил между ними все имеющиеся у него запасы бобов, разделив их поровну между ними. В его сад отправлялись со всех мест Греции, Египта и Азии: его познания и его нравственный облик, а более всего согласие его принципов с естественными потребностями природы,—вот что привлекало всех к

нему. Казалось, все философы его времени объединились для того, чтобы отрицать удовольствие и чувственные наслаждения. Один Эпикур взял под свою защиту и то, и другое, и введенная в заблуждение словом „удовольствие" афинская молодежь повалила к нему, чтобы его слушать. Он щадил слабость своих слушателей и, чтобы удержать их, он пустил в ход столько искусства, что действительно привлек их к себе. Свои принципы он развивал перед ними постепенно. Уроки давались за столом и во время прогулки; в тени деревьев или на мягком ложе. Он воодушевлял их своим восторженным отношением к добродетели, умеренностью, воздержанностью, любовью к общественному благу, силою души, разумной разборчивостью в удовольствиях и презрением к жизни. Его школа, вначале неизвестная, стала впоследствии одной из самых ярких и самых многочисленных школ.

Эпикур жил холостяком: беспокойства, которые вытекают из женитьбы, казались ему несовместимыми с усидчивыми занятиями по философии; он желал поэтому, чтобы жена философа была умной, богатой и красивой. Он был занят изучением, писанием и обучением: он написал более трехсот различных исследований, от которых у нас ничего не сохранилось. Он не ставил высоко изящество стиля, к которому афиняне были столь чувствительны; он ограничивался тем, что был правдивым, ясным и глубоким. Он был любим старшими, уважаем равными, а для своих учеников был предметом поклонения; в своем саду он принимал много знаменитых женщин: Леонтию, возлюбленную Метродора; Фемисту, жену Леонтия, Филениду, одну из самых благопристойных женщин Афин; Несиду, Эроцию, Гедию, Мармарию, Бодию, Федру и др. Его сограждане, люди более всего склонные к злословию и самой подозрительной педантической точности, не обвиняли его ни в разврате, ни в нечестии.

Свирепые стоики задавили его ругательствами; он же свою личность предоставил им, но основательно защитил свои учения и доказывал всю пустоту их систем. Его здоровье было подорвано усиленной работой; последнее время своей жизни он не мог ни носить одежды, ни сойти с постели, ни терпеть света, ни видеть пламени. Он истекал кровью; мочевой пузырь постепенно закрывался все увеличивающимися в нем камешками. В это же время он писал одному из своих друзей, что картины прошлой жизни облегчают ему страданья.

Когда он почувствовал приближение смерти, он созвал своих учеников,—им он завещал свой сад; он обеспечил положение многих беспризорных детей, опекуном которых он стал; он освободил многих рабов; он распорядился о средствах для своих похорон и умер в возрасте 72 лет, на второй год сто двадцать седьмой олимпиады. О

нем все жалели; государство поставило ему памятник; известный Диотим, изобличенный в составлении под его именем многих бесстыдных произведений, был принужден лишить себя жизни.

Эпикурейская философия держалась без перерыва, начиная со своего основания, до века Августа; в Риме он сделал большие успехи; школу составляли большей частью писатели и государственные люди. Лукреций воспевал эпикуреизм, Цельз занимался им при Адриане, Плиний-естествоиспытатель—при Тиверии; еще имена Лукиана и Диогена Лаэрция знамениты между эпикурейцами.

Эпикуреизм, при падении римской империи, разделил общую участь всех знаний,—о нем вспомнили только в начале XVII столетия: дискредитирование пластических форм восстановило атомы в их правах. Магнен из Бургундии опубликовал своего „Democritus reviviscens", произведение посредственное, где автор свои собственные бредни выдавал за мысли Демокрита и Эпикура. За Магненом последовал Пьерр Гассенди, один из тех, кто имел наибольшие заслуги перед философией и народом; он родился в январе 1592 г., в Шантерсье, маленькой деревне Прованса, в одной миле от Дигна. Он был мягкого нрава, здраво судил и имел глубокие познания; он был погружен в астрономию, в древнюю и современную философию, метафизику, языки, в историю, в древность; его эрудиция была почти универсальной. О нем можно было бы сказать, что ни разу еще философ не был лучшим гуманистом и гуманист столь хорошим философом, как он; его произведения написаны не без изящества; он был ясен в своих рассуждениях и справедлив в своих мыслях. Он является реставратором философии Эпикура для нас; его жизнь была полна волнений; он непрерывно нападал и был объектом нападения для других, но в своих спорах: с Флуддом ли, с милордом Гербертом или с Декартом, он был не менее внимателен к благонравственности, чем к логическим основаниям.

Гассенди имел среди своих учеников и последователей, многих обессмертивших себя,—Шанелль, Мольер, Бернье, аббат де-Шолье, великий приор Вендома маркиз де-ля-Фар, рыцарь де-Буйон, маршал Катина и многих других замечательных людей, которые, в качестве контраста приятных и тонких качеств, соединяли в себе героизм с мягкостью, склонность к добродетельной жизни со склонностью к удовольствию, политические интересы с литературным талантом, и которые дали начало различным школам эпикурейского учения о морали. К этим школам мы и переходим ниже.

Первая и самая старая из этих школ, в которой выполняли практически и исповедывали теоретически учение Эпикура о нравственности, находилась на улице Турнелль, в доме Нинон Ланкло. Эта замечательная женщина собирала вокруг себя всех, кто был при дворе

и в городе, просвещенных, образованных и любящих удовольствия людей. Здесь можно было видеть мадам Скаррон, графиню де Ласуз, прославившуюся своими элегиями; графиню д'Олонн, восхваленную за свою редкую красоту и многочисленность своих возлюбленных, Сент-Эвремона, придерживающегося с тех пор эпикуреизма в Лондоне, где он был учеником знаменитого графа де-Граммона, затем поэта Валлера, мадам Мазарини, герцогиня Буйон, Манцини, который был из школы Тампль; Ивето м. де-Курвилль, мадам де-Лафайет, герцога де-Ларошфуко и многих других, которые сперва основали школу платонизма в отеле Рамбуйэ, но впоследствии ее покинули, чтобы сейчас же присоединиться к обществу эпикурейцев и брать у них уроки.

После этих первых эпикурейцев, ученики Гассенди, Бернье, Шанелль и Мольер, перенесли школу Эпикура с улицы Турнелль на улицу Отейль. Эту школу главным образом прославили Башомон, барон де-Блот, песенки которого представляют такую редкость и предмет столь больших поисков, Дебарро, который был учителем мадам Дезуйэр в искусстве поэзии и в науке любви.

После школы Отейль последовала школа Нейлли; ее держали Шапель и Соннинги в течение всего короткого времени ее существования; но она была с таким трудом основана, что разбилась на школы Анэ и Темпля.

Сколько знаменитых имен открывается в этой последней школе. Шапель и его ученик Шолье, г. де-Вандом, мадам де Буйон, кавалер де-Буйон, маркиз де-ля Фар, Руссо, гг. Соннинги, аббат Куртен, Кампистрон, Палапрат, барон де-Бретейль, отец просвещенной маркизы Шателэ; председатель де-Месм, председатель Ферран, маркиз Данжо, герцог де-Невер, г. де-Катина, граф Флекс, герцог де-Фуа или де Рандан, М. де-Перинъи, Ревье, живой собеседник, который пел и аккомпанировал себе на лютне, М. де-Лассера, герцог де-Фейлланд и т. д. Эта школа есть та же самая, что и школа Св. Мавры или мадам герцогини.

Школа де-Со собирала все изящество, образованность, вежливость, разумность и нравственность, какие только были у ее приверженцев. Здесь были еще кардинал Полиньяк, очень часто посещавший школу скорее из уважения к ученикам Эпикура, чем из интереса к доктрине его учителя, Гамильтон, Олер, аббат Жанэ, Маресье, Ламотт, Фонтенелль, Вольтер, много членов академии, несколько женщин, прославившихся своим умом. Отсюда ясно, что ни в одном любом месте и в любое время эпикурейское направление не имело столь громкой славы, как во Франции и в особенности в последнем веке. См. Брукер, Гассенди, Лукреций и т. д.

Эдмунд Гуссерль.

III.

Чем собственно является феноменология, какую роль играет она в совокупности философских дисциплин, каково ее отношение к теории познания, к метафизике, в чем заключается ее существенное различие от описательной психологии,—на все эти вопросы мы не получаем у Гуссерля определенного и однозначного ответа [1]). Не подлежит сейчас ни малейшему сомнению, что, приступая к своим философским и психологическим исследованиям, Гуссерль не обладал еще ясной идеей феноменологии, традиционному психологизму противопоставлял он туманную философию значимостей (Geltungen),—современную отрыжку плохо переваренного фихтеанства. Мир логических, научных, этических и других ценностей, понимаемых в духе платонизирующего реализма, витал над областью факта, но между ними не существовало никакого связующего звена, а, наоборот, зияла непроходимая пропасть.

Таким решением вопроса не мог, конечно, Гуссерль удовлетвориться; рационалистический платонизм, доведенный до чудовищных форм у Наторпа, превращается наконец в панлогизм, современную форму чистого рационализма. Гуссерль, как философ „данностей", будучи с другой стороны под сильным обаянием современного логизма, стремился к синтезу этих двух направлений, „интеллектуальному созерцанию" Шеллинга старается придать более современный характер, основываясь, с одной стороны, на результатах психологии Брентано, с другой, на утрированно формалистических тенденциях в области современной философии математики.

Такая постановка вопроса вырабатывалась очень медленно, можно сказать бессознательно, как спутник совершенно других анализов, пока, наконец, не захватила она целиком все внимание Гуссерля, не перешла в центр его философских интересов. Однако именно благодаря тому, что она родилась, как „побочный" продукт другого рода процессов, она не могла проявиться нигде в чистой форме, а постоянно перекрещивается с другими идеями. Гуссерль сознавал сам, что он совершил методологическую ошибку, не дав сначала конкретных исследований общей теории и предпосылок своей феноменологии. В своих „Идеях" старался он исправить эту ошибку. Но так как он оказался и теперь не в силах дать точное определение феноменологии и спра-

[1]) В невозможности точного определения предмета феноменологии сознаются и ученики Гуссерля. Так, напр., один из талантливейших его учеников Александр Пфендер говорит: „Со всех сторон выдвигаются требования краткого и понятного определения сущности и целей феноменологии. Но пока это требование вряд ли удовлетворимо" (Al. Pfänder: Logik в „Jahrduch für Philosophie und phänomenologische Jorschung", IV Band, 1921 г., стр. 166—167).

виться с соединением в одно целое несметного количества феноменологических анализов, рассыпанных в „Логических исследованиях“, он становится здесь опять на исходные позиции и начинает весь анализ „abovo“, старается путем изображения генезиса сознания доказать необходимость нарождения феноменологии и наметить линии ее развития. Идея феноменологии должна родиться как результат конкретных феноменологических исследований!!

Подобно Авенариусу исходит Гуссерль из „естественного понятия о мире“. До всякой „теории“ я противопоставляю себе мир, идущий в бесконечность в пространстве, развивающийся до бесконечности во времени. Я соприкасаюсь со множеством вещей, хотя я не знаю еще их свойств, но знаю все-таки, что они существуют. Притом, я не нуждаюсь в факте непосредственного восприятия, чтобы быть уверенным в их существовании. Сидя у стола, я переношусь в воображении в сад, на улицу, к своим знакомым—я убежден в их существовании, хотя посредственно их сейчас не воспринимаю, и эта вера не носит черт „логической“ убежденности, а неописуемой, известной, каждому живой интуиции.

Некоторые предметы находятся, так сказать, в центре внимания, они вырисовываются четко и ясно. Другие, находящиеся как бы на окраинах сознания, проходят, считая от центра, различные степени ясности, пока не перейдут в состояние смутного общего фона для вещей, составляющих в данное время предмет наших интересов.

Кроме мира вещей мы встречаемся с миром „ценностей“, „благ“, с практическим миром, так же объективным, как и мир вещей. Вещи не только прямо вещи, но и—предметы потребления, как „стол“ „книга“, „рояль“, они „красивы“ или „некрасивы“, „приятны“, или „неприятны“. Эти все „характеры“ [1])—„присущи“ вещам, несмотря на то, обращаю ли я на них свое внимание, или нет. К этому естественному миру вещей относятся акты нашего сознания: восприятие, мышление, чувства, желание, описывание, сравнение и т. д. Их обозначает Гуссерль, подражая Декарту, одним общим названием „cogito“ (я мыслю), притом между фактами сознания и объективными явлениями существует полный параллелизм; восприятие относится к воспринимаемым предметам вне меня, они в большей или меньшей мере покрывают друг друга, нашей деятельности различения соответствует объективное различие и т. д.

Но не всегда однако „cogito“ относится к миру „действительных“ вещей. Если я, например, занимаюсь числами и их законами, им не соответствует какая-нибудь „действительность“, вроде описанной раньше. Мир числа существует только тогда, когда у меня существует „арифметическая установка“. Несмотря на нее, прежний „естественный“ мир существует дальше как „фон“ этого „арифметического“ мира. „Арифметический мир“ не „включен“ в действительный, между ними нет никакой связи. Существуют, следовательно, „объекты“ мысли, которые не являются „предметами“. Это обстоятельство нарушает прежнюю гармонию естественного мировоззрения и вызывает к жизни „проблемы“. Миру нашего сознания противостоят „объекты“, которые, однако, не существуют. Но не только в этом обстоятельстве кроется проблема. Не меньше затруднений доставляют нам вопросы действительности других людей. С одной стороны, они являются, наподобие других вещей, объектами моего опыта, с другой стороны, я предполагаю в них психические акты, их внутренний мир, который зависит от их места во внешнем мире. Конечно, этот вопрос не является, с точки зрения естественной установки, проблемой; он предполагает уже высокую ступень рефлексии; но тогда он является источником многих философских систем (ср. рассуждения Авенариуса об „интроэкции“).

Этот первичный объективизм является основной чертой естественной установки. Он—и стихия науки. Наука не выходит никогда за пределы этого стихийного объективизма, изменяя только детали, исправляя ошибки естественной установки.

Картина, нарисованная Гуссерлем, дает, по его мнению, очень мало надежд на возможность существования философии и определения ее предмета.

Весь этот мир действительности распределяется на естественный, „до-теоретический“ опыт и конкретные науки. Правда, философия обнаруживала всегда притязание на критицизм, она старалась всегда подвергнуть тщательному анализу все основные предпосылки наук; исследуя эти предпосылки, „она исходила из процессов сознания и познавания или из „вещей“, стараясь построить основы наук как бы вне процесса сознания. Второй путь осужден a priori на неудачу. Но и первый не может подавать нам больших надежд в деле обоснования философии. Факты сознания это тоже объективные звенья в объективном исходном процессе становления, развертывающемся в пространстве и времени. И все „критические“ приемы философии—не что другое, как только составные части этого процесса. Философия, как критика сознания, как теория познавания, находится, так сказать, в одной плоскости с предметом исследования, потому что она, будучи субъектом исследования, превращается сейчас же в свой же собственный объект, вливается в общий поток процесса.

Чистый объективизм, как основной тон нашего мироощущения, не может стать плодотворным полем для развития философии; сознание в том виде, как его понимали до сих пор, не обладает по сравнению с другими явлениями и процессами никакими специфическими свойствами, достаточными для того, чтобы стать архимедовой точкой опоры для философского анализа. Каков выход? Надо разорвать эту непрерывную цепь объективизма, найти в сознании что-

[1]) Произведенное Гуссерлем деление составных частей мира „естественного“ сознания напоминает деление его Авенариусом на „элементы“ и „характеры“.

то особенное, что выделяет его из всего мира явлений? Таким образом медленно взоры Гуссерля обращаются к проблемам сознания. При чем сознание не должно получить ни эмпирически-психологической, ни трансцендентально-Кантовской окраски. На нем бессознательно дремлет Кантовская мысль о сознании-конструкторе действительности, но конструкторе совсем другого вида. Кантовский конструктивизм должен надеть на себя одежды современной психологии „актов" в стиле Липпса, Брентано-Мейнонга, а геометрический мир Кантовской интуиции превратится в неаристотелевский „морфологический" мир (не лишенным интереса в этом отношении было бы сопоставление Гуссерля с идеями о „морфологии" Шпенглера).

На проблеме сознания сосредоточены все усилия современного неоидеализма. Разуверившись в старых, абсурдных гносеологических постановках этого вопроса, он старается поставить эту проблему в новом освещении, найти новые возможности ее решения. Так делает Бергсон, так делает и Гуссерль.

Устранение исходной естественной установки может дать возможность существования философии и феноменологии. Философия должна отличаться критицизмом, она должна подвергать сомнению самые неоспоримые на первый взгляд истины. Неужели внешний реальный мир действительно существует? Сколько философов сомневалось в его существовании! В новое время начал Декарт свои исследования методологическим сомнением. И Гуссерль прибегает к этому приему. Он ставит в скобки „объективный мир" „выключает" его (Prozess der Ausschaltung,, Einklammerung). Это первый шаг феноменологической рефлексии. Таким образом, она надеется найти наконец чистое сознание. Притом Гуссерль оговаривается сразу, что он не отрицает объективности, реальности внешних вещей. Насколько он исполняет это обещание, мы увидим потом. Он только ставит его в скобки; он неоднократно утверждает, что уверенность в объективности является самым реальным нашим переживанием, но он на время не пользуется им. Такой прием называется феноменологическим воздержанием (phänomenologische Epoche). Конечно, что совместно с внешним миром отпадают и все науки, которые о нем говорят. Они все догматичны и их мнимый объективизм имеют, может быть, предпосылки в некоторых особенностях не действительности, а именно сознания, которое надо исследовать феноменологически. От полного воздержания, от „приятия" объективного мира к новому его обоснованию путем феноменологического анализа сознания—вот каков путь Гуссерля. В дальнейшем окажется, что этого обоснования наш философ все-таки не дал.

Тут уже замечаем особенность феноменологии Гуссерля, его интересует не столько действительность науки, ее объективная значимость, сколько духовная структура, которая родит данную науку. В науке сознание говорит что-то о себе, оно обнаруживает свои глубины и тайны. Тут открывается уже занавес сущности феноменологии.

Не подлежит сомнению, что в этих своих рассуждениях о феноменологии ориентировался Гуссерль отчасти на феноменологии Гегеля. И у Гегеля был весь мир истории и природы только внешней маской для развертывания сущности духа; но у Гегеля дух богател путем впитывания в себя действительности (оттуда его „реализм"), при чтении Гегеля мы, несмотря на то, что метофизическая позиция Гегеля нам „в теории" известна, не знаем, вырастает ли действительность из духа или наоборот. Отказ же от действительности и замораживание сознания являются conditio sine qua non гуссерлевской феноменологии.

Но поднимается теперь вопрос: что останется, если мы внешний мир подвергнем выключению. Тут возможны разные ответы. С точки зрения материализма не останется ничего (так как и наше тело, мозг и его функции являются внешним миром). Но идеолист Гуссерль отвечает другим образом. По его мнению после такого выключения останется вся область „cogitaro", ощущения, представления, желания и т. д. Эту область называет он феноменологическим остатком (phänomenologisches Residuum). Таким путем мы получаем чистое или трансцендентальное сознание, не как следствие действия внешних предметов, а наоборот, как их творца, как мы сейчас увидим. Чистое, освобожденное от какого-нибудь отношения к внешним предметам сознание, притом сознание в полной его конкретности и богатстве, весь изменяющийся поток, — вот исходная точка феноменологии, общая с берклеанством, что является свойственным нашему сознанию. Оно обладает некоторым центральным ядром, содержание которого в данную минуту является предметом нашего внимания и окружающей его туманности, о существовании которой мы знаем, но все-таки не обращаем на нее внимания. Состояние сознания отличается и по существу друг от друга характером актов, некоторой большей или меньшей напряженностью, с которой протекает поток сознания. Все наши переживания или актуальны, или неактуальны, при чем их роли непрерывно меняются. Но это понятие актуальности приводит к другому, более важному для феноменологии Гуссерля понятию интенциональности. Каждое сознание является сознанием чего-то, оно направлено на какой-нибудь предмет. Восприятие имеет свой предмет, направляется на воспринимаемое, радость является радостью о чем-нибудь и т. д.

Все наши акты направлены на предметы. Это понятие интенциональности воспринял Гуссерль от схоластиков. Казалось бы, что тут собственно он не сказал ничего нового. Все мы знаем, что психологические акты направлены на предметы. Но в общем понимании предмет является действительным предметом, наш психологический акт следствием его действия на нас, сознание направляется на предмет потому, что предмет направлен к сознанию. Но не надо забывать, что Гуссерль произвел процесс феноменологической редукции. Внешних предметов у него нет. Предмет сознания, это не действительный

предмет, а именно предмет сознания; воспринимаемый, например, красный цвет, это не реальный красный цвет на данном теле, а с другой стороны не только объективное ощущение по теории вторичных качеств, которое не соответствует вне нас красному, а красное как предмет восприниманиа. О нем нельзя сказать, что он где-либо существует, все пространственные понятия мы исключаем путем редукции, он существует только как спутник акта восприниманиа, связанный с ним неразрывными узами интенциональности, при чем этот красный цвет не наше субъективное воспринимание „красноты", а именно краснота, как предмет, которую мы не можем локализировать нигде. Начинающему изучать феноменологию, а особенно материалисту, исходящему от объективного мира, трудно даже освоиться с этим пониманием предмета. Чтобы хотя отчасти дать понять сущность предмета интенционального акта у Гуссерля, укажу один пример. Мы воспринимаем напр. призму. Нашему взгляду доступна только передняя часть ее. В наших психологических переживаниях даны нам только восприятия передней части. но интенциональный акт направлен на „всю" призму, интенциональный предмет—вся призма, не как существующая действительно, а как „постулируемая" актом, существующая феноменологически для акта.

Гуссерль не рассматривает конкретного, развивающегося во времени и пространстве акта сознания, а сознание, in abstracto, поскольку оно направляется на свой предмет. Он ставит себя сейчас вне вопроса о существовании предмета. Предмет акта воображения „Кентавр" такой же предмет, как феноменологический предмет, соответствующий любому реальному предмету, напр., столу. и т. д. Что интенциональный предмет не имеет ничего общего с „действительностью", следует из того, что, например, мнимое число является тоже предметом внешнего мира, хотя его нигде не существует.

Но не все психические переживания отличаются основным характером интенциональности, направленности на предмет. Такими не являются по Гуссерлю чистые ощущения. Они не говорят нам ни о каком предмете, ни о направленности, а о состоянии. Этим утверждением, которое однако Гуссерлю необходимо для дальнейших исследований, пробил он очень серьезную брешь в своей собственной системе. Благодаря феноменологической редукции нет ничего кроме сознания, но преобладающее содержание сознания—ощущение—лишено основного его свойства—интенциональности. На это затруднение не постарался и не смог ответить Гуссерль никогда. Вопрос этот становится серьезнее именно благодаря тому, что ощущение является пробным камнем реальности или нереальности внешнего мира.

Но предмет психологических переживаний не однороден; если я, например, наслаждаюсь каким-нибудь явлением природы, то в этом переживании можем различить два основных пласта: предмет сам и предмет именно как предмет наслаждения. К объективирующему акту присоединяется некоторый акт оценки, который находит интенциональное выражение именно в „ценном", „красивом" предмете. При чем самое существование предмета в феноменологическом значении этого слова является основным, факт ценности второстепенным, предполагающим первый момент. Таким образом, мы получили уже некоторые основные свойства чистого сознания: оно отличается характером актуальности, интенциональности, заключает в себе некоторую материю переживаний, которая благодаря интенциональности направляется на предмет в феноменологическом значении этого слова.

Гуссерль проводит дальнейшую классификацию сознания: он отличает имманентное и трансцендентное сознания. Одним из основных свойств сознания является способность „рефлексии", способность превращения в предмет самих актов сознания, психических процессов. Мы можем не только воспринимать предметы, но и воспринимать воспринимания (мы отвлекаемся сейчас от вопроса можно ли воспринимать воспринимания), что, впрочем, утверждал уже и Локк, вводя впервые понятие „рефлексии". Такие восприятия называет Гуссерль имманентными. Существенно для них то обстоятельство, что их интенциональные предметы, если они существуют вообще, принадлежат к тому же потоку сознания, что и направленные на них интенциональные акты. Оба находятся в одной плоскости. Поэтому и интенциональный акт „заключает" в себе свой предмет, мы так сказать схватываем в этом случае живую действительность. Другое дело с трансцендентными актами. Эти акты, направленные на внешнюю действительность, внешнюю не в пространственном смысле, а в том, что материал переживаний не включает в себе интенционального предмета. Если мы воспринимаем, например, стол, то интенциональный предмет „стол" не заключается в нашем материале ощущений, он с ним совершенно несоизмерим. Предмет не находится в никаком виде в стихии наших психологических процессов. Предмет восприятия „краснота" не имеет ничего общего с нашим ощущением красного, так как наше ощущение не красное. Странным образом забывает Гуссерль, что его предмет тоже не „красный", так как он вообще не существует.

Тут обнаруживается полный разрыв между психологическим миром и объективным, внешним миром. Психологические процессы не имеют никакого отношения к предмету, они даже не „знаки", не „символы" по отношению к предмету. Между нашими психологическими процессами и предметами нет причинной связи. Одновременно с психологическим процессом дан и предмет, как „дается" предмет на экране, если перед ним поставить кинематографический аппарат. Различие заключается, однако, в том, что аппарат когда-то воспринял предмет, „впитал" его в себя. Гуссель является в своей теории интенционального предмета чистым лейбницианцем и приверженцем теории предустановленной гармонии, хотя он сам этого не сознает; он, наверное, удивился бы, если бы его заподозрели в лейбницианстве, так как он враг всякой „метафизики"; этот мни-

мый „анти-метафизический" тон феноменологии Гусселя повредил ему, так как он не дает ему поставить точку над i, додумать до конца последствия своих мыслей, которые его бы отпугнули. Но то, чего не сделал он, сделали его ученики, особенно Гедвич Конрад-Марциус, который выбалтывает все тайны гуссерлианства и в своих последних статьях о феноменологии внешнего мира договорился уже до теории искупления и других прелестей à la Штейнер.

Но может быть можно истолковать отношение интенционального акта к интенциональному предмету таким образом, как истолковывает его современная физика в своем делении на первичные и вторичные качества. Все наши психологические состояния субъективны; но их причиной являются некоторые первичные качества (как протяженность, движение, фигура), на которые (говоря гуссерльским языком) эти субъективные состояния направляются. Тогда предметы не заключались бы в наших психологических состояниях, но все-таки между ними существовало бы некоторое соответствие. Ничуть не бывало. Деление на первичные и вторичные качества подвергает Гуссерль строжайшей критике, называя его суевериem современной мысли. Нельзя отделить первичных качеств от вторичных; наши вторичные качества, например, ощущение цвета предполагает тоже пространство, как уже говаривал Беркли, значит и пространство вторичное качество, а на долю „объективного" мира не остается ничего. В таком случае мы должны бы принять как „объективное" такое пространство, которое не имеет ничего общего с нашими идеями о пространстве. Нет деления на первичные и вторичные качества. Физики, говоря об атоме, ионах, электронах, пространстве, не имеют в виду какого-то неизвестного x, являющегося носителем вторичных качеств. Между ними нет отношения причинности. Все физические понятия находятся в одной плоскости с вторичными качествами. Может быть, эта мысль и верна и оправдана, как несознательная реакция против чисто абстрактно-механистического объяснения мира, против которой восстает и современная физика, и которое идет вразрез с принципами диалектики, но у Гусселя ведет эта полемика к утрированному идеализму, у него не равняются вторичные качества по первичным, приобретая таким образом объективную реальность, а наоборот, первичные попадают в один разряд со вторичными, преобразуясь в известные нам уже гуссерлистские предметы, т.-е., другими словами, в чисто мнимые величины.

В каком отношении находится весь наш материал переживаний к интенциональному предмету? Другими словами, в каком отношении находятся психические процессы к феноменологическим предметам, единственной известной Гусселю действительности. Возьмем пример. Созерцая мой письменный стол, ходя вокруг него, переменяя мое положение по отношению к столу, я имею сознание одного и того же стола, хотя мое восприятие стола меняется беспрерывно. Я закрываю глаза. Мои чувственные органы

теряют теперь всякое отношение к столу. Открываю снова и опять получаю восприятие стола. Но будет ли восприятие мое одно и то же? Далеко нет. Это совсем новое восприятие—правда напоминающее, может быть, прежнее, но новое по содержанию, новое, благодаря массе оттенков, неизвестных мне раньше. Но что случилось с интенциональным предметом. Он остался одним и тем же столом. Значит между предметом и интенциональным переживанием нет параллелизма? Перемена содержания интенциональности акта не повлияла на интенциональный предмет? Проанализируем вопрос. Мы рассматриваем стол с разных сторон. Он является нам в различных „оттенках" (Abschattungen). Его цвет меняется в зависимости от большей или меньшей близости наших чувственных органов по отношению к нему. Его кругообразная крышка кажется нам иногда элиптической. Следовательно меняется и стол. Интенциональный предмет меняется вместе с интенциональным актом, между ними существует некоторый параллелизм. Но все-таки разница между ними существенна. Каждый психический аспект стола, каждое восприятие стола—замкнутый комплекс психических элементов, связанных нитью тождества (Гуссерль не указывает никогда, в чем сущность этой связи). Новый аспект стола—новое его восприятие это не развитие прежнего, а что то совсем новое. Между тем интенциональный предмет—стол, один и тот же, только в различных модфикациях, различных оттенка (Abschattungen). Интенциональный предмет (а это единственный Гусселю предмет) отличается от интенционального переживания тем, что он оттеняется, оставаясь однако одним и тем же предметом. Или как говорит Гуссерль: противоречию трансцендентного и имманентного соответствует принципиальное различие их давности. Имманентное и трансцендентное восприятия отличаются не только тем, что интенциональный предмет в одном случае имманентен реальному восприятию в другом же нет; а (они отличаются моя приписка. В. Ю.) формой давности, которая переходит потом из области восприятия в область образов памяти и воображения. Предмет мы воспринимаем таким образом, что он оттеняется соответственно данному в каждом восприятии содержанию. Переживание не оттеняется никогда. Тут одна из дальнейших проблем феноменологии: в каком отношении находятся различные переживания к своим предметам, как интенциональные акты конструируются в соответствующие им непрерывно оттеняющиеся предметы. К сожалению, Гуссерль и его ученики нигде не дали конкретного анализа этих отношений. А такой анализ был бы интересен, так как он открыл бы слабость и шаткость феноменологии в самых существенных пунктах, именно там, где феноменология противоречит себе самой. Во-первых: по мнению Гусселя каждому интенциональному акту соответствует интенциональный предмет. Если меняется акт—меняется и предмет. На каком основании может утверждать Гуссерль, который стоит на точке зрения феноменологической редукции, что предмет остается одним и тем же,

а меняет только свои состояния. Эта аксиома привнесена со стороны, она не очевидна для феноменологического, „эйдетического" видения. Она привнесена из области естественных наук, которые говорят нам о постоянстве материи во всех ее переменах и модификациях. Но Гуссерль вычеркнул всю аксиому современного естествознания,—он задался целью дедуцировать их феноменологически. То что должно стать следствием исследования, стало его предпосылкой. Гуссерль попал в явное petitio principii, бессознательно подорвал фундамент своей системы.

Но здесь заключается еще и другое противоречие. Гуссерль исходит в своих исследованиях из „я", как центра интенциональных актов, которые направляются на свой предмет. Следовательно, интенциональный предмет является чем-то вторичным, производным по отношению к акту. Между тем в действительности, в результате анализа, вторичным оказывается акт, первичным же предмет. Предмет является чем-то постоянным, не изменяющимся, несмотря на модификации оттенков; только благодаря постоянству предмета могут быть эти оттенки определяемы именно как оттенки (об этом знал уже Кант). Все наши комплексы восприятий, меняющиеся ежеминутно, не могли бы иметь интенционального характера, не могли бы вообще указывать на какой-либо предлет, если бы этого предмета не было. Предмет является причиной того, что комплексом восприятий, переживания обладают некоторой связью, что они имеют вообще какой-нибудь смысл, о котором Гуссерль так заботится. В своей теории предмета и переживания ставит Гуссерль свою систему на голову (или вернее сказать, ставит ее бессознательно на ноги, так как она ходила до сих пор на голове), доказывая таким образом всю искусственность феноменологизма. Но своим определением интенционального переживания Гуссерль прегрешает против современной психологии (не даром он так ополчается против нее) Совсем неверно, что каждый психический комплект оторван совершенно от предыдущего. Такой психический атомизм является чистейшей нелепицей. Он означал бы физиологически, что прежнее состояние нервной системы не имеет никакого влияния на последующее, что в мозгу нет никаких физиологических остатков, и что он ежеминутно является буквально creatio ex nihilo. Что это не так—это азбучная истина. Стоит только раскрыть любой учебник физиологической психологии, чтобы убедиться в этом. Больше того: кропотливые исследования таких естествоиспытателей, как Земон и Фрэнсис Дарвин говорят о памяти материи вообще, распространяя ее и за пределы нервных тканей и волокон.

И психологически утверждение Гуссерля неверно. Уже Гоббс утверждал, что комплекс сознательных процессов, не стоявший в связи с предыдущими, не может быть определяем, как сознание. Такого рода сознание, т.-е. полную бессознательность, приписывает он всем неорганическим предметам. Каждое новое ощущение погружается в море воспоминаний; только благодаря воспоминаниям возможны восприятия вообще. Цепь психических процессов непрерывна,—и не является никакой creatio ex nihilo. Только комбинация ощущения с памятью дает опыт и сознание.

Здесь мне хотелось бы остановиться еще на одном вопросе, который обнаруживает чисто берклеанский уклон мысли Гуссерля. Гуссерль, как известно, исключает трансцендентный предмет, ставя на его место предмет интенциональный. Чем отличается интенциональный предмет от субъективного его переживания. Они оба сотканы из одной „материи", и между ними не должно быть принципиального различия. Между тем такое различие существует. Интенциональный предмет, который на практике является трансцендентным по отношению к сознанию, не только оттеняется, он не может быть дан нам никогда целиком. Все новые феноменологические установки открывают нам все новые стороны предмета, а количество этих возможных установок неисчерпаемо. Только божеское сознание, которое Гуссерль принимает как необходимое предельное понятие, (хотя он враг всякой метафизики, сравн. Кантовское „Ding an sich") заключает в себе бесконечный ряд психических актов, а поэтому и охватывает предмет целиком. Трансцендентный предмет всегда нам чужд, о нем мы не можем иметь адэкватного познания. Адэкватное познание возможно только по отношению к имманентному предмету, следовательно не по отношению к воспринимаемому предмету, а к восприятию предмета и т. д. Если перевести это на более ясный язык, мы получим следующее утверждение: единственно достоверными являются наши внутренние психические состояния. Следовательно, у нас получается чистое берклеанство и солипсизм. А вместе с берклеанством вливается бурной струей в систему Гуссерля и психологизм, против которого он сначала выступал. Ибо восприятие, имеющие своим предметом восприятие предмета,—это уже не интенциональный акт по отношению к чуждому себе интенциональному, „внешнему" предмету. Восприятие восприятия разыгрывается уже в одной сфере, субъект и объект совпадают, а раз субъект психического порядка, тогда и объект должен быть того же порядка. Тут уже не феноменология, а метафизика. Само же восприятие—как интенциональный предмет—это точь в точь прежний интенциональный предмет, ибо он ни в чем от него не отличается. Феноменология, которая путем своеобразного понимания несуществующего интенционального предмета хотела исключить проблему внутреннего и внешнего мира вообще, принимает в высшей феноменологической области тот же внутренний мир. В области имманентного восприятия мы наблюдаем, каким образом из психического материала образуется интенциональный предмет. Скачек к концепции такого же образования внешних предметов—не труден. От солипсизма мы переходим к спиритуализму.

Этот шаг к полному одухотворению материи сделала Гедвиг Конрад-Марциус, которая уже прямо заявляет об огне, как духовном

принципе (не говоря уже об утверждаемой ей таинственной связи огня с религиозной проблемой очищения).

Но Гуссерль мог бы нам все-таки ответить: я не интересуюсь восприятием как психическим фактом. Меня он интересует в своей сущности как интенциональный предмет. Для феноменологии не существует вообще ничего психического как не существует для нее и материальное. Если бы феноменология была строго выдержанной системой, то действительно оно таки должно было бы быть. Но уже чисто психологическое (основанное на иннервационных ощущениях) понимание акта должно вовлечь автора в психологизм[1]).

Чем же являются переживания, если они не психологического характера? Гуссерль шатается все время между Сциллой и Харибдой. Если ему нужно поставить под знак вопроса существование внешнего мира, он уходит целиком в мир феноменологии, так как феноменология—это область „третьего", ни внешнего ни внутреннего; если же мысль о том, что все-таки интенциональные предметы не содержатся в наших переживаниях, а следовательно они внешние по отношению к нашим переживаниям, вызывают признаки внешнего мира, Гуссерль ударяется в область психологии, откуда он порхает опять в область терминологии, смекнув что психологический процесс—одновременно и физиолоический, требующий внешних раздражений. Так же поступают и его ученики: обычно они занимаются (особенно Пфендер) под вывеской феноменологии обычной психологией самонаблюдения и только в lucida intervalla феноменологической „анамнезы" разводят свою феноменологическую безвкусицу, являющейся самой слабой частью их—иногда очень интересных с психологической точки зрения—работ. Что Гуссерль по существу является только психологистом, при том скверным психологистом, так как намерение не быть им мешает спокойному, объективному анализу,—доказательством этого является выключение из области феноменологического анализа „я". Тут, конечно, можно было бы говорить по поводу этого выключения очень много о его анти-метафизичности (у Платона однако тоже не было идеи „я"), но суть дела ясна. Выключение я стоит в связи с современным махизмом (который, несмотря на все, является метафизикой) и теорией комплексов ощущений. Все учение об интенциаональном акте и интернациональном предмете развил Гуссерль заново более систематически, под названием теории ноэзы и ноэмы. Только тут высказался Гуссерль подробнее и яснее, чем в других местах, о значении феноменологии. Совокупность феноменологических явлений распадается на две части:

[1]) Не подлежит никакому сомнению, что вся болтовня об „актах" в различных его видах имеет источником ощущение „напряженности", обусловленное ощущениями иннерваций в наших мышцах, иннерваций, сопровождающих каждый психический процесс. На этом „первичном" опыте основываются даже самые воздушные здания фихтеанского „Tathandlund".

первая из них—ноэза. Ноэза соответствует тому, что Гуссерль назвал раньше интернациональным актом. Ноэза состоит из двух частей: из гилетического элемента (hyletishes Element) или материи акта и морфического—формы акты. Напр., восприятие тела состоит из акта восприятия и материи восприятия, всего чувственного материала, из которого восприятие слагается. Но акт восприятия может видоизменяться: восприятие может, например, принять характер „уверенности" в том, что мы действительно воспринимаем, или может быть лишенным этого чувства уверенности (мы можем, например, быть неуверены не являются ли мнимые восприятия просто галлюцинацией), или же, наконец, мы можем поставить в скобки „доксический" характер акта, воспринимать, не обращая внимания на реальную ценность восприятия, или—как говорит Гуссерль—дать ему нейтральную модификацию (Nentralitätsmodifikation). Этому ноэтическому моменту соответствует ноэма. Ноэма—это интенциональный предмет. Она объективирует ноэзу с точки зрения смысла. Она—смысл ноэзы. Ноэма отображает точно тот смысл, который старается найти ноэза. Она видоизменяется не только параллельно с переменами материи интенционального акта, но и с переменами „характера" акта. Феноменология—это точное описание всевозможных видов ноэм с точки зрения всевозможных модификаций ноэз. Конкретным анализом этих модификаций занимаются главным образом „Логические Исследования". Они не имеют ничего общего с тем, что мы привыкли называть логикой, так как в них не подвергаются анализу основы ни формальной, ни диалектической логики. „Логические Исследования"—это теория и система смыслов. Система не полная, так как в ней решается только очень ограниченный комплекс проблем. В этом кратком очерке мы, конечно, не можем вдаваться в подробности и затрагивать вопросы, разрешаемые в „Логических Исследованиях", несмотря на то, что многие из них представляют большой интерес (например. теория абстракции, в которой он подвергает бешеной критике английские теории абстракции, теория чистой грамматики, теория знаков, символов и т. д.) Основным их недостатком является именно то обстоятельство, что они не дают теории логики, хотя на нее намекает Гуссерль в первой же их части. Впрочем, сам Гуссерль отказывается в „Идеях" от большей части анализа „Логических Исследований". Некоторые части, напр., те, где он анализирует смысл различных актов, не лишены значения и могут быть изучаемы с пользой и материалистами; особенно же достойны внимания те части, где он говорит о равноценности различных по смыслу материй акта.

До сих пор мы рассматривали главным образом акты, имеющие в качестве материи чувственное созерцание, акты восприятия. Но Гуссерль вводит целую лесницу актов, поднимаясь все выше по ступеням абстракции. Многие акты, собственно большинство их, особенно акты научного характера, лишены чувственной материи, или эта

материя не является смыслом акта. Напр., если мы думаем об интеграле. Акт „интеграл" не заключает в себе никакой чувственной материи, т. к. зрительный образ этого акта (написанное или напечатанное слово интеграл) или звуковой его образ (в случае, напр., „внутренней речи") не имеет ничего общего с тем, что мы предполагаем, пользуясь понятием интеграла. Такого рода акты без осмысленной материи называет Гуссерль интенциями смысла. (Bedeutungsintentionen). Они составляют большинство научных понятий и суждений. Каждому интенциональному акту должен соответствовать интенциональный предмет. Но где найти тут интенциональный предмет? В интенциях смысла интенциональный предмет не дан, как это бывает, напр., в акте восприятия. Предмет может быть найден только таким образом, что мы совершим целую массу других актов, которые наполняют постулируемое содержание интенцией смысла. В случае, например, интеграла мы проделаем целый ряд интегрирований (процесс, который по принципу должен продолжаться до бесконечности), применяем потом, например, уравнения, получаемые интегрированием дифференциальных уравнений к явлениям внешней природы, пока наконец, опускаясь все ниже и ниже, не достигнем чистых восприятий. Эти все последующие акты заполняют, осмысляют интенцию смысла. Их называет Гуссерль заполнениями смысла (Bedeutungserfüllungen). Найти все главные типы заполнения, открыть всевозможные виды отношений интенций смысла к их заполнению,—вот вторая, главная цель феноменологии; анализ этих отношений занимает количественно подавляющее большинство страниц работ Гуссерля. Особенно большое внимание обращает Гуссерль на два вопроса: на акты суждений вместе с переживаемыми суждениями, содержание суждений и их отношений к „Sachverhatt", как предмету актов суждения и во-вторых на случай, когда интенция смысла не заполнима, когда между ним и актами низшего порядка происходит борьба, противоречие, другими словами на случай феноменологической бессмыслицы (Гуссерль стоит на точке зрения исключительно формальной логики, хотя в некоторых случаях у него мелькает смутное представление о диалектической соединимости противоречия).

Казалось бы на первый взгляд, что учение Гуссерля о заполнении смысла совместимо с эмпиризмом, так как в конечном счете критерием истины всех интенций является восприятие. Но в действительности дело обстоит не так. Что такое восприятие Гуссерля? Представим себе, например, зрительное поле, усеянное множеством предметов. Перед нами, например, дом в саду. У нас образуется восприятие дома и сада, но никогда дома в саду (по Гуссерлю). Тут уже замечается работа сознания, которая прибавляет что-то к объективному материалу, что-то, чего во внешней действительности нет. Такие восприятия называет Гуссерль категориальными созерцаниями. Мы на минуту отвлекаемся от методологической непоследовательности автора. В указанном нами примере он говорит о каком-то внешнем предмете, которого в феноменологии нет, различает между предметами, как спутниками актов, и трансцендентными предметами, о которых в феноменологии нельзя ничего сказать. Все это учение является чистым кантианством и напоминает учение Канта об априорных формах. Гуссерль идет еще дальше Канта. Сознание обладает не только априорными формами, но и априорными содержаниями. Понятия: природа, энергия и т. п. нам прямо даны, все дело заключается в том, чтобы их заполнить. Поэтому мы не будем далеки от истины, если определим гуссерлианство, как кантианство в области содержания познания. Параллель с Платоном здесь очень поучительна: и у Гуссерля и у Платона „сущности", „смыслы" существуют в метафизическом значении этого слова (значит существуют не в пространстве и времени, а „в вечности", как сказал бы Платон). Но Гуссерль идет дальше Платона. В то время, как Платон склонен чем дальше, тем больше видеть в идеях лишь идеи функций, а не вещей, у Гуссерля превращаются и „эйдосы" вещей в отдельный мир сущностей. Гуссерль довел платонизм до полного абсурда.

Я хотел бы указать еще на одну точку соприкосновения гуссерлианства с кантинианством. У Канта познание не является пониманием протекающих в мире процессов. Вся деятельность познания сводится к прилаганию трансцендентальных категорий к непознаваемому материалу, доставляемому вещью себе. Познание заключается в соединении двух чуждых друг другу и принадлежащих к различным областям элементов. Из них образуется что-то третье, опыт, поддерживаемый научной традицией. Весь процесс познавания является, собственно говоря, непонятной механикой познания. Строгое подчеркивание Кантом отличий формальной и трансцендентальной логики еще больше усугубляет этот чисто механический характер познания, в котором упрекает Канта и Гегель. Только материализм, который признает за категориями объективную (а не только трансцендентально объективную) значимость, который заставляет их рождаться из живой конкретной диалектики соединения противоречий субъекта-объекта, можно говорить о понимании мира. Именно идеализм, именно гуссерлианство, которые называют себя философией смысла, стремятся к лишению познания всякого смысла. Весь познавательный процесс Гуссерля сводится к заполнению „высших" актов интенциональными предметами „низших," при чем это заполнение является совершенно внешним и случайным.

Такая постановка вопроса познания объясняет нам многое, что сначала казалось бы непонятным. Феноменология начала анализом различий между фактическими и эйдетическими науками. Она хотела—в первоначальном своем виде—дать систему эйдосов, систему аксиом различных наук. Потом медленно центр тяжести феноменологии передвигается по направлению к сознанию. Забыты все конкретные на-

уки, феноменология ограничивается анализом чистого сознания, как интенционального акта в его отношении к интенциональному предмету. Эйдетика природы не интересует уже больше Гуссерля. Его занимает вопрос, какого рода акты, какого рода психические пласты образуют данную эйдетику. Все так называемые региональные онтологии превращаются медленно в составные части лестницы феноменологического сознания. А так как феноменология сознания является и эйдетической наукой для конкретной психологии, то в конце концов феноменология Гуссерля превращается в платонизированную психологию, комбинированную с идеей энтелехий Аристотеля. Аристотелевское—схоластическое понятие порядка (ordo) является последним словом феноменологии Гуссерля, а идея иерархии—творящей пружиной его системы. Поэтому не удивительно, что гуссерлианцы защищают те течения современной науки, которые зиждутся на возврате к Аристотелю.

У Гуссерля существует уже целая школа, группирующаяся вокруг журнала „Jahrbüch für Philosophie u. phänomenolodische Forschung" (до сих пор появилось 6 выпусков). В этом журнале разрабатывается подробнее все основные и невыясненные до сих пор проблемы феноменологии, с другой же стороны нащупываются точки соприкосновения между феноменологией и современной наукой (большое количество статей посвящено вопросам не-эвклидовой геометрии, принципу относительности, парадоксам теории множеств и др.). Ценность этих статей, конечно, различна. Но что поражает читателя с первого же чтения,—это отсутствие всякой одноцельности мысли. Неясность постановки основной проблемы феноменологии у Гуссерля, его эклектизм, шатание между различными философскими системами прошедших времен дали свои результаты. Правда, Гегель говорит, что в процессе исследования изменяется и предмет исследования; но у Гегеля это изменение было методологической предпосылкой всей системы. Гуссерль, наоборот, хотел найти „данное", „неизменный предмет"—„сущность". У Гуссерля нехватает именно метода,—и его отсутствие заставило учеников итти своими собственными путями, искать собственными силами решения проблемы феноменологии. От Гуссерля осталось вместо философской мысли философское идеалистическое настроение, „мирочувствование", которое у каждого из учеников преломлялось по-своему. Поэтому и течения среди учеников школы Гуссерля являются самой резкой критикой его феноменологии. Уже в основной проблеме, чем собственно является феноменология, мнения учеников сугубо расходятся. В то время, как одни среди них (Эдит Штейн, Гейгер, Пфендер и др.) видят в феноменологии науку в чистом сознании, другие (Гедвиг Конрад-Марциус и др.) стараются дать основы региональных онтологий различных областей действительности.

В общем можно школу Гуссерля разделить по основным направлениям на 4 части: бергсонианскую, мистическую, чисто платоновскую и ветвь, примыкающую к современной логистике и Рёсселю. Представителем берксонианского направления является главным образом Роман Ингарден (статья: Intellekt u. Intuition bei H. Bergson, Iahrbuch, V t. 1922 г.). В этой статье Ингарден старается найти точки сходства и различия между интуицией Бергсона и „сущностным" созерцанием Гуссерля. Очевидно, что эта попытка обречена на неудачу: интуиция Бергсона исключает всякие рационалистические моменты, она исследует область, диаметрально противоположную той, которая образовала современную науку. Феноменология—как эйдетика психологии—не может основываться на Бергсоновском понятии интуиции, так как она исключает à priori все переживания, которыми занимается обычно психология. С другой стороны, интуиция открывает нам по Бергсону действительность, интенциональный же предмет Гуссерля—не действителен. Впрочем, статья Ингардена не закончена, так что окончательные результаты пока не известны.

Некоторые среди гуссерлианцев, напр. Александр Куаре (Koyré: Bemerkungen zu den zenouischen Paradoxen, Iahrbuch, V t.—1952 г.), перекочевывают все больше в область математической логики того направления современной логики, которое связано с именем Рёсселя. Сам Гуссерль придавал в свое время большое значение теории множеств, которая стала до некоторой степени исходной точкой исследований Рёсселя. Стремление, которое сначала легло в основу феноменологии, стремление к точному анализу и четкому, неоставляющему никаких полутеней, исследованию смутных психологических и логических понятий, привлекло, вероятно, некогда учеников Гуссерля к логике Рёсселя, которая притязает на вполне ясное и окончательное определение основных аксиом логики, математики и теоретической физики. Но это логистическое направление не увенчалось до сих пор успехом, и—странным образом—например, Куаре пришлось найти убежище от затруднений логистики в системе мыслей, до нельзя сходных с бергсонианством.

Чисто платоновское направление с сильной примесью схоластического реализма понятий встречаем в статье Жана Геринга: („Bemerkungen über das Wesen, die Wesenheit und die Idee, Iahrbuch, IV том, 1921 г.). Уже самое заглавие работы доказывает нам, что мы имеем здесь дело с чистейшими словопрениями. Автор нагромоздил здесь столько непонятых даже для немецкого философского читателя искусственных слов („Washaftigkeit" и т. д.), втискивая их в рамки платоновских и аристотелевских понятий (τὸ τί εἶναι, τὸ ποῖον εἶναι, τὸ τί ἦν εἶναι), провел столько тончайших, неестественных различений, что наконец запутался сам, на каждом шагу противоречит сам себе и не дает вообще никаких положительных результатов. Идея сущности Гуссерля доведена здесь до карикатурных форм. Понятия вроде „лошадиности" (ὀππότης), которые уже в классические времена стали мишенью злостных замечаний циников, скептиков и т. д., принимаются всерьез, как что-то данное и известное. Геринг представляет

собой самое окостеневшее крыло гуссерлианского направления, и его взгляды являются смешным анахронизмом. Он напоминает до некоторой степени правое крыло школы Гегеля.

Но вершин курьеза достигла феноменология в лице Гедвиг Конрад-Марциус. Она задалась целью обосновать феноменология внешнего мира (главным образом в большой работе: „Realontologie" Iahrbuch, VI том, 1923 г.). Это онтология реального представляет собою какую-то действительно сумасшедшую смесь теорий о „потенциях" немецкой романтической натурфилософии в духе Шеллинга, видений Бэма и бреда Штейнера. Созерцание сущности Гуссерля названо уже здесь своим настоящим именем—экстазом: „Экстаз является именно тем, что—в области реальности—образует сферу феноменальностей в подлинном смысле этого слова" (стр. 324). Ее „дедукция" жидкого, твердого, эластического дадут в будущем благодарный и обильный материал для сатирика, юмориста и описателя полного падения научной честности и отсутствия чувства смешного среди некоторых философских кругов. Она выступает против атомистики, хотя сама утверждает, что атомистика фактически правильна, но не верна по существу" (!!) („поэтому-то метафизик должен чувствовать естественное отвращение (!), против атомистического понимания природы,—при чем он будет фактически (!!) неправ, но прав в более глубоком смысле. Одно другому нисколько не противоречит!!)

Вся эта фантасмагория реальности кончается потрясающей картиной страшного суда. Совсем по Фаусту:

„Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla...

И этот бред должен дать основные категории для естественных наук...

IV.

Для понимания феноменологии Гуссерля—особенно феноменологии в последнем ее „издании" в „Идеях"—имеет большое значение сопоставление ее с описательной психологией и строгое ее отграничение от последней. Для достижения этой последней цели придумал Гуссерль (как это раньше сделал Авенариус) для своей феноменологии оригинальную, чрезвычайно сложную и неестественную терминологию, которая не только не помогла делу, а повредила ему, так как удесятерила трудность ее понимания, довела до того, что Гуссерлю пришлось по поводу появления каждой новой критики ее философии жаловаться на то, что его не поняли, хотя между критиками находились такие личности, как Кюльпэ или Наторп. Описательная психология является в качестве эмпирической психологии наукой о фактах и реальностях, о процессах, протекающих в пространстве и времени. Феноменологии нет никакого дела до фактов. Она, правда, кладет

фундамент под психологию, сама является в такой же малой степени психологией, в какой математика является естественной наукой.

Она дает познание сущностей. С другой стороны, феноменология отличается от психологии тем, что ее предметы не действительны. Как геометр познает не действительность, а идеальные возможности, так и феноменолог занимается не реальными явлениями психо-физиологического комплекса животных, а трансцендентально редуцированными феноменами. Она, одним словом, эйдетическая наука о трансцендентальных чувствах, переживаниях. Благодаря последнему свойству она должна бы принадлежать к разряду точных наук. Но от них она отличается тем, что она чисто описательна. Это последнее обстоятельство придает ей характер некоторой неопределенности (Vagheit).

Теперь поднимается второй вопрос: какими познавательными средствами достижимо это описание. Так как феноменология имеет дело с сущностями, а не фактами, то следовало бы ожидать, что для достижения этой цели она должна пользоваться средствами отвлеченного мышления, понятиями, суждениями, умозаключениями. Но дело обстоит не так. Правда, Гуссерль подчеркивает, что результаты феноменологического анализа могут быть передаваемы в дискурсивных формах мышления, но орудием непосредственного анализа должна быть интуиция, созерцания сущности. И это созерцание распространяется не только на единичные предметы, но и на предметы, которые мы определяем, как род, вид, которые до сих пор рассматривались как абстрактные понятия, не подлежащие процессам созерцания. В этом заключается основное противоречие феноменологии. Ее феномены должны быть, с одной стороны, чисто описательные, с другой стороны, они не эмпирические. Это противоречие Гуссерль не разрешил никогда.

Его предметы являются чистыми данностями (Originär gebend). Данность предмета предполагает активное состояние сознания, которому предмет дан. Но данность Гуссерля предполагает феноменологическую установку, сложный аппарат редукции. Данный Гуссерлю сущностный предмет—результат некоторой деятельности сознания. Феноменологические предметы подвергаются, следовательно, некоторому процессу обработки. Мы видим его эйдетически с определенной стороны, в определенном освещении. Значит он далеко не дан. В несогласованности постулата давности предмета, пассивного отношения сознания к нему, с действительной активностью сознания по отношению к предмету, конструктивным характером предмета,—заключается второе основное противоречие феноменологии.

Это противоречие можно бы изгладить отчасти приведением в связь предметом феноменологии с геометрией. Геометрия пользуется тоже созерцанием идеальных форм, из мира эмпирической реальности она вылавливает все то, что имеет значение и ценность для геометрической установки. Может быть такое проведение параллели с геометрией выяснит дело. Может быть является феноменология математикой

переживания? Есть всякие данные для предположения, что такая математика переживания была исходной точкой анализов Гуссерля. Но потом Гуссерль сам отрицает всякую связь между математикой и феноменологией. Математику определяет Гуссерль как науку об „определяемых разнообразиях" (definite Mannigfaetigkeiten). Ее сущность заключается в том, что она исходит из определенного числа аксиом, выводя потом все свои теоремы строго аналитически, как следствие этих аксиом. Ее метод—дедуктивный, силлогистический. Между тем из области феноменологии изгоняется все то, что напоминает логику, Гуссерль говорит в своих „Идеях": „Посредствующие (Mittelbare) умозаключения не возбраняются, но так как ее познания (Erkenntnisse) должны быть чисто описательного характера, приспособленные к имманентной сфере, то умозаключения, не наглядные способы трактовки могут иметь только одно методическое значение, могут только способствовать тому, чтобы приблизить нас к вещам, сущностное созерцание которых может нам дать действительность". Как бы Гуссерль не выворачивался, его постулат данностей, созерцательности, отрицания логических операций предполагает определенную метафизику, платоновский реализм понятий, метафизику тем более опасную, так как ее очень трудно подвергнуть контролю, потому что она пользуется не обычными дискурсивными приемами мышления, а эйдетическим мышлением—созерцанием.

Этот последний пункт требует еще подробного анализа; мы можем сказать: существует действительно специальный путь познания чистых сущностей; кто не сможет вступить на этот путь, должен, конечно, отвергнуть и познание, приобретенное таким путем. И фактически Гуссерль становится на такую точку зрения.

Но не покажется ли странной мысль, что на всем протяжении развития философского мышления никому не удалось открыть этот феноменологический источник, хотя столько умственного напряжения было потрачено на открытие сущности вещей? Этот вопрос не может быть просто обойден. Как бы там ни было, феноменологические явления должны находиться в потоке сознания. В основе феноменологического созерцания лежит всегда индивидуальное сознание данных опыта или воображения. Именно в этой точке соприкосновения эмпирического и феноменологического потока должны находиться источники феноменологии. Между тем именно многие из критиков феноменологии не могут открыть у себя никакого созерцания сущностей.

Не меньшее затруднение заключается в вопросе об отношении психологии к феноменологии. Феноменология утверждает, что она не нуждается ни в каких эмпирических данных, что она, наоборот, дает основу для описательной психологии. Но раз она в них не нуждается, она не должна исходить из них. На деле происходит иначе. Выхватим любой пример из сочинений Гуссерля: „Перенесемся путем живого созерцания (или воображения) в стихию какого-нибудь акта, например в чувство радости из-за протекающего свободно и плавно потока

мыслей. Мы производим все редукции и смотрим, что лежит в его сущности. В первую очередь направленность к протекающим мыслям и т. д.

Гуссерль начинает совсем как эмпирический психолог. Он пользуется целым легионом неясных (vagen) понятий и временных определений. Спрашивается, где совершается скачок из психологизирующей необходимости в царство феноменологической свободы? Гуссерль его не указывает. Переход этот имманентен и неуловим для нашего сознания. Остаются те же самые туманные понятия, только в феноменологической установке. Но от этого дело далеко не выигрывает. С другой стороны, если феноменология имеет вообще какую-нибудь цель, так она заключается в том, чтобы дать основные аксиомы, понятия, точки зрения для психологии. Но раз нет перехода от эмпирической психологии к феноменологии, то не может быть и обратного перехода от феноменологии к психологии, или, другими словами, феноменология является чисто оторванной и ни к чему не применимой наукой.

Конечно, все согласны с тем, что психология переживает еще до сих пор очень низкую стадию своего развития. И ей дается с большим трудом образование своих основных методов и понятий, освобождение от метафизически-спиритуалистических предрассудков. Но, с другой стороны, для каждого очевидно, что эти все недостатки могут быть устранены только упорным путем и никакое созерцание сущностей тут не поможет. Каждая наука исходила из некоторых обыденных понятий, которые подвергались научной обработке, все больше согласовывались с объективной действительностью. Так должно быть и будет с психологией. Феноменологическая дедукция психологии—это только замаскированное согласие на все психологические суеверия, это возврат к психологическому „наивному реализму". Я хотел бы знать, что Гуссерль может сказать нам о восприятии, основываясь на сущностном созерцании и игнорируя все данные физиологии, биологии (онтогении, филогении)? Что он может сказать об эмоциях, не принимая в расчет опытов Моссо или Джемса об эмоциях и их связи с мускульной и кровососудистой системой? Современная психология отказалась от метода самонаблюдения, как исключительного психологического метода, она выработала другие приемы, которые все больше уточняют наши понятия о психических процессах, открывают их нам в их действительной сущности; между тем Гуссерлево „сущностное созерцание"—это только замаскированное самонаблюдение, поднятое на мнимо-высшую, феноменологическую ступень. Феноменология имела бы еще некоторый смысл, если бы: 1) существовала бы феноменологическая установка и 2) если бы Гуссерль действительно осуществил сотрудничество научной психологии с феноменологией. Но где может Гуссерль указать точки соприкосновения своей феноменологии со жгучими проблемами современной психологии, напр., с проблемой „нативизма" и эмпиризма, бессознательного,

проблемы применения математики к психологии с фрейдизмом? Все, что могла бы дать феноменология, стоит ниже запросов, требований и направления развития современной психологии.

Панацеей феноменологии является феноменологическая редукция. Проводя ее, мы ухватываем сущность вещей. Но верно ли это? Сам Гуссерль в моменты откровенности признается, что благодаря редукции мы не теряем ничего. Конечно. Мир остается,—но мир как берлинский мир нашего представления. Зачем тогда феноменологический шум?

Что представляет собой феноменология Гуссерля с точки зрения гносеологии? Гуссерль отличает феноменологию от теории познания; „она игнорирует разнообразные проблемы возможностей различных способов познания" („Идеи" стр. 48). Но с другой стороны феноменология должна лечь в основу всех философских дисциплин, следовательно, между ними, и в основу теории познания, так что основные линии феноменологии должны найти свое отображение и в последней. Каков у него источник познания? Непосредственное „сущностное" созерцание. Созерцание не только единичных предметов, но и понятий, совокупности содержания суждений и созерцание их истинности. Подобно Фризу, Гуссерль отрицает всякое логическое опосредствование, рефлексию. Критерием истины является очевидность (Evidenz), которую мы „созерцаем" феноменологически. В чем заключается эта очевидность? Прибегнем к примеру: у нас на основании опыта образуется некоторые суждение восприятия; этому суждению восприятия сопутствует некоторое чувство истины этого суждения, которое—как уже давно заметил Юм—становится тем сильнее, чем чаще наше суждение подтверждается восприятием. Но суждение восприятия не может нас удовлетворить. Мы, анализируя суждение на основные части, подвергаем их научной обработке, сопоставляем с другими явлениями и законами, приобретенными нами уже в какой-нибудь другой области науки, и путем таких перемен превращаем суждения восприятия в суждения опыта, принявшего аподектический характер строго научного закона. Чувство очевидности при том возрастает. Но что является источником этого чувства? Логическая структура закона, его рациональная очевидность, но никогда наоборот. Чувство очевидности ничего к суждению не прибавляет, а является только нашей эммоциональной реакцией на него.

Совсем другое получается у Гуссерля. Гуссерль исключает a priori всякую возможную мотивировку своих суждений и т. д. Я признаю суждение истинным потому, что я созерцаю непосредственно его истинность Очевидность дана вместе с созерцанием содержания суждения. Очевидность Гуссерля—это переведенное на язык феноменологии чувство очевидности правильных суждений. Но 1) не всегда сопровождает чувство очевидности именно правильное суждение, напр., в случае галлюцинаций, 2) никакая логика не смешивала до сих пор чувства очевидности с критерием истины. Критерий

истины имеет свои корни в опыте, который далеко не является созерцанием сущности, а результатом сложной умственной „рефлексивной" работы. Гуссерль охотно сослался бы на Декарта, который говорит об интуициях как об отдельных формах познавания; но как раз Декарт является классическим представителем рефлексивной философии, и его интуиция базируется на мощных пластах рационализма. В своих „Requlae philosophandi" говорит он, что мы можем путем упражнения усвоить себе так основательно промежуточные ряды доказательство, что переход от одной истины к другой станет очевидным, так как промежуточные ряды войдут нам, так, сказать, в кровь и кости. Но мы можем пользоваться инстуицией, проведя уже доказательства и проведя их довольно часто. Ссылка на Декарта совсем неуместна, как это впрочем доказал уже Наторп в своей критике „Идей" в „Логосе"

Нам, конечно, понятны тенденции Гуссерля, до некоторой степени даже здоровые, заключающиеся в стремлении освободиться от угара формальной логики и интеллектуализма. Гуссерль хотел подойти как-то ближе к процессу действительности, найти логику вещей на место логики понятий. Его натура так многогранна, что у него уживаются алогизм с крайним логизмом. Но по существу его философии эти здоровые ростки переходят в карикатуры, искривляются, носят на себе клеймо наследственной болезни, как и у прагматистов в их борьбе против интеллектуализма (напр., у Шиллера).

В основе философских мечтаний Гуссерля лежит мысль Канта об intellectus archetypus, который схватывает действительность в один миг без промежуточных звеньев, расплавляя процесс рефлексии в процесс видения, о чем, впрочем, мечтали и Аристотель и Лейдниц. Но вся тайна заключается в том, что intellectus archetypus творит предметы созерцаная их и наоборот, а у Гуссерля сознание тоже творит предметы (интенциональные) благодаря редукциям, но оно не притязает быть intellectus archetypus! Или может быть феноменология—это логика и психология верховного существа, как это Гуссерль склонен стыдливо признать в некоторых местах своих „Идей", ибо, в противном случае, зачем ему вводить бога как необходимое предельное понятие в феноменологию, чуждую всякой метафизики? Гуссерль мог бы в своей теории созерцания сослаться на опыт мистиков, но все дело в том, что мистики передают свои созерцания в понятиях и переводят их (или, по крайней мере, стараются переводить) на логический язык.

Наконец, если сущностное созерцание находится вне всякой логики? как оно может быть 1) основой логики и 2) передаваемо другим Для последней цели надо пользоваться речью, а она без применения рефлексии невозможна. В противном случае феноменология не могла бы стать предметом коллективного труда, к которому Гуссерль так усердно и горячо призывает, а превратилась бы в какую-

то странную философию молчания феноменологических мономанов. Феноменология Гуссерля должна дать сейчас же трещину там, где два сущностные созерцания того же интенционального предмета, проведенные двумя различными сознаниями, не совпадают. Которое из двух сущностных созерцаний тогда правильно, раз нет никаких логических, рефлексивных критериев? Гуссерль сам, как известно, довольно часто видоизменяет свою точку зрения, основываясь именно на сущности созерцания. Каким образом он может доказать правильность каждого последующего созерцания, отвергающего предыдущее. Выход один: или гносеологический нигилизм, равноценность всех сущностных созерцаний, или бесконечная градация сознаний с соответствующими им, всегда истинными интенциональными предметами, какая-то современная, на тот раз уже феноменологическая монадология (конечно, без окон).

Гуссерль очень часто утверждает, что в своей феноменологии он дает до-теоретическую науку, науку без всяких предпосылок, науку, которая потом может лечь в основу всяких теорий. Невольно напрашивается параллель с Авенариусом, который старался благодаря эмпириокритицизму восстановить наивный реализм, естественное свободное от теорий мировоззрение. Но вместе с тем мы видим, что ни один ни другой не справились со всей задачей,—что их утверждение о свободе от всякой теории в корне неверно. Гуссерль не свободен от теорий,—наоборот, он противопоставляет другим теориям свою собственную. Из чего исходит Гуссерль? Из критики теории абстракции, которая видит в понятиях представителей многих конкретных явлений. Этому абстрактному понятию противополагает Гуссерль свое понятие—созерцание. В обычном опыте оно неизвестно, оно является следствием очень сложных теорий. Или может быть не является теорией, которая в свою очередь направлена против других определенных теорий, его учение об интенциях и интенциональных предметах? Не родились же они в голове первобытного наивного человека, а в очень сложных сочинениях и статьях Бретано во второй половине XIX столетия. То же самое мы встречаем и у Авенариуса. Он повествует тоже о до-теоретическом данном, (das Yorgefuhdene), но „странным образом под эту категорию данного подпадают такие данности", как сложные математические формулы „для различных видов проблематичных колебаний системы и не менее сложные, неиспытанные еще как следует теории об аномизме и т. д. То что должно быть результатом, вершиной естественного понятия о мире, является его предпосылкой. Гуссерль попал тоже в такой же circulus vitiosus. Его феноменологический предмет мог быть исследован только тогда, когда были уже известны отношения реальных психологических процессов к реальным же предметам, или другими словами, когда бы психология достигла такой ступени развития, какого уже достигло современное естествознание. Но тогда и не нужна была бы

феноменология. Гуссерль хочет облегчить себе задачу. Созерцанием сущности он хочет сократить длинный и тернистый путь научного исследования. И поэтому все его философское предприятие должно оказаться бесплодным. Не говоря уже о платоновских и аристотелевских традициях, Гуссерль принадлежит к тому направлению философии, которое старается действительно сложную проблему отношения сознания к предмету (реального, протекающего во времени и пространстве такого же предмета) решить путем устранения всей проблемы. На такой путь стали раньше Авенариус и Max. Extrema se tangunt. В этом центральном вопросе сошлись самые крайние идеалистические „эмпирики" и убежденные платоники.

Феноменологии Гуссерля чуждо понятие закона. У него невозможно движение, а лишь какое-то суммирование несвязанных между собой феноменологических данностей. В то время, как вся наука старается понять субстанциональности, превратить в понятие функций, рассматривать все с точки зрения процесса, у Гуссерля процессы застывают в вещи. Поэтому он чужд этому инстинкту диалектики, который прорывается теперь везде, у всех крупных научных исследователей. Гуссерль является самым выдающимся представителем современного элеатизма.

И тут он встречается с теми представителями философской мысли, которые, делая поспешные выводы из физических теорий Энштейна, стараются вернуться к пифагорейским концепциям замкнутого, покоющегося мира числовых отношений, где нет ничего движущегося, творящегося, а существует только вечная гармония сфер.

Диалектический пафос становления старается он заместить иератическим покоем самоудовлетворенности.

Это обстоятельство открывает истинную сущность его философии и ее консервативный характер.

В. Юринец.

Современная психология и марксизм.

(Статья вторая.)

I.

Психология и рефлексология.

Мысль, высказанная мной на I-м Всероссийском Съезде по Психоневрологии о переоценке современной психологии с точки зрения марксизма, оказалась мыслью вполне актуальной, ибо, в связи с происходящей сейчас переоценкой идеологических построений в области философии, науки и искусства, вопросы психологии, как ближайшей служанки умозрительной философии—этой в свою очередь служанки богословия,—привлекают к себе особенное внимание.

И эта переоценка психологии станет для нас вполне понятной, если мы учтем все способствовавшие этому условия русской жизни. С одной стороны, этому способствовал тот по преимуществу умозрительный характер русской психологии, который получила она особенно в школе проф. Г. И. Челпанова, подорвавшей всякое доверие к психологии, как строго научной дисциплине, под влиянием чего многие начинают сейчас страдать в буквальном смысле психобоязнью, если можно так выразиться, шарахаясь в сторону не только от наименования психологии, но и всех производных от нее названий: психотехника, психо-неврология, психо-терапия и т. п.

С другой стороны, возникшее у нас в России учение о рефлексах,—рефлексология,—как оппозиция умозрению в психологии, в лице академиков И. П. Павлова и В. М. Бехтерева, привлекало внимание всех, кого не удовлетворяла умозрительная психология. Поэтому вполне понятным становится стремление тех, кто хотел бы в корне изменить характер современной психологии, исходить из работ И. П. Павлова и В. М. Бехтерева по рефлексологии.

Одну из таких попыток, опубликованную в печати, мы имеем в только что вышедшей брошюре Э. Енчмена: „Теория новой биологии и марксизм", которую мы и рассмотрим ниже.

А теперь, ввиду того, что относительно воззрений И. П. Павлова и В. М. Бехтерева на объект и задачи психологии и на отношение последней к рефлексологии существует большая путаница понятий, я считаю необходимым остановиться на этих вопросах, тем более что как раз вышли из печати долгожданные, собранные воедино, труды И. П. Павлова и появилось 2 издание „Общих основ рефлексологии" В. М. Бехтерева, так что легко будет установить основные принципиальные положения по интересующему нас вопросу.

Обратимся же к тому, каковы взгляды И. П. Павлова и В. М. Бехтерева на объект и задачи психологии.

Просматривая труды И. П. Павлова, вы замечаете, что через все его статьи и речи красной нитью проходит тот коренной вопрос, который, повидимому, так тесно связан с его индивидуальными устремлениями и который и определил сферу его научных исканий. „В сущности, — говорит И. П. Павлов,—интересует нас в жизни только одно: наше психическое содержание. Однако, механизм его был и есть окутан для нас глубоким мраком. Все рессурсы человека: искусство, религия, литература, философия и исторические науки—все это соединяется, чтобы бросить луч света в этот мрак" [1]).

Или в другом месте: „Полученные объективные данные, руководясь подобием или тождеством внешних проявлений, наука перенесет рано или поздно и на наш субъективный мир и тем сразу и ярко осветит нашу столь таинственную природу, уяснит механизм и жизненный смысл того, что занимает человека всего более: его сознание, муки его сознания" [2]).

Казалось бы, разрешить интересующую И. П. Павлова задачу, т.-е. вскрыть „психическое содержание", „уяснить механизм мук человеческого сознания" должна была бы прежде всего психология. Но к ней-то, к психологии И. П. Павлов относится чрезвычайно скептически. „Сколько тысячелетий,—говорит он,—человечество разрабатывало факты психологические, факты душевной жизни человека. Ведь этим занимаются не только специалисты-психологи, но и все искусство, вся литература, изображающая механизм душевной жизни людей. Миллионы страниц заняты изображением внутреннего мира человека, а результатов этого труда—законов душевной жизни человека—мы до сих пор не имеем. И поныне вполне справедлива пословица: чужая душа потемки" [3]).

---

[1]) „Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности". Петрогр. 1923 г., стр. 40.

[2]) Там же, стр. 23; курсив мой.

[3]) Там же, стр. 65.

В чем же И. П. Павлов видит причину безрезультатности работы психологии? Может быть, в том, что, с точки зрения И. П. Павлова, психология не имеет своего самостоятельного объекта, отличного от предмета других научных дисциплин, или же, может быть, предмет психологии, как научной дисциплины, с его точки зрения, не обладает реальностью и является фикцией? Но это оказывается не так, что лучше всего видно из следующих слов И. П. Павлова, где он „хотел бы предупредить недоразумение" в отношении себя. „Я не отрицаю психологии, как познания внутреннего мира человека. Тем менее я склонен отрицать что-нибудь из глубочайших влечений человеческого духа" [1]), но, говорит И. П. Павлов: „Мне представляется безнадежной, со строго научной точки зрения, позиция психологии, как науки о наших субъективных состояниях. Конечно, эти состояния есть для нас первостепенная действительность, они направляют нашу ежедневную жизнь, они обусловливают прогресс человеческого общежития. Но одно дело—жить по субъективным состояниям и другое—истинно научно анализировать их механизм" [2]). Таким образом, мы видим, И. П. Павлов не отрицает объекта психологии, считая этим объектом „субъективные состояния", как „первостепенную действительность",—не отрицает и психологии, „как науки о наших субъективных состояниях".

В. М. Бехтерев так же, как и И. П. Павлов, не отрицает ни особый объект психологии, ни психологии, как науки. Об этом он говорит во многих местах „Общих оснований рефлексологии человека", но наиболее, может быть, отчетливо это выявляет следующими словами: „Было бы большой ошибкой признавать, что субъективные процессы совершенно лишние или побочные явления в природе (эпифеномены), ибо мы знаем, что все лишнее в природе атрофируется и уничтожается, тогда как наш собственный опыт говорит нам, что субъективные явления достигают наивысшего развития в наиболее сложных процессах соотносительной деятельности [3]). И в другом месте относительно психологии, как науки, говорит: „Уже с самого начала при обосновании рефлексологии, как научной дисциплины, мы не противополагали ее субъективной психологии и ничуть не исключали последнюю, а, наоборот, вполне определенно отмежевали последней область исследований, производимых на самом себе с помощью метода самонаблюдения под контролем об'ективных данных" [4]).

[1]) Там же, стр. 77.
[2]) Там же, стр. 157.
[3]) Бехтерев. „Общ. осн. рефлексол.". Петр. 1923 г., стр. 78.
[4]) Бехтерев. „Общ. осн. рефлексол.". Петр. 1923 г., стр. 344.

Таким образом, и И. П. Павлов и В. М. Бехтерев, мы видим, не отрицают ни объекта психологии, а тем самым ни психологии, как науки, считая этим объектом субъективные явления, изучаемые путем самонаблюдения.

Что же оба указанные автора понимают под этими субъективными явлениями? И. П. Павлов дает такую характеристику этих субъективных явлений: „Наши рассуждения, относящиеся к фактам, полученным строго-объективным путем, носят особый характер; наши факты мыслятся в форме пространства и времени; у нас это совершенно естественно-научные факты. Психологические же факты мыслятся только в форме времени" [1]). В другом месте он вновь подчеркивает, что „нельзя с психологическими понятиями, которые по существу дела непространственны, проникнуть в механизм этих отношений" [2]). И, наконец, о том же самом он говорит вновь, что „сейчас я не могу себе представить, как можно было бы систему беспространственных понятий современной психологии наложить на материальную конструкцию мозга" [3]). Такова первая характеристика этих субъективных явлений.

Но И. П. Павлов не ограничивается констатированием факта признания психологами беспространственности психических явлений. Он указывает, что психические процессы мыслятся психологами не только беспространственными, но и беспричинными. Он спрашивает: „Почему же мы до этого обращались трусливо к прежнему субъективному методу?" И отвечает: „Секрет простой: потому что это—метод беспричинного мышления, потому что психологическое рассуждение—есть адетерминистическое рассуждение, т.-е. я признаю явление, происходящее ни оттуда, ни отсюда" [4]). Или в другом месте И. П. Павлов говорит: „Я должен признаться, что ранее, когда я наталкивался на трудности при истинном причинном объяснении, то частью по привычке, частью, может быть, вследствие некоторого умственного устрашения, я прибегал к психологическим объяснениям, считающимся вполне законными. Но вскоре я понял, в чем состоит плохая услуга. Я был в затруднении тогда, когда не видел естественной связи явлений. Помощь психологии заключалась в словах: животное вспомнило, животное захотело, животное догадалось, т.-е. это было только приемом адетерминистического думания, обходящегося без настоящей причины" [5]).

[1]) Там же, стр. 64.
[2]) Там же, стр. 133.
[3]) Там же, стр. 161.
[4]) Там же, стр. 108.
[5]) Там же, стр. 173.

Такова характеристика И. П. Павлова психологических объектов, которые мыслятся психологами беспространственными и беспричинными, хотя бы и совершающимися во времени. Теперь для нас понятными становятся слова И. П. Павлова о „безнадежности позиции психологии с научной точки зрения", ибо наука вообще не знает непространственных и беспричинных, но совершающихся во времени объектов.

Но как же И. П. Павлов сам смотрит на сущность этих психических явлений? И. П. Павлов так характеризует эти явления: „Жизненные явления,—говорит он,—называемые психическими, хотя и наблюдаемые объективно у животных, все же отличаются, пусть лишь по степени сложности, от чисто физиологических явлений. Какая важность в том, как назвать их—психическими или сложно-нервными, в отличие от простых физиологических, раз только сознано и признано, что натуралист может подходить к ним лишь с объективной стороны, отнюдь не озабочиваясь вопросом о сущности этих явлений" [1]).

Таким образом, И. П. Павлов воздерживается от решения вопроса о сущности психических явлений.

На иную точку зрения в этом отношении встает В. М. Бехтерев. Он не только признает пространственность и временность психических процессов, но определенно высказывается и о сущности этих процессов. „Субъективные явления,—говорит он,—открываемые нами внутри себя путем самоанализа, или то, что именуется нашими переживаниями, есть результат энергии, лежащей в основе соотносительных (нервно-психических) функций организма, как производных его жизненных процессов" [2]). Отметим кстати, ради интереса, что, являясь сторонником энергетического воззрения на психические процессы, В. М. Бехтерев отмежевывается от материализма. „Надо иметь в виду, что с тех пор, как материя с новейшими успехами физики оказалась производной энергии, последняя перестает быть материальной или физической, как признавалось раньше"... „Сама по себе энергия физикой определяется по своим внешним проявлениям, как способность к работе и в этом определении, конечно, не содержится ничего материального" [3]). Следует отметить, что этот лозунг: „нет материи, а есть энергия" чреват своими последствиями, толкая на умозрение: гораздо рациональнее, с моей точки зрения, особенно при решении вопроса о сущности психических процессов, было бы держаться иной формулы—„нет энергии без материи", рассматривая психические процессы, как свойство материи.

[1]) Там же, стр. 23—24.
[2]) Там же, стр. 78.
[3]) Там же, стр. 72.

Теперь возникает вопрос, какого же метода рациональнее держаться при исследовании этих психических процессов, или, как формулирует И. П. Павлов: „Что должен делать физиолог с психическими явлениями? Оставить их без внимания нельзя, потому что они теснейшим образом связаны с физиологическими явлениями, определяя целостную работу органа. Если физиолог решается их изучать, то перед ним стоит вопрос: как?" [1]). И Павлов отвечает, что если ни психология, ни искусство, ни религия, ни литература не отвечают на этот вопрос, то „человек располагает еще одним могущественным рессурсом: естественно-научным изучением с его строго-объективными методами" [2]). Отсюда-то И. П. Павлов и приходит к необходимости объективного исследования сложно-нервных явлений, применивши метод условных рефлексов.

В. М. Бехтерев, также неудовлетворенный субъективным методом психологии, критикуя последний, приходит к выводу, что „субъективизм должен поступиться в пользу объективного изучения предмета" [3]). В. М. Бехтерев полагает, что изучение рефлексов человека или, как он называет, „рефлексология" может достигнуть своей цели следующими путями: 1) объективно-биологическим изучением всех внешних проявлений личности и установления соотношения их с внешними же настоящими или прошлыми воздействиями, а также изучением последовательного развития соотносительной деятельности со дня рождения. 2) Исследованием закономерности развития соотносительной деятельности при разных условиях путем эксперимента и наблюдения. 3) Изучением того механизма, при посредстве которого осуществляется соотношение тех или других сочетательных и иных рефлексов с внешними и внутренними раздражениями текущего и прошлого времени, что достигается экспериментом на животных с разрушением их мозга и патологическими наблюдениями на людях. 4) Изучением соотношения между объективными процессами, лежащими в основе соотносительной деятельности и субъективными явлениями, открываемыми человеком в самом себе путем самонаблюдения" [4]).

Таковы задачи и метод рефлексологии. Теперь возникает вопрос: что же это изучение высшей нервной деятельности, может быть, и есть то самое, что в состоянии совершенно заменить метод психологического исследования? У И. П. Павлова сквозит какая-то двойственность в ответе на этот вопрос. С одной стороны, он как будто при-

[1]) Там же, стр. 37.
[2]) Там же, стр. 40.
[3]) Там же, стр 60.
[4]) Там же, стр. 146.

знает сотрудничество этих смежных сфер—объективного и субъективного изучения психических процессов. Он говорит: „Мы проще, чем психологи, мы строим фундамент нервной деятельности, а они строят высшую надстройку, и так как простое, элементарное понятно без сложного, тогда как сложное без элементарного уяснить невозможно, то, следовательно, наше положение лучше, ибо наше исследование, наш успех нисколько не зависит от их исследований. Мне кажется, что для психологов, наоборот, наши исследования должны иметь большое значение, так как они должны составить впоследствии основной фундамент психологического знания“ [1]). И. П. Павлов не прочь даже переоценить работу психологов, сказавши по их адресу столь неожиданную любезность, что „я вижу и преклоняюсь перед усилиями мысли в работе старых и новейших психологов, но вместе с тем мне представляется, и едва ли это можно оспаривать, что работа эта совершается страшно-неэкономно, и я проникнут убеждением, что чистая физиология головного мозга животных чрезвычайно облегчит, больше того—оплодотворит непомерную, богатырскую работу тех, кто посвящал и посвящает себя науке о субъективных состояниях человека“ [2]).

Но, с другой стороны, читая труды И. П. Павлова, вы наталкиваетесь на целый ряд мест, где подобный параллелизм в работе признается явлением временного порядка, что наступит момент, когда изучение высшей нервной деятельности и даст, наконец, разрешение того „психического содержания“, тех „мук человеческого сознания“, которые, как мы видели, больше всего и интересуют И. П. Павлова. Он говорит: „В каком соотношении находятся многочисленные, приведенные выше факты (физиологические) к фактам психологическим, что чему соответствует и когда кому этими соотношениями заниматься? Как ни интересно это соотношение, может быть, и сейчас, однако, надо признать, что физиология пока не имеет серьезного повода к этой работе. Ее ближайшая задача—собирать, систематизировать и анализировать представляющийся бесконечный объективный материал. Но ясно, что это будущее физиологическое достояние и составит в значительной степени истинное решение тех мучительных задач, которые испокон века занимают и терзают человека“ [3]).

Так И. П. Павлов думал в 1906 году. Теперь, в своем введении к трудам, написанном, повидимому, в недавнее время, он не только не отказался от выше цитированных мыслей, но еще более укрепился в них. Он говорит: „Теперь я глубоко, бесповоротно и нейскоренимо убежден, что здесь, главнейшим образом, на этом пути (объективного исследования высшей нервной деятельности) окончательное торжество человеческого ума над последней и верховной задачей его—познать механизм и законы человеческой натуры, откуда только и может произойти истинное, полное и прочное человеческое счастье. Пусть ум празднует победу за победой над окружающей природой, пусть он завоевывает для человеческой жизни и деятельности не только всю твердую поверхность земли, но и водяные пучины ее, как и окружающее земной шар воздушное пространство, пусть он с легкостью переносит для своих многообразных целей грандиозную энергию с одного пункта земли на другой, пусть он уничтожает пространство для передачи его мысли, слова и т. д.—и, однако, тот же человек с этим же его умом, направляемым какими-то темными силами, действующими в нем самом, причиняет сам себе неисчислимые материальные потери и невыразимые страдания войнами и революциями, с их ужасами, воспроизводящими межживотные отношения. Только последняя наука, точная наука о самом человеке—а вернейший подход к ней со стороны всемогущего естествознания—выведет его из теперешнего мрака и очистит его от теперешнего позора в сфере межлюдских отношений“ [1]).

Таким образом мы видим, что с точки зрения И. П. Павлова учение о рефлексах составит фундамент для психологии и этому-то естественно-научному фундаменту в науке о человеке и суждено с его точки зрения сыграть колоссальную роль, включительно до очищения человечества „от теперешнего позора в сфере межлюдских отношений“.

Та же самая мысль о взаимоотношении психологии и рефлексологии, но только в более отчетливой форме, выявлена В. М. Бехтеревым в его первом издании рефлексологии, где он так формулировал это взаимоотношение: „Так как рефлексология имеет своим предметом изучение объективной стороны соотносительной деятельности человеческой личности, а субъективная психология занята изучением субъективных переживаний той же человеческой личности, то ясно, что между данными той и другой научной дисциплины должно быть известное вполне определенное взаимоотношение. В этом направлении можно пойти дальше и говорить о возможном сближении в будущем обеих научных дисциплин, но так как для этого время еще не настало, то пока мы можем стоять на точке зрения тесного взаимоотношения между одной и другой научной дисциплиной“.

[1]) Там же, стр. 65.
[2]) Там же, стр. 183.
[3]) Там же, стр. 51.

[1]) „Двадцатилетний опыт“, стр. 128.

Во втором издании своей рефлексологии В. М. Бехтерев говорит уже „о возможном и даже неизбежном в будущем построении рефлексологии с особенным рассмотрением субъективных явлений“ [1]), определяя взаимоотношение объективной и субъективной стороны таким образом: „Действительное, т.-е. естественно-научное изучение личности человека начинается только с введением в эту область вполне объективного метода, который и дает обоснование рефлексологии человека, как науке об объективно-биологическом изучении человеческой личности. Необходимо предвидеть, что в будущем „субъективная“ психология явится только дополнительным знанием, которое свои задачи будет сообразовать с данными объективной науки—рефлексологии и только в таком виде субъективный анализ окажет известные услуги научному изучению человеческой личности“ [2]).

Таковы в своих основных чертах взгляды И. П. Павлова и В. М. Бехтерева на взаимоотношение психологии и рефлексологии. Считая установление этого взаимоотношения, как надстройки к фундаменту, как добавочного знания к основному, совершенно правильным, я тем не менее должен отметить и те пункты в воззрениях И. П. Павлова и В. М. Бехтерева, с которыми никак нельзя согласиться.

Прежде всего надо ли много говорить о том, насколько преувеличенные надежды возлагаются обоими авторами учения о рефлексах на естествознание вообще и на объективное изучение высшей нервной деятельности в частности. Впереди мы видели уже, что на естествознание возлагается И. П. Павловым, например, задача вскрыть то „психическое содержание“, те „муки человеческого сознания“, „истинное решение тех мучительных задач, которые испокон века занимают и терзают человека“, чего не могут дать ни психология, ни все искусства, ни литература, ни даже исторические науки. Больше того, только через естествознание, как основу науки о человеке, может произойти, по И. П. Павлову, очищение „от теперешнего позора в сфере межлюдских отношений“, причиняемого „человеческим умом, направляемым какими-то темными силами, действующими в нем самом“, и таким только образом возможно достижение „истинного, полного и прочного человеческого счастья“.

На все это можно сказать только одно, что если иногда первоклассные естествоиспытатели, материалистически мыслящие в своей специальности, являются завзятыми идеалистами в области общественных вопросов, то это объясняется только отсутствием у них единого цельного материалистического мировоззрения, каковым является марксизм. Именно это-то обстоятельство неизбежно приводит их к

[1]) Там же, стр. 345.

[2]) Там же, стр. VII.

эклектизму, побуждающему объяснять общественный процесс деятельностью „каких-то темных сил человеческого ума“, нарушающих межлюдские отношения. Именно этим отсутствием цельного материалистического мировоззрения объясняется и эта ни на чем не основанная претензия через естествознание только получить рациональное разрешение общественных вопросов, не учитывая хотя бы того положения Энгельса, что „нас окружает не одна природа, но и человеческое общество, которое, подобно природе, имеет свою историю развития и свою науку“. Надо не забывать, что положение с естествознанием в настоящее время резко изменилось: насколько в области обществоведения мы имеем теории, объединяющие факты в единое цельное мировоззрение, оправдываемое ходом самого общественного процесса, настолько в области естествознания мы сплошь и рядом имеем эклектический винегрет теорий, которые должны быть переоценены и систематизированы с точки зрения цельного материалистического миропонимания, каковым является марксизм.

Ничем иным, как теми же самыми причинами объясняется у В. М. Бехтерева, например, его отрицание материализма путем растворения его в энергетизме, не говоря уже о таких совершенно неожиданных заявлениях, которые осмелится сделать далеко не всякая даже и „субъективная“ психология, что „рефлексология, вообще говоря, не исключает никакой вообще гипотезы о сознании и о душе вообще“ [1]).

Но сторонники рефлексологии переоценивают не только роль естествознания вообще, но и роль объективного изучения высшей нервной деятельности — в частности. Конечно, никто не будет отрицать, что, вопреки тому, заполонившему психологию, умозрению, оперировавшему с беспространственными и беспричинными объектами, путем лишь самонаблюдения, И. П. Павлов один из первых понял „безнадежность позиции психологии с научной точки зрения“, ту „обиду серьезного мышления“, которую наносила науке эта умозрительная психология, и в противовес ей перешел к объективному исследованию высшей нервной деятельности, стяжав себе этим заслуженную мировую известность. И научного и общественного значения этого факта — подчинить материалистическому трактованию, пронизывающему все естествознание, область, окутанную до тех пор сплошным умозрением — этой колоссальной заслуги перед наукой никто и никогда отрицать не будет.

Но на-ряду с этим, в целях совершенной объективности и беспристрастия, также нужно сказать, что И. П. Павлову не чуждо и то, чем иногда страдают и крупнейшие ученые, это — воззрением

[1]) Там же, стр. 60.

на мир только через окно своей специальности. В самом деле, не говоря уже о том, что значительная доля тех непосильных задач, которые поставлены выше И. П. Павловым перед естествознанием, отнесены им в частности и насчет объективного изучения высшей нервной деятельности животных, разрешение чего еще тем более не по плечу методу условных рефлексов, но и те ближайшие задачи, которые ставит перед собой все рефлексологическое течение, в значительной степени еще страдает тем органическим недостатком, на который в свое время указал И. П. Павлову известный швейцарский психолог Клапаред. „Когда физиологи, — говорит Клапаред,—создадут рядом с психологией физиологию головного мозга,—я разумею физиологию настоящую, а не психологический сколок, который они нам преподносят под этим именем,—физиологию, способную говорить от себя и без того, чтобы психология подсказывала ей слово за слово то, что она должна сказать, — тогда мы посмотрим: есть ли выгода упразднить человеческую психологию и, следовательно, сравнительную психологию. Но мы еще до этого не дошли“ [1]).

А что рефлексология, если и не является сколком с психологии, но все же идет по проторенному психологией пути, работая над теми же проблемами и часто теми же методами, это не так трудно показать на той же самой рефлексологии. Так, когда И. П. Павлов говорит, что на его вопросы, которые он задавал психологам в начале его работы над условными рефлексами: „Чему наш анализ отвечает в экспериментальной психологии и вообще в психологическом исследовании“, он „получал от психологов заявление, что, кажется, такого анализа у них еще нет“ [2]), то это не совсем так. Всякий, кто внимательно прочтет труды И. П. Павлова об условных рефлексах и кто достаточно знаком с современной психологией, безошибочно скажет, отвлекаясь от деталей и беря только самое существенное, что вся проблема в целом условных рефлексов — это есть вместе с тем основная центральная проблема психологии: течения и связи психических процессов, проблема ассоциаций, на что имеются указания и у самого И. П. Павлова, судя по его докладу, сделанному в 1922 году [3]).

Я не буду при этом, конечно, отрицать, что при решении той „большой задачи“, к которой, по словам И. П. Павлова, он себя готовит: „перебрать все психологические понятия и показать, в сопоставлении с нашим объективным материалом“, до какой степени эти психологические понятия фантастичны и носят грубый эмпирический характер, который представляет непреодолимую помеху при

[1]) Там же, стр. 177.
[2]) Там же, стр. 65.
[3]) Там же, стр. 219.

анализе тонких явлений высшей нервной деятельности“, выяснится не только это, но выяснятся элементы и того „сколка с психологии“, о котором говорит Клапаред. И так как задача подобного сопоставления психологических понятий с объективным материалом пока И. П. Павловым не разрешена, но зато разрешена В. М. Бехтеревым в его „Общих основаниях рефлексологии“, то здесь мы можем наглядно видеть образцы подобного сопоставления. Если вы возьмете перечень тех принципов, которые установлены рефлексологией, то без труда увидите, что за исключением принципов, заимствованных из физики, большая часть остальных представляет собой не что иное, как давно знакомые вам принципы психологии. Таковы, например, принцип воспроизведения или репродукции, соответствующий в психологии учению о памяти, принцип экономии, соответствующий учению об упражнении в психологии, принцип сигналов, соответствующий учению об ассоциациях, принцип торможения и растормаживания, соответствующий частично учению о забывании в психологии и т. д.

Я абсолютно не хочу этим сказать, что все эти принципы рефлексологии есть не больше, как „психологический сколок“ по своему содержанию, нет! Они дают часто много совершенно нового и ценного материала, они действительно подводят и должны подвести фундамент под построения психологии, переоценивши и исключивши весь легковесный материал; однако в видах полного беспристрастия нужно сказать, что иногда этот материал, даваемый рефлексологией, значительно легковеснее того, который добыт современной экспериментальной психологией. В самом деле, возьмите хотя бы обоснование принципа воспроизведения или репродукции в рефлексологии В. М. Бехтерева с указанием на эксперименты, произведенные студентом Федориным, и сопоставьте это с классическим трехтомным сочинением по тому же самому вопросу Мюллера: „Zur Analyse der Gedächtnistätigkeit und Vorstellungsverlaufes“, или же хотя бы исследованием Меймана „Ökonomie und Technik des Gedächtnisses“, и тогда, пожалуй, мнение, высказываемое В. М. Бехтеревым, что „психология дала, в сущности, лишь сборник более или менее интересных сведений“, в значительной степени покроет и тот материал, который дает нам пока рефлексология.

И все это еще больше подчеркивает необходимость сближения между собой психологии и рефлексологии, и в настоящее время для этого имеется почва, поскольку происходит сближение и в методах этих двух областей знания. Конечно до тех пор пока психология оперировала с непространственными и беспричинными явлениями по преимуществу методом самонаблюдения, а представители рефлексологии держались строго естественно-научных воззрений и методов,

ясно, что ни о каком сближении этих двух областей знания не могло быть и речи. Но поскольку в настоящее время это течение умозрительной психологии можно считать окончательно ликвидированным и поскольку сама психология пользуется в настоящее время по преимуществу объективным и экспериментальным методами, постольку вопрос о сближении этих двух дисциплин является очередным вопросом. Больше того, в настоящее время можно говорить не только о сближении, но и о полном слиянии этих взаимно-дополняющих друг друга сфер знания, но для этого необходимо не только согласование методов, но и согласование обще-принципиальных воззрений на сущность самих психических процессов. И в этом отношении только материалистическое понимание психических процессов, точнее—позиция маркеизма, как законченного и цельного материалистического мировоззрения—и является единственно той позицией, при наличности которой и возможно говорить не только о сближении, но и полном слиянии психологии с рефлексологией. Другой вопрос, что останется от психологии при таком слиянии, но ясно, что поскольку признается существование психических процессов, как своеобразных явлений природы, „было бы большой ошибкой признавать, по словам В. М. Бехтерева, что субъективные процессы совершенно лишние или побочные явления в природе"; следовательно, постольку эти процессы и должны подлежать изучению. Или же иначе мы должны доказать, что психические процессы не есть объект научного изучения, и тогда сам собой разрешается вопрос о ликвидации психологии, как науки.

Как раз на эту последнюю точку зрения встает Э. Енчмен, который, исходя из воззрений И. П. Павлова, в своей недавно вышедшей в печати брошюре—„Теория новой биологии и марксизм"—развивает мысль о полной ликвидации психологии.

К рассмотрению этой теории мы теперь и перейдем.

II.

Психология и „теория новой биологии".

Упомянутая мной брошюра Э. Енчмена „Теория новой биологии и марксизм" хотя и стоит в самой тесной связи с интересующим нас вопросом, но ограничиться рассмотрением одной этой брошюры я не считаю возможным ввиду того, что она является лишь развитием одного из тех „Восемнадцати тезисов теории новой биологии", которые автор выпустил в 1920 году и в которых он дает общепринципиальное обоснование своей теории. Поэтому мне придется коснуться, хотя бы и в общих чертах, содержания означенных „восемнадцати тезисов".

Отвлекаясь от многих странностей изложения автора теории новой биологии, прежде всего необходимо отметить, что это не новая теория биологии, как наука о жизни, а теория совершенно нового понимания биологии, как единой всеобщей науки, охватывающей и неорганический и органический мир, включая сюда и социальную жизнь человечества.

Задача, которую Э. Енчмен ставит себе при создании этой теории новой биологии, такова: он мыслит, что после того, как человечество, путем изменения экономических отношений, осуществит коммунистический строй, после этого начнется переоценка всевозможного рода существующих идеологических построений—в области философии, науки, искусства и т. д. И вот здесь-то, после эпохи экономических катаклизмов, настанет, наконец, пора „органических катаклизмов", „органической бурной революции, бурного перерождения" в человеческих организмах, т.-е. эпоха очищения от „идеологических надстроек старого мира: атмосферы лжи, обмана, шантажа, торжества всякого рода органических фантасмов, тысячелетиями привитых и усердно закрепляемых эксплуататорами для вящшего успеха эксплоатации" [1]). Средством такого „очищения" и является по Э. Енчмену его „теория новой биологии", состоящая из 15, так называемых, анализаторов, введение которых в человеческий организм и способно вызвать „органический катаклизм", событие, „отдаленно равного по мощи" которому или „отдаленно похожего" автор „не знает в истории человечества" [2]).

Что же представляют собой эти 15 анализаторов, введение которых в человеческий организм способно вызвать столь бурное перерождение его? Понятие анализатора заимствовано Э. Енчменом из учения о рефлексах И. П. Павлова, этого „ученого буржуазного мира", как называет его Э. Енчмен, „которому коммунистическое человечество будет безмерно обязано" за его учение о рефлексах. Как известно, И. П. Павлов так определяет это понятие анализатора: это „часть рефлекторной дуги, которая начинается со всяческого натурального конца центростремительного нерва и кончается в мозгу воспринимающей клеткой; задача этой части и заключается в том, чтобы весь мир влияний, падающих извне на организм и его раздражающих, разлагать, и чем выше животное, тем разлагать дробнее и тоньше" [3]). И. П. Павлов различает следующие анализаторы: глазной, ушной, кожный, носовой, ротовой и двигательный [4]). Просто говоря, анализатор это то, что известно под именем органов чувств и физио-

[1]) Э. Енчмен. „Восемнадцать тезисов теор. нов. биол.". с. 7.
[2]) Там же, с. 5.
[3]) Павлов И. П. Там же, с. 67.
[4]) Там же, с. 136.

логическая природа чего точно локализована и определена. На первый взгляд то определение анализатора, которое дает Э. Енчмен, как будто мало отличается от определения И. П. Павлова. Э. Енчмен так определяет анализатор: это—„способность организма к какому-нибудь специфическому, однообразному (конечно, двигательному), реагированию на совершенно разнообразные, но специфические, одинаковые в каком-нибудь отношении (пространственные) раздражения“ [1]). Но то содержание, которое вкладывает Э. Енчмен в это определение, резко отличается от понимания анализатора И. П. Павловым. Э. Енчме под понятие анализатора подводит и то, что обычно именуется логическим мышлением, т.-е. образованием понятий, суждений, умозаключений и т. п. Вот почему у Э. Енчмена так часто понятие „анализатора“ замещается просто термином „понятие“, но при одной существенной оговорке, „что: 1) анализаторы есть явление чисто пространственное, в частности органическое, т.-е. физиологическое, и что 2) анализаторы в организме образовываются под причинным воздействием только пространственных явлений“ [2]).

И в этом подведении всех логических феноменов под понятие анализатора, в этом физиологизировании понятий и вообще логики Э. Енчмен видит особую заслугу „теории новой биологии“. „Старый мир уходящих тысячелетий не разгадал тайны анализаторов. Старый мир жил ложным учением о понятиях“, говорит Э. Енчмен. „Хозяйственные отношения тысячелетиями закрепляли, к выгоде господствующих классов, тысячи, сотни тысяч заблуждений, фантасмов, к которым вело учение о понятиях“ [3]), ликвидацию которых и ставит своей задачей „теория новой биологии“.

Надо ли говорить, насколько резко отличается это понимание анализатора Э. Енчменом от понимания И. П. Павлова. Я уже говорил, что по И. П. Павлову анализатор—это нечто, физиологическая природа чего точно локализована и определена. И. П. Павлов держится основного метода, который сводится к тому, что „надо показывать пальцем, где было раздражение, куда оно перешло“ [4]), как говорит Павлов. По Э. Енчмену анализатор—это тоже нечто физиологическое, но о локализации чего мы можем высказать лишь общие соображения, что это происходит в мозгу или вообще в нервной системе. По И. П. Павлову число этих воспринимающих и анализирующих аппаратов более или менее точно определено и они составляют обязательную принадлежность каждого организма, по Э. Енчмену—число этих анализаторов—„понятий“ безгранично, среди них имеются истинные и ложные и они могут быть вводимы и исключаемы из организма. Выражаясь старым психологическим языком, анализаторы, по Павлову, соответствуют деятельности органов чувств, по Енчмену же—это, кроме того, еще и процессы мышления: понятия, суждения и т. п. Таким образом некоторые элементы того, что именовалось логикой, насквозь физиологизируются и, при соответствующем отборе, вводятся в пределы анализаторов, логика же, как особая дисциплина, окончательно ликвидируется за ее „явно классовый, явно разбойничий, явно эксплуататорский характер“ [1]).

[1]) Там же, с. 21.
[2]) Там же, с. 23.
[3]) Там же, с. 23.
[4]) Там же, с. 133.

Что же представляют собой те 15 анализаторов, „действительно—анализаторов“ в отличие от „якобы—анализаторов“, которые Э. Енчмен считает необходимым ввести „во все, по крайней мере, человеческие, организмы современной революционной эпохи и вызвать органические катаклизмы, органические перерождения в миллиарде с лишним современных ему человеческих организмов?“ [2]).

Анализаторы эти следующие:

1. Анализатор пространственного, как образование в организме способности различать во всей сумме явлений своего опыта пространственные (материальные, объективные) явления своего опыта [3]).

2. Анализатор непространственного, как образование способности различать во всей сумме явлений своего опыта непространственные (психические, интроспективные явления своего опыта [4]).

3. Анализатор взаимно-физической зависимости, как всегда одновременное воздействие одних пространственных явлений на другие пространственные явления [5]).

4. Анализатор психо-физической зависимости, как невозможность какого бы то ни было влияния пространственных явлений на непространственные явления и обратно [6]).

5. Анализатор взаимно-психической зависимости, как невозможность какого бы то ни было влияния непространственных явлений на непространственные [7]).

6. Анализатор структуры, как образование способности во всем поле пространственного опыта воспринимать отдельно всякие пространственные структуры, например, химический состав тела, строение мозга и т. п. [8]).

[1]) Э. Енчмен. „Теор. нов. биол. и марксизм“, с. 39.
[2]) „18 тезисов“, с. 9.
[3]) Стр. 16.
[4]) Стр. 16.
[5]) Стр. 17.
[6]) Стр. 18.
[7]) Стр. 18.
[8]) Стр. 19.

7. Анализатор двигательных реакций структур, как образование способности воспринимать отдельно и одновременно зависящие от особенностей структур их двигательные реакции, например, два одинаковых атома водорода дают одинаковую двигательную реакцию, как и два совершенно одинаковых человеческих организма дают одинаковую реакцию [1]).

8. Анализатор органических структур, как различение жизненных (отнюдь не психичных, ибо психика без вреда может приписываться всем вообще и неживым структурам) структур от „неорганических структур", например, от одноклеточного растения и до человека [2]).

9. Анализатор органических реакций, как различение физиологических (органических) реакций от простого рефлекса одноклеточной до сложного сочетания цепей рефлексов [3]).

10. Анализатор образования цепей, сочетаний рефлексов, как способность образования „сочетательных" или „условных" рефлексов [4]).

11. Анализатор образования в организме анализаторов, похожих на сочетательный, аналогичных сочетательному раздражителей [5]).

12. Анализатор стенического отбора в организме цепей рефлексов и анализаторов, согласно которому все вообще реакции в организме бывают или стеничны (радостны) или астеничны (нерадостны) [6]).

13. Анализатор естественного отбора цепей рефлексов и анализаторов, сводящийся к дарвиновскому принципу отмирания цепей рефлексов и анализаторов при отсутствии у организма при более или менее резком изменении окружающих организм систем раздражителей закрепить новые цепи рефлексов и анализаторов [7]).

14. Анализатор коэффициентов раздражителей, как точное определение силы и продолжительности действия раздражителей [8]).

И наконец, 15. Анализатор коэффициентов цепей

[1]) Стр. 19.
[2]) Стр. 20.
[3]) Стр. 20.
[4]) Стр. 46.
[5]) Стр. 47.
[6]) Стр. 48.
[7]) Стр. 49.
[8]) Стр. 50.

рефлексов и анализаторов, как точное определение единиц измерения прочности, консервативности цепей рефлексов [1]).

Вот те „действительно-анализаторы", которые должны быть, по Э. Енчмену, восприняты человеком, дабы произвести в нем перерождение.

Что же по самому своему существу представляют эти анализаторы Э. Енчмена? С моей точки зрения, это—основные постулаты, требования, которые предъявляет Э. Енчмен ко всякому научно-мыслящему человеку, стремящемуся к выработке у себя цельного, законченного, строго-марксистского мировоззрения. Признайте, „введите в свой организм", как говорит Э. Енчмен, эти пятнадцать постулатов и вы произведете в себе радикальное коренное идеологическое перерождение. Перерождение это будет заключаться в том, что в человеческом организме произойдет очищение от бесчисленного числа псевдо-теорий и дедукций из них. Для того, чтобы учесть, какая же переоценка теорий произойдет под влиянием принятия вышеуказанных 15-ти постулатов, Э. Енчмен предлагает следующую систему: он объединяет „понятия" путем скрещивания в суждения и делит все суждения на четыре группы: 1) психологические, 2) метафизические, 3) эмульсионные (т.-е. смешанно-разнородные) и 4) естественно-научные суждения (теории и дедукции из них) [2]).

Если мы теперь подвергнем оценке все означенные виды суждений с точки зрения вышеуказанных постулатов, то мы найдем, во-первых, что все психологические суждения и теории должны погибнуть целиком, ибо это — „утверждения о наличии или отсутствии, о протекании или непротекании каких-бы то ни было психических (непространственных) явлений в каких бы то ни было (пространственных) объектах, т.-е. в другом человеке, вообще животном, растении, минерале и проч., прежде всего недостоверны, так как основанные только на аналогии, эти утверждения никогда, ни при каких условиях не могут быть проверены на опыте" [3]). Кроме того, на основании 3, 4 и 5 анализаторов эти психологические суждения „не могут быть использованы организмом для объяснения, т.-е. причинного истолкования окружающих пространственных явлений" [4]). И вообще психологические суждения не существуют и не могут существовать, ибо „это есть сплошной набор звуков, если эти суждения произносятся, и только набор значков, если эти суждения написаны", и потому „лишены всякого вообще смысла" [5]). Подробно об этом мы будем еще говорить ниже.

[1]) Стр. 50.
[2]) Там же, стр. 24.
[3]) Там же, 27.
[4]) Там же, стр. 27.
[5]) Стр. 28.

Что касается метафизических суждений, этих „полуанализаторских суждений", то все они находятся в противоречии с 3, 4 и 5 анализаторами, и наполовину лишены вообще всякого смысла, поскольку „одно из двух понятий метафизического суждения всегда является понятием о непространственном, психическом явлении, т.-е. якобы понятием, мифом, якобы—анализатором, и потому „всякое метафизическое суждение гибнет полностью, безвозвратно" [1]).

Немного в лучшем положении находятся так называемые „эмульсионные суждения", т.-е. суждения смешенного типа, эти суждения „из четверть-анализатора". Хотя они и все ложны, ибо противоречат первым двум анализаторам, но в большинстве случаев в эмульсионном суждении возможно „отсечь, отшелушить, т.-е. срезать и откинуть прочь те три четверти понятия, которые пытаются обнять психические, непространственные явления", и тогда эмульсионное суждение, оказавшись составленным из анализаторов, переносится в группу „естественно-научных теорий". Таковы, например, социальные и социологические теории, которые после отшелушения эмульсионных признаков становятся естественно-научными теориями [2]).

Но и из естественно-научных теорий выживают далеко не все, и „с введением в организм 15-ти анализаторов „теории новой биологии", в нем, по словам Э. Енчмена, гибнут все вообще естественно-научные суждения и теории, за исключением физики и химии. Даже анализаторы математики—„единица" и „бесконечность"—реорганизуются пережившим этот катаклизм организмом, и, естественно, многое реорганизуется в теориях физики и химии. Безвозвратно, полностью гибнут все теории логики, теории познания, научной методологии, все вообще теории социальные и социологические, фигурирующие еще под именем гуманитарных, все вообще старо-биологические теории и т. д., и т. д. даже в отшелушенном виде" [3]).

В заключение, для того, чтобы пробудить человеческий организм к наиболее активному катаклизму и ослабить в нем „силу сопротивления подлежащих ликвидации тысяч и тысяч понятий", автор теории новой биологии соблазняет его „совершенно небывалым ясновидением прошлого и будущего", иллюстрируя „несколькими по возможности яркими примерами, как изменится картина человеческой жизни на земле". При этом из будущих перспектив Э. Енчмен соблазняет организм тем, что утвержденный Мировой Коммуной Революционно-Научный Совет будет выдавать особые „физиологические паспорта", в которых „будет указана цифрами напряженность, сила многих, наиболее существенных реакций", а также „будет указан коэффициент радостности, стенизма на этот год или на этот определенный промежуток времени коммунистического хозяйства, и такой „физиологический паспорт" будет служить для организма, выражаясь современным языком, „карточкой одновременно на труд и на потребление, в широком смысле этих слов" [1]). Таковы „ясновидения" будущего. Относительно же прошлого „автор теории новой биологии рассказывает организму, как ему, автору теории новой биологии, впервые за несколько тысячелетий удалось прорваться к пониманию совершенно непонятого до сего дня самого грандиозного органического события последних тысячелетий, к пониманию события, известного под именем библейской и христианской религий" [2]) И. Э. Енчмен, критикуя теории „очень передовых", подчас „очень революционных" и всегда „очень научных" Спенсеров и Тейлоров, Каутских и Луначарских, исходящих из экономических теорий происхождения добрых и злых богов, как олицетворения благоприятствующих и препятствующих ведению хозяйства сил природы, предлагает свою теорию, сводящуюся к тому, что „в библейской религии в понятии Бога художественно отражались отнюдь не благоприятствующие ведению хозяйства силы природы, а художественно отражалось общебиологическое понятие („анализатор"), органического оптимума, органического стенизма, органической радостности, а в понятии Сатаны художественно отражалось тоже общебиологическое понятие органического угнетения, органической нерадостности, органического астенизма" [3]). Таковы „ясновидения" прошлого.

В заключение Э. Енчмен, цитируя слова евангелиста Луки: „Огонь пришел я низвесть на землю и как желал бы я, чтоб он скорей возгорелся... и как томлюсь я, пока это совершится", выражает надежду, что „вряд ли с сегодняшнего дня осталось больше года или двух до нового творческого взрыва пролетариата, творческого взрыва, который положит начало, быть может, тысячелетней эпохе господства теории новой биологии, как исчерпывающих содержания и руководителя жизни коммунистического человечества" [4]).

Таково содержание „теории новой биологии" Э. Енчмена.

Из всей этой системы анализаторов, как основных постулатов строго-научного знания, первое, что привлекает внимание в системе Э. Енчмена,—это второй анализатор, „анализатор непространственного, как образование способности различать во всей сумме явлений своего опыта непространственные (психические, интроспективные) явления своего опыта". И привлекает внимание этот анализатор потому, что

[1]) Стр. 30.
[2]) Там же. с. 31.
[3]) Там же, стр. 33.

[1]) Там же, с. 35.
[2]) Стр. 35.
[3]) Там же, стр. 36.
[4]) Стр. 53.

он совершенно не гармонирует с общей концепцией анализаторов. А эта концепция такова, что сводит все явления природы и жизни к химии, физике и механике. В этом отношении Э. Енчмен не является оригинальным: он идет по широко проторенному пути современного естествознания, задачи которого были так четко формулированы когда-то покойным К. А. Тимирязевым. „Итак, в действительности,—говорит Тимирязев,—имеются только три науки: физика, химия и общая механика; эти три науки обнимают собой все проявления природы, как живых, так и мертвых тел. Наука о жизни есть, таким образом, только своеобразная отрасль общей физико-химии".

Казалось бы, и психические процессы должны были быть включенными в эту триаду, если только признать реальность их существования. В самом деле,—одно из двух—или психические процессы существуют, как своеобразные явления природы, и тогда представляют собой действительно „только своеобразную отрасль общей физико-химии", или же они не обладают никакой реальностью, не имеют никакого своеобразия и тогда они должны быть выключены из пределов человеческого опыта и объявлены фикцией. Ничего третьего и промежуточного, какого-то полусуществования этих психических процессов не может и не должно быть. И вот как раз именно эту-то промежуточную ступень признания полусуществования этих психических процессов—и занимает Э. Енчмен со своей теорией „непространственных явлений опыта". И в этом-то и лежит та дисгармония, которая режет глаз в его, в остальном выдержанной, системе анализаторов.

В самом деле, если анализаторы Э. Енчмена, как мы их понимаем, есть основные постулаты строго-научного знания, то в высокой степени странным является этот второй анализатор „различения во всей сумме явлений своего опыта непространственных явлений опыта". Никаких непространственных явлений опыта наука не знает, ибо даже само по себе сочетание этих трех понятий является сплошным абсурдом: если это нечто непространственное, то ясно, что это не может быть ни явлением, а тем более явлением да еще опыта. И вот вам предлагается, в качестве основного научного постулата, научиться различать пространственные явления опыта от непространственных. Ведь если непространственное, т.-е. психическое есть—абсурд и фикция т.-е. нечто несуществующее, то праздное дело заниматься этим различением пространственного от непространственного. Но вот в том-то и дело, что, по Э. Енчмену, психическое это и не фикция и не явление научного опыта, а это нечто промежуточное, что существует для самого воспринимающего, т.-е. в индивидуальном опыте, но что должно быть „игнорируемо" в научном опыте. Установление этого последнего положения Э. Енчмен особенно подчеркивает (и это есть действительно единственно оригинальное положение в построениях автора „теории новой биологии"), и с гордостью говорит, что „поскольку имеются сведения, эта истина не была известна ни одному из человеческих организмов, фигурировавших под именем мыслителей, философов, ученых и проч. [1])". К анализу этого то центрального пункта „теории новой биологии", развитию которого Э. Енчмен посвящает вторую свою брошюру—„Теория новой биологии и марксизм"—мы теперь и обратимся.

Итак, что же Э. Енчмен понимает под этими „непространственными, психическими, интроспективными явлениями"? Это, по Э. Енчмену, „так часто употребляющиеся слова: дух, душа, одушевление, душевные явления, психика, психичность, психические явления и т. д. [2])". Какова же сущность этих явлений и чем они отличаются от пространственных явлений? От пространственных явлений они отличаются тем, что в то время как пространственные явления протекают в пространстве, обнаруживаются в различного рода движениях и поддаются измерению, непространственные явления могут быть наблюдаемы только в себе самом и никто кроме самого человека не может наблюдать их в нем. Относительно же наличия этих непространственных явлений в других людях следует заметить, что „чужие непространственные явления (чужая „психика") никогда не наблюдаются и наблюдаться не могут [3])" и относительно их мы можем умозаключать лишь по аналогии, а так как аналогия не знает пределов, то непространственные явления могут быть приписаны любому объекту, включительно до звезд, минералов и т. д. Таким образом по Э. Енчмену каждый человек может быть убежден только в наличии у себя самого психики, только, так сказать, в своей одушевленности; что же касается наличия психики у других, то он не может утверждать этого, хотя бы такое утверждение этого другого по отношению ко мне и приводило к очевидному абсурду, каковым должно быть тогда признано и мое соллипсическое утверждение, что только я один обладаю этими психическими явлениями и ничего не могу сказать о наличии того же у других людей.

Но если даже встать и на соллипсическую точку зрения Э. Енчмена, допустивши наличие этих непространственных явлений в себе самом, то спрашивается, как же они могут быть непространственными, если я их нахожу в себе самом, т.-е. в определенном пространстве. „Непространственные явления, наблюдаемые в себе самом"—это такое же абсурдное сочетание понятий, как и вышеуказанное положение о

[1]) Теор. ов. биол., с. 11.
[2]) Теор. нов. биол. и марксизм, с. 3.
[3]) Там же, с. 7.

различении „непространственных явлений опыта". Поэтому вполне ясными становятся и дальнейшие предикаты, которые присоединяет к этим „непространственным явлениям" Э. Енчмен. „Непространственные явления ни в одиночку ни группами не могут иметь названий" [1]), по Э. Енчмену, ибо „слова—это цепи органических движений, цепи рефлексов", а так как „непространственные явления никогда не вызывают пространственных явлений" [2]), т.-е. не могут быть причинами их, то ясно, что „непространственные явления не могут вызывать органических движений и понятно, что они не могли образовать и слов" [3]). А если таковые названия непространственных явлений и существуют, вроде „дух", „душа", „сознание", и тому подобных, то лингвистический анализ этих слов определенно говорит, что все эти слова обозначают лишь пространственные явления, и если были приписаны к непространственным явлениям, то это было сделано лишь „идеологическими агентами эксплуататорских классов" [4]). Наконец Э. Енчмен характеризует непространственные явления, как такие, к которым „человек не обнаруживает и никогда не обнаружит никакого интереса; непространственные явления никогда не вызывали и никогда не будут вызывать никаких реакций в организмах, следовательно, в частности, и реакций интереса к себе [5]).

Ко всему этому необходимо еще прибавить одно существенное положение, выдвигаемое Э. Енчменом для характеристики психических процессов. В то время, как обычно понятие „одушевленный", т.-е. обладающий психикой, отождествляется с понятием „живой", т.-е. обладающий движением, Э. Енчмен резко разграничивает эти понятия, считая, что „жизнь—это слово, означающее вовсе не одушевление, т.-е. наличие психики, а особый род движения,—именно движения рефлексами—и больше ничего" [6]). Таким образом, из понятия психического явления вылущается всякое отношение к каким бы то ни было жизненным процессам, т.-е. движениям.

Итак, вот какова характеристика психических процессов Э. Енчменом: они—непространственны, беспричинны, безымянны, безинтересны и безжизненны.

Вышелушивши таким образом из психических процессов какое бы то ни было содержание, Э. Енчмен ставит себе вопрос: „Но что же это за реальность, что это за действительность: слова—непространственные явления". И отвечает: „Это сложная пространственная

[1]) Там же, стр. 5.
[2]) Там же, стр. 7.
[3]) Там же, стр. 8.
[4]) Там же, с. 13.
[5]) Там же, стр. 28.
[6]) Там же, стр. 3.

физиологическая реакция речи" [1]), которая противостоит другой такой же словесной реакции—„пространственные явления". И на этой-то почве и возникает тот „первый, великий, вечный дуализм пространственного и непространственного, который, по Э. Енчмену, всегда предстает перед нами в двух видах: 1) с одной стороны—это дуализм пространственных и непространственных явлений... и 2) с другой стороны, это дуализм двух чисто пространственных явлений: одного пространственного явления—человеческой физиологической словесной реакции—„пространственные явления", и второго, столь же пространственного явления—человеческой физиологической словесной реакции: „непространственные явления" [2]). И вот в историческом ходе вещей, „для определенных корыстных целей, насильственного, целыми тысячелетиями, человеческим физиологическим речевым реакциям—„непространственные явления", давались общие имена, общие клички с „непространственными явлениями", вроде кличек: „душевные явления", „субъективные явления", „психика", „мышление" и т. д." [3]), и отсюда-то и берет свое начало этот „первый великий, вечный дуализм „пространственного" и „непространственного" [4]),

Итак, все, что приписывалось и приписывается наблюдаемым в себе „непространственным явлениям" есть не больше как только голый вербализм, изобретенный, по Э. Енчмену, „идеологическими агентами эксплоататорских классов". Сами же по себе „непространственные явления не могут, с точки зрения Э. Енчмена, образовывать в организмах никаких слов, следовательно, о непространственных явлениях невозможны суждения, хотя бы и ложные; непространственные явления к тому же не могут вызывать никаких реакций интереса к себе; поэтому, по словам Э. Енчмена, неизбежное полное игнорирование непространственных явлений не может вызвать в организмах никаких,—полностью выдуманных эксплоататорами для других целей,—„гносеологических", „теоретико-познавательных" трагедий" [4]).

Таков окончательный вывод Э. Енчмена.

Во всем этом анализе ваше внимание больше всего привлекает это последнее заключение об „игнорировании" непространственных явлений. Казалось бы, если психические явления наделяются такими вышеуказанными предикатами, как непространственные, беспричинные, безымянные, безынтересные и безжизненные, из которых, как мы видим, нет ни одного положительного, то вопрос мог бы итти

[1]) Там же, стр. 35.
[2]) Там же, стр. 40—41.
[3]) Там же, стр. 42.
[4]) Там же, стр. 56.

не о чем ином, как о их полной фиктивности, а тем самым и о их полном ликвидировании, но Э. Енчмен не встает на этот казалось бы последовательный путь, ибо даже он прекрасно понимает, что каждый „в себе самом наблюдает непространственные явления“ [1]) и именно, как подчеркивает. Э. Енчмен, „только в самом себе и больше ни в ком и ни в чем—никогда“ [2]). Поэтому то он их и вносит в число своих пятнадцати анализаторов, потому то он и настаивает на том, что „вся сумма индивидуального, органического опыта, путями самого опыта, средствами, практикой самого опыта, после всегда долгих, всегда продолжительных исканий,—разделяется, дифференцируется организмом на две области: на сумму пространственных явлений опыта и сумму непространственных явлений опыта“ [3]). Следовательно, эти непространственные явления в индивидуальном опыте каждого существуют, но они лишь не могут, по Э. Енчмену, выйти за пределы этого личного опыта, ибо, как мы видели, они и беспространственны, и беспричинны и т. д. Но тогда возникает вопрос: что же это за таинственный объект—эти непространственные явления, о которых нельзя иметь никакого суждения, которые не являются ни причиною, ни следствием, которые не имеют действенного значения в жизненных процессах и которые тем не менее существуют, хотя бы и наглухо закапсулированными, в самонаблюдении отдельного человека, и которые, несмотря на все это, предлагается не ликвидировать Э. Енчменом, а только „игнорировать“? Что же это такое, как не все тот же умопостигаемый объект, нечто вроде вещи в себе, что составляет зерно и исходный пункт всяких метафизических построений и что так именно и характеризуется, особенно теологами, как объект (в их понимании—божество), о котором, как и о непространственных явлениях Э. Енчмена, можно сказать лишь, что они не есть ни то, ни другое, ни третье, (не пространственны, не жизненны и пр.), но о которых нельзя утверждать ничего положительного, кроме того, что они даны во внутреннем личном опыте человека.

И в этом отношении Э. Енчмену несомненно не удалось ликвидировать психические процессы, а удалось лишь их изолировать от всякого познания, закапсулировав в самонаблюдении воспринимающего их субъекта. И в известной степени прав тот его оппонент-читатель, который называет Э. Енчмена агностиком, сколько бы Э. Енчмен ни отмахивался от этого указанием на непонятное содержание для него этого слова и „запоздалый“ характер этого упрека,

[1]) Там же, стр. 4.
[2]) Там же, стр. 18.
[3]) Восемнадцать тез., стр. 16.

как „лишенного всякого смысла в условиях пролетарской диктатуры“. Но чувствуя недостаточность своей этой аргументации. Э. Енчмен недаром оговаривается, что „если это наше, второе по счету, возражение покажется читателю не сразу достаточно понятным в столь в высшей степени краткой, но вместе с тем, пока вполне достаточной для наших целей формулировке, в какой мы его сейчас изложили, пусть он совершенно оставит это возражение на время без внимания [1]).

Не менее прав читатель-оппонент Э. Енчмена, указывая на моменты дуализма в системе теории новой биологии. Читатель говорит: „С одной стороны, пространственные явления и непространственные явления остаются у вас навеки разделенными, и не сводятся друг на друга,—а это явный признак дуализма; но, с другой стороны, на практике, ваш „дуализм“ оказывается настолько крайним монизмом, что я еще ни один раз не встречал такого крайнего монизма, я попробую сказать, хотя знаю, что вы запротестуете—такого „материалистического монизма“, каким является ваш „дуализм“ [2]). Каков на практике „материалистический монизм“ Э. Енчмена, мы рассмотрим это ниже, но что теоретически это есть дуализм и дуализм рафинированного порядка, в этом нет никакого сомнения. Дело в том, что то непространственное, с которым имеет дело Э. Енчмен, и которое он отождествляется с психичееким, не может быть этим психическим, поскольку ему приписывается Э. Енчменом, не говоря уже о других качествах, хотя бы отсутствие наличности движения, активности, в то время как даже умозрительная психология, особенно в учении о воле, всегда характеризовала последнюю, как активную сторону психики, реализующуюся в импульсивных, рефлекторных и т. п. движениях. Поскольку Э. Енчмен очистил понятие психического от всякого присущего ему двигательного характера и приписал ему, как мы видели, такие предикаты, как—непространственное, беспричинное и пр., поскольку он в своем „непространственном“ получил рафинированный образчик духовного, предлагая в первых своих анализаторах резко отличать в индивидуальном опыте человека—пространственное от непространственного; замуровывание непроницаемой броней этого „непространственного“ для познания и предложение „игнорировать это „непространственное“ не освобождает, к сожалению, системы Э. Енчмена, столь монистически выдержанной в остальных анализаторах, от упрека в дуализме, сколько бы сам он при этом не громил „бессмысленную философскую болтовню о „материи“ и „духе“, которой переполнены десятки книг по философии марксизма, книг, из которых некоторые написаны даже самыми близкими друзьями Маркса“ [3]).

[1]) Теор. нов. биол. и маркс., с. 26.
[2]) Там же; с. 23.
[3]) Там же, с. 45.

Но и практический монизм Э. Енчмена не строго выдержан и несомненно с идеалистической искрой. И сколько бы Э. Енчмен не говорил, что „теория новой биологии—это прямое и неизбежное развитие подлинного ортодоксального марксизма“ [1]), лучше всего эта ортоксальность проверяется на анализе живых конкретных примеров. Как раз Э. Енчмен и дает нам этот конкретный пример, когда он соблазняет человеческий организм теми радужными перспективами, которые откроются перед ним после введения в себя всех пятнадцати анализаторов. Этот конкретный пример мы приводим выше: он касается тех необычайных открытий, которые удалось сделать Э. Енчмену, введя в себя эти пятнадцать анализаторов, когда он „первый, кто за тысячелетия прорвался к пониманию истинного смысла проблем библейской и христианской религии“. Со свойственной Э. Енчмену резкостью критикует он теории „Спенсеров и Тейлоров“, „Каутского и Луначарского“ за их социально-экономические попытки объяснить происхождение понятий Бога и Сатаны олицетворением благоприятствовавших или неблагоприятных ведению хозяйства сил природы, и взамен этого предлагает свою теорию, согласно которой „в библейской религии в понятии Бога художественно отражалось общебиологическое понятие органической радостности, а в понятии Сатаны—понятие органического угнетения“ [2]).

Мы не будем говорить уже о том, насколько прав Э. Енчмен, олицетворяя в библейском суровом карающем Иегове—оптимум радостности, нам хочется сейчас лишь указать, насколько эта насквозь психологическая теория—радостности и угнетения—в которой проглядывает то „непространственное, психическое, интроспективное“, о чем, казалось бы, по Э. Енчмену, не должно быть образовано никаких слов и никаких суждений,—насколько эта теория находится в большем согласии с ортодоксальным марксизмом, нежели теория олицетворения сил природы в хозяйстве. В этом отношении последовать призыву Э. Енчмена о переоценке современных идеологий на основе данного им примера—это значило бы поддерживать те теории, которые, несомненно, подлежат ликвидации с точки зрения марксизма.

И причиной такой непоследовательности и даже противоречивости в суждениях и выводах и у Э. Енчмена, как и у И. П. Павлова и В. М. Бехтерева, является только одно—это боязнь включить в число естественно-научных объектов и то, что мы называем психическими процессами. На этой почве у И. П. Павлова, несмотря на его признание, что „субъективные состояния есть для нас первостепенная действительность, они направляют нашу ежедневную жизнь, они обусловливают прогресс человеческого общежития“ создается странное противоречие, что „одно дело—жить по субъективным состояниям и другое—истинно-научно анализировать их механизм“ [1]). Выходит, что то, что является „первостепенной действительностью“, что направляет не только „нашу ежедневную жизнь“, но и „прогресс человеческого общежития“—это не может быть в то же время предметом истинно-научного анализа,—надо ли подчеркивать кричащую противоречивость этого основного во всех исследованиях И. П. Павлова положения.

[1]) Там же, с. 24.

[2]) Восемн. тез. теор. нов. биол., с. 36.

В. М. Бехтерев также потратил немало усилий на критику „субъективных“ состояний и „субъективной“ психологии, и, совершив круг через „объективную“ психологию и „рефлексологию“, пришел в последнем своем издании этой „рефлексологии“ к признанию, что „было бы большой ошибкой признавать, что субъективные процессы совершенно лишние или побочные явления в природе (эпифеномены), ибо мы знаем, что все лишнее в природе атрофируется и уничтожается, тогда как наш собственный опыт говорит нам, что субъективные явления достигают наивысшего развития в наиболее сложных процессах соотносительной деятельности“ [2]). А это привело его к признанию „возможного и даже неизбежного в будущем построения рефлексологии с особым рассмотрением субъективных явлений“ [3]). Если учесть, что на этом самом месте текста второго издания „Рефлексологии“, в первом издании той же книги речь идет о „субъективной“ психологии [4]), то станет ясным, что эта „субъективная“ рефлексология и если не что иное, как та самая „субъективная“ психология, из критики которой В. М. Бехтерев когда-то вышел и к признанию которой он теперь пришел.

Что касается Э. Енчмена, то всю стройность своей „монистической“ системы он нарушил ни чем иным, как стремлением отделаться все от тех же „субъективных“, „непространственных“ явлений, закапсулировавши их в непознаваемый, но данный в самонаблюдении, объект.

Выход из этих чрезвычайно ценных исканий и построений только один: признание того, что и так называемые психические процессы есть такие же объекты естественно-научного изучения, как и всякого рода другие процессы, происходящие в каждой высокоорганизованной клеточной материи, каковым в частности является человеческий организм. А для этого необходимо отделаться от остатков мифологического представления об этих процессах, как „непространственных“, „недеятельных“ и т. п., ибо таковых объектов не

[1]) Павлов. Там же, с. 157.

[2]) Бехтерев. Общ. осн. рефлекс. человека, стр. 78.

[3]) Бехтерев. Общ. осн. рефлекс. челов. 1923 г., стр. 345.

[4]) Бехтерев. Общ. осн. рефлекс., 1918 г., стр. 128.

знает наука. Что же касается значимости в процессе познания, то формула, которую я дал в своем „учении о реакциях человека", по моему является совершенно правильной: лишь при объективном контроле субъективные данные могут иметь научное значение. Вопрос же о том, как наименовать ту научную дисциплину, которая будет изучать эти психические процессы — психологией, рефлексологией или как-либо иначе — это вопрос второстепенного порядка, была бы лишь договоренность в строго материалистическом понимании этих процессов. Но так как на сцену появляется и еще новое название „субъективная рефлексология" В. М. Бехтерева, то если будет позволено и мне принять участие в этом вербальном споре, по моему, ни термин „психологии", ни термин „рефлексологии", а тем менее термины — „субъективной психологии" и „субъективной рефлексологии" не являются соответствующими своему назначению. Одни — узко психологичны, другие — узко физиологичны. С моей точки зрения, к рассмотрению психических процессов нельзя подходить ни с узко-психологической ни с узко-физиологической точки зрения. Только биологическая точка зрения на психические процессы является единственно правильной, и потому не понятие „душевного переживания", заимствованное из умозрительной психологии, и не понятие „рефлекса", заимствованное из физиологии, а понятие р е а к ц и и, как основное биологическое понятие должно быть положено в основу изучения психических процессов. А исходя отсюда и наименование р е а к т о л о г и и, как науки о реакциях человека, с моей точки зрения, является наиболее подходящим и наиболее правильным для указанной выше цели.

К. Корнилов.

Диалектический метод и современное естествознание.

Стенограмма доклада, прочитанного на собрании (IV/23 в редакции журнала „Под знаменем Марксизма").

Тема моего сегодняшнего доклада уже не раз затрагивалась в дискуссионном порядке в М. К., затрагивалась отчасти и в нашей печати, правда, очень мимоходом, — затрагивалась она, главным образом, по поводу того, можно ли поручить преподавание естествознания в наших совпартшколах не марксистам, и нужно сказать, что по этому поводу в нашей среде были большие разногласия. Одни говорят, что в области естествознания все обстоит благополучно, и, выражаясь грубо, марксистам туда нечего совать свой нос. Другие указывают, что в области общественных наук Маркс произвел революцию, а естествознание еще ждет своего Маркса. Таким образом, вы видите, что у нас в этом отношении единодушия нет, и я очень рад, что могу сегодня поделиться некоторыми мыслями с таким компетентным маркситским собранием. Я хочу здесь скорее поставить некоторые вопросы, чем дать ответы. Нужно сказать, что все дискуссии, которые велись по этому поводу на указанных мною собраниях, показали, что самая постановка вопроса для многих неясна. Приходилось слышать, что выступавшие по этому вопросу были не правы, когда они старались показать диалектический процесс в явлениях природы. Им говорили, что если ставить вопрос о диалектическом методе, то нужно заняться тем, поскольку этот диалектический метод применяется естественниками, а некоторые даже указывают, что важнее всего проследить, как исторически изменялись наши методы исследования, наши теории в подходе к изучению природы. Я думаю, что особенных споров тут вести незачем. Для тех, у кого диалектика стоит на ногах, а не на голове, ясно, что если в природе все обстоит, как говорит Энгельс, диалектически, а не метафизически, то и наш процесс изучения должен протекать таким же образом. Я думаю в своем докладе, показать, что в области естествознания можно найти много примеров,

в которых действительно были бы видны все стороны диалектического метода и, таким образом, показать, что диалектический метод не есть что-то искусственное, а есть нечто, непосредственно навязанное нам самой природой. Этим я собственно и ограничусь, а в конце доклада я поставлю некоторые вопросы.

Когда приходится говорить о применении диалектического метода в естествознании, часто указывают, что об основной предпосылке диалектического метода, что „все течет, все изменяется", говорить не приходится, так как это знает всякий, даже не изучавший вплотную естественных наук. Я думаю, что это далеко не так, потому что среди наших естественников до сих пор еще не изжито увлечение Махом, а те, кто стоят на точке зрения Маха, легко могут проглядеть действительные процессы движения в природе, и им может показаться, что во многих случаях в сущности никаких процессов движения нет. Поэтому я позволю себе остановиться на некоторых примерах, обсуждая их с более строгой материалистической точки зрения, которая проводится в кинетической теории материи и в теории электронов, т. е. в той части науки, которая Махом и его поклонниками отрицается. Мах выразился что ионы и электроны представляют нечто вроде „почтенного шабаша ведьм". Поэтому у тех, кто увлекается философией Маха, может создаться односторонее представление, и они могут начать мыслить метафизически там, где для этого нет почвы.

Рис. 1.

Я начну с простого примера: вот барометрическая трубка, наполненная ртутью. В нее вводят каплю испаряющейся жидкости, положим, спирта или эфира. Если мы примем меры, чтобы температура и атмосферное давление не менялись, то все в трубке будет в покое, мы будем иметь дело с равновесием, но те, кто стоит на точке зрения кинетической теории, знают, что здесь все время происходит непрерывный процесс испарения с поверхности жидкости и в то же время процесс оседания пара в жидкость. Таким образом, если мы и видим здесь равновесие, и если при неизменной температуре это равновесие будет существовать целыми годами (если будет поддерживаться искусственно, постоянное атмосферное давление и постоянная температура), то тем не менее это не есть покой, так как здесь все время происходят непрерывно два противоположных процесса: если я нагибаю трубку, капелька жидкости сейчас же увеличивается за счет пара; когда я ее ставлю вертикально, количество жидкости будет наименьшим.

Но еще более интересен пример из области теории электронов. Если я возьму проволочку и буду ее накаливать, то с точки зрения

чистого описания, как этого требует Мах, мы можем подсчитать, какое количество энергии подводится к этому металлическому волоску и какое количество энергии теряется через излучение. На этом подсчете, по Маху, вся наука и оканчивается. Между тем, тот, кто старается вникнуть в механизм процесса, знает, что процесс накаливания сопровождается процессом испускания электронов, что если трубка, в которой находится проволока, замкнутая, то электроны соберутся в некотором количестве вокруг проволоки в виде облака и частью будут возвращаться обратно в проволоку и таким образом получится подвижное равновесие, так что мы не можем рассматривать это явление, как что-то неизменное. Тут происходит непрерывное испарение электронов с поверхности и затем их обратный переход в проволочку. Благодаря тому, что мы имеем дело с электрически-заряженными частицами, очень удобно показать, что тут действительно происходит одновременно два противоположных процесса, так как мы по произволу можем воздействовать на любой из них. Если я помещаю, предположим, накаленную проволочку по оси металлического цилиндра, и если цилиндр будет заряжен положительным электричеством, то он заставит быстрее выходить электроны из проволочки. Я увеличиваю, следовательно, этим испарение электронов. Оказывается, что при этом свечение ослабевает, потому что на процесс испарения электронов, как и на процесс испарения воды, требуется энергия, и она черпается из того запаса который был использован раньше на свечение. Наоборот, если я заряжаю отрицательно цилиндр, то я загоняю электроны внутрь, происходит то же самое, что с жидкостью, когда она оседает. Выделяется, так называемое, скрытое тепло, и наш волосок вспыхивает ярче.

Таким образом, те, кто стоят на точке зрения электронной теории, которые даже в этом случае видят подвижное равновесие, идут гораздо дальше. Тут ясное преимущество диалектической точки зрения перед описательной метафизической точкой зрения философии Маха. То же самое приложимо и в области биологии. Если мы будем изучать внешние формы объектов или их внутренние строение, то можно настроиться на метафизический склад мышления. И, однако, благодаря Дарвину, мы начинаем смотреть на формы, как на явление и объяснять, почему, например, один цветок бывает симметричной формы, а другой правильной. Оказывается, тот, который стоит на вертикальной ножке, бывает правильный, а если он расположен наклонно к горизонту, то под влиянием силы тяжести получается форма симметричная. Существуют опыты, которые показывают, что можно один цветок превратить в другой. Таким образом, мы подходим к этим явлениям, казалось бы застывшим, с точки зрения движения. Можно указать еще на целый ряд примеров из самых

разнообразных областей. В частности если мы рассмотрим солнечную систему, как ее рассматривали до XVIII столетия, то мы будем недалеки от метафизической точки зрения, в смысле Энгельса. Если мы изучаем только периодическое движение, то в этой солнечной системе, мы не видим никакого изменения: все движения неизменно повторяются. Теория Канта-Лапласа пробила первую брешь, и Энгельс основательно указывает, что это была первая попытка взглянуть на видимый астроному мир диалектически. Тем не менее, не пытаясь даже заглянуть в глубь истории солнечной системы, можно изучая одну только ее внешнюю форму, найти интересное указание на исторический процесс. Так, например, в книжке Лоуелля „Эволюция Миров" излагается очень интересная работа самого Лоуелля, касающаяся

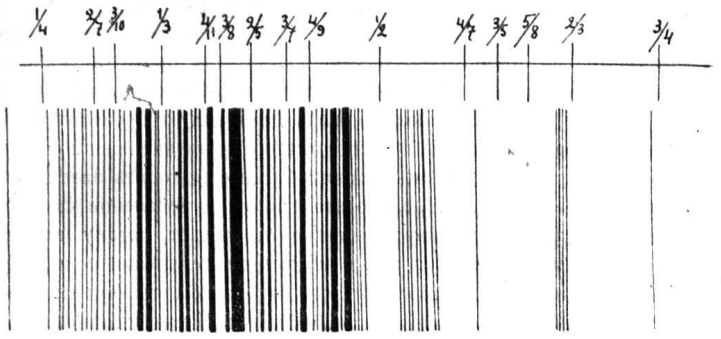


Рис. 2.

распределения орбит, так называемых малых планет или астероидов. Если мы будем откладывать расстояние от солнца на горизонтальной оси (см. рис. 2) и ставить черточки в местах, на которых имеются малые планеты, при чем эти расстояния мы будем выражать через время обращения вокруг солнца, потому что по закону Кеплера квадраты времен обращения планет относятся как кубы средних расстояний [1]). Если мы далее промежутки времени будем выражать в долях времени обращения Юпитера, наиболее массивной планеты, находящейся в соседстве с малыми планетами лежащими между орбитой Марса и Юпитера, то на нашей диаграмме оказывается, что там где время обращения планеты должно было бы равняться $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{5}{7}$ времени обращения Юпитера, на диаграмме нет черточек: т.-е. планет с таким временем обращения не существует. Только там, где время

[1]) Если время обращения Юпитера составляет t_1 суток, время обращения любой малой планеты t_2, а расстояния соответственно равны r_1 и r_2, то по закону Кеплера $\frac{t_1^2}{t_2^2} = \frac{r_1^3}{r_2^3}$

обращения будет не соизмеримо со временем обращения Юпитера, имеются орбиты малых планет. Если мы зачертим те места, где есть орбиты, и оставим свободные промежутки где планеты отсутствуют, получается сразу заметная глазу закономерная картина. Смысл этого закона распределения планетных орбит, совершенно ясен: если время обращения планеты соизмеримо со временем обращения Юпитера, то через определенные промежутки времени, взаимное расположение данной планеты и Юпитера будут повторяться и возмущения производимые Юпитером будут повторяться через определенные промежутки времени, в том же направлении и с той же силой. Если в одном и том же месте орбиты, начинают повторяться через правильные промежутки времени толчки, то они рано или поздно выбрасывают оттуда планету, таким образом получается своего рода естественный отбор. И наблюдаемая нами при изучении строения солнечной системы закономерность наталкивает нас на исторический процесс. Значит, мы опять и в этом случае рассматриваем форму как процесс и подходим к задаче не метафизически, а чисто диалектически.

Что касается второй предпосылки диалектического метода, о том что все явления стоят в связи друг с другом, то и о ней многие товарищи говорят, что в области естествознания она представляет собой положение до того очевидное, что не стоит на ней останавливать внимания. Мой опыт в Свердловском Университете показывает, что на эту сторону все таки очень часто приходится обращать внимание, и часто затруднения при изучении естественных наук и особенно физики возникают именно потому, что люди забывают эту основную предпосылку диалектического метода. Возьмем следующий пример. Кто не знает, как часто у неопытных преподавателей и лекторов не удаются опыты. А что это значит? Это значит, что не были приняты во внимание те или другие существенные факторы данного явления. Я бы сказал, что, пожалуй самая важная часть лабораторных занятий заключается в том, что учащийся научается принимать в расчет такие мелочи, которые раньше ускользали от его внимания. Вот еще один пример из моей практики в Свердловском Университете: объясняешь, что при трении получается тепло. Сейчас возражают: я еду на автомобиле против сильного ветра, и мне холодно, а между тем получается сильное трение кожи, лица о воздух, значит ваши объяснения неправильны. Приходится указывать, что поверхность кожи влажна, что при ветре происходит усиленное испарение —испарение и вызывает поглощение тепла, и вот оказывается, что это поглощение тепла более значительно, чем тепло, получающееся от трения. Таким образом, приходится постоянно напоминать, что нельзя рассматривать явления изолированно. В связи с этим уменьем учитывать всевозможные факторы осложняющие ход явлений, стоит

успех наших предсказаний нашего прогноза, и я думаю, что полезно тем, кто изучает диалектический метод, практиковаться в нем на почве естествознания именно с этой стороны, так как удача и неудача предсказания здесь очень скоро обнаруживается и очень скоро можно заставить отыскать свою ошибку. Приведу еще один пример из более сложных:

По поводу принципа относительности также часто говорят, что гипотеза Лоренца и Фицжеральда, допускающая сокращение любого тела в направлении его движения, и позволяющая обойтись без принципа относительности, надумана и искусственна. Почему это тело будет сокращаться в направлении движения? Между тем, гипотеза Лоренца основана на положениях электродинамики, что два противоположных параллельных тока отталкиваются, а если они текут согласно, то притягиваются. Это такой факт, который, собственно, знает каждый гимназист, и если этот факт принять в расчет, то само собой получается объяснение Лоренца и Фицжеральда. Таким образом при решении задач в одной области очень часто приходится напоминать, что нельзя забывать про весь остальной мир и с этим обстоятельством, как видно, часто приходиться считаться. Теперь переходим к самой сути дела.

Можно ли показать на тех явлениях, которые изучают в физике, химии, механике или биологии, что всякое развитие какого-нибудь явления приводит к противоречию? Это, так сказать самая основа диалектики. Я думаю, можно очень легко показать, что именно в природе дело обстоит и в этом отношении диалектически, а не метафизически. Первый пример будет из области механики Ньютона. Нужно сказать, что с легкой руки принципа относительности стало считаться признаком хорошего тона говорить, что Ньютоновская механика—отжила свой век. Между тем, в теории квант, как я это подчеркнул в моей статье, помещенной в нашем журнале, из одного из противоречий, в которое впала эта новая теория, она выпуталась, только тогда, когда правильно применила „отжившую" Ньютоновскую механику. Я не хочу этим сказать, что Ньютоновская механика нечто абсолютное, и вероятно в недалеком будущем выяснится, где и какую мы должны внести в нее поправку. Но всякий диалектический процесс предполагает, что не все уничтожается и в огромной своей части эта механика долгое время будет служить хорошую службу.

Я бы хотел остановиться на самом основном процессе, который мы изучаем в механике, и показать, что здесь как раз развитие явления приводит к противоречию. Показать это можно на анализе третьей основной аксиомы Ньютона, что действие равно противодействию, но не для тех случаев, когда мы имеем дело с равновесием, а в случае движения. Это вопрос, по поводу которого возникает немало сомнений

у начинающих изучать механику. Говорят, что если эту аксиому мы приложим к движению, то никакого движения не может быть: я начинаю тянуть санки, а санки тянут меня в противоположную сторону и с такой же силой, ясно что значит сани не могут сдвинуться с места. Поэтому следует остановиться на этом явлении, так как это есть в сущности основа Ньютоновской механики. Представим себе доску и на ней груз. Доска будет давить на груз с такой же силой, как он на нее давит и если доска гибкая она будет прогибаться, при этом разовьется сила упругости, которая уравновесит вес груза. Теперь предположим, что мы взяли эту доску в руки и начинаем сообщать грузу через посредство доски ускоренное движение наверх. Отчего доска начала двигаться наверх? Я отрицаю равновесие, которое было раньше. Я увеличиваю силу, с которой доска действует на данное тело, от этого получается ускоренное движение. Но так как закон—что действие равно противодействию, должен выполняться и

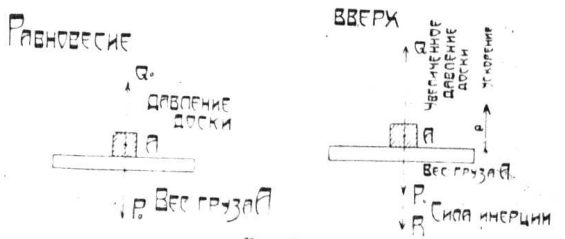


Рис. 3.

Увеличенное давление Q уравновешивается весом + сила инерции, возникающая при движении.

здесь, то ускоренно движущееся наверх тело начинает давить с силой, равной той, с которой я стремлюсь его поднять наверх. Таким образом, пока неравенство между весом тела и силой, которая тянет вверх, существует, замечается ускоренное движение и появляется сила противодействия, которая давит на доску и которая существует только пока происходит ускоренное движение. Когда мы взвешиваем на пружинных весах, то нужно совершенно спокойно держать руку, так как иначе указатель весов прыгает, потому что при колебаниях мы сообщаем висящему на весах телу непрерывные ускорения вверх и вниз и нарушаем равновесие. При дергании весов наверх получается противодействие и тело на весы начинает давить сильнее: оно как будто бы становится тяжелее. Это есть отрицание отрицания.

Я даже по этому поводу захватил с собой из дому 5 фунт. гирю и веревочку, чтобы показать это на опыте. Могу продемонстрировать, что данный груз, которому я сообщу ускорение наверх, начнет тянуть веревку, на которой он висит, сильнее. Я нарушаю равновесие, когда двигаю с ускорением наверх, и у меня вызывается сама собой новая

сила, сила инерции, которая действует в противоположном направлении, по сравнению с силой моей руки. И вы видите от этого противодействия веревка обрывается.

Это опыт очень наивный. Но он затрагивает основы механики. Вычисление сил инерции, проявляющихся при ускоренном движении—одна из важнейших задач техники машиностроения: надо уметь избегать такие случаи, которые я вам показал на примере гири, висящей на веревке.

Нужно сказать, что в сущности, и в самых методах, с которыми мы подходим к изучению механики, тоже можно видеть диалектику, переход к прямой противоположности. Например, когда мы исследуем равновесие. Положим, имеется блок, на котором висят два груза, находящиеся в равновесии. Как мы теоретически высчитываем равновесие? Мы представляем себе равновесие нарушенным. Прилагаем так называемое возможное перемещение и смотрим, какова будет работа всех действующих сил. Таким образом, для изучения равновесия мы предполагаем, что система начинает двигаться. Наоборот в рассмотренном примере, когда доска с грузом подымается наверх, появляется сила инерции, и она уравновешивает тот прибавок силы, который заставил тело, лежащее на доске двигаться вверх. Это есть частный пример лежащего в основе механики принципа Даламбера, который формулируется так: если мы движущуюся систему остановим и прибавим силы инерции, которые появляются только во время движения, то получаем равновесие. Таким образом, движение мы в наших аналитических рассуждениях сводим к равновесию, а равновесие изучаем с помощью движения.

Рассмотрим несколько частных примеров, довольно поучительных. Мы ведем смычок по струне. Струна колеблется, и иногда идет прямо навстречу смычку. Процесс, который происходит, когда играют на скрипке, следующий: сначала струна прилипает к смычку (для чего его натирают канифолью) и струна начинает двигаться в ту сторону, в которую двигается смычок, но благодаря этому она должна выгнуться, получается новая сила упругости, которая стремится заставить струну двигаться против движения смычка. Когда сила упругости станет больше силы, с которой ее увлекает смычок, струна срывается и начинает двигаться навстречу движению смычка; по инерции она переходит через положение равновесия, замедляется и опять увлекается движением смычка, происходящим все время в одну и ту же сторону. Таким образом, одно движение может вызывать другое движение прямо противоположное.

Остановлюсь еще на примере из области учения о тепле. Тут мы встречаемся опять с борьбой противоположных течений. Положим, теперь весна. Солнце дает все больше и больше тепла, температура

должна повыситься, а вследствие повышения температуры, усиливается испарение и таяние—процесс противоположный, который понижает температуру. Заметим далее, что в термодинамике был установлен закон ле-Шателье Брауна, который носит чисто диалектическую формулировку (несмотря на то, что Ле-Шателье хороший католик и ходит исправно в церковь): „всякое изменение величины, определяющее равновесие системы, вызывает такое изменение состояния в этой системе, которое стремится препятствовать изменению данной величины". То-есть, например, вы повышаете температуру, и это вызывает процесс, который стремится ее понизить.—Это общий закон.

Вот пример из другой области: основной закон электро-динамики, закон Ленца—„наведенный ток своим электромагнитным действием противится наводящему движению".

Далее, в области магнетизма можно наблюдать то же самое.

Тело, которое способно намагничиваться, мы представляем себе состоящим из элементарных молекулярных магнитов. У такого ненамагниченного тела нет полюсов. (Рис. 4а). Для того, чтобы намагнитить такое тело,—получить полюсы, мы подвергаем его внешнему воздействию, и тогда все молекулы устанавливаются рядами, но как только этот хаос мы превратим в организованное целое, появляется размагничивающее действие концов. Северный полюс будет прилегать к соседнему северному, рядом лежащего магнита (см. рис. 4), они будут отталкиваться и весь ряд будет расстраиваться. Поэтому приходится применять особые меры, чтобы получать замкнутые цепи, чтобы не было свободных концов, иначе они будут действовать размагничивающим образом. Можно для проверки этой теории взять в качестве магнитов маленькие стрелки и посадить их на иголки, чтобы они могли свободно вращаться. Если застучать по столу, иголки станут, как попало. Если поднести магнит, они все ориентируются таким образом, чтобы стать по определенному направлению. Если же убрать магнит, то вы через некоторое время увидите, как то одна, то другая стрелка повернется и произойдет снова размагничивание.

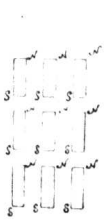


Рис. 4.

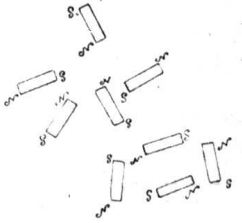


Рис. 4а.

Теперь возьмем примеры из области биологии. Возьмем действие ферментов, которые при известных условиях могут оказывать прямо противоположные действия. Вместо разложения давать синтез и наоборот. Возьмите хлорофил, который образуется в листе под действием света, и под действием света же выцветает, разрушается. Словом, таких примеров можно привести сколько угодно. Интересный пример

можно взять из книжки Павлова, относительно, так называемых, условных рефлексов. Положим, что животное во время кормления заставляют слушать какой-нибудь звук—фактор совершенно индифферентный, не имеющий отношения к пище. Если во время кормежки мы будем постоянно повторять его, то с течением времени самый звук становится условным раздражителем, получается условный рефлекс и выделяется слюна, слюнная железа начинает работать. Павлов делал такой опыт: кормление задерживалось:—звонок звонит, а есть дают несколько позже. Первое время слюна выделяется. Потом меньше и меньше и, наконец, прекращается выделение слюны, и только, если очень долго производить эти опыты, то после звука слюна начинает выделяться через тот промежуток времени, который отделяет обыкновенно звук от кормления. В течение же этого промежутка времени между звуком и кормлением слюна задерживается, потому что для организма, с дарвиновской точки зрения, важно задерживать слюну, не тратить ее попусту и важно подогнать ее выделение ко времени, когда будет принята пища. Вырабатывается, следовательно, процесс обратный возбуждению, процесс торможения. Этот процесс торможения, как указывает Павлов, иногда распространяется на всю мозговую кору, и тогда наступает сон. Когда очень долго тянут с пищей после предупреждения, наступает торможение и вызывает процесс прямо противоположный возбуждению—сонливость.

Теперь переходим к вопросу о триаде. Это один из спорных вопросов в области естествознания. Известен спор Плеханова с Михайловским. Мне кажется, что вся ошибка в том, что в области естествознания при рассмотрении какого-нибудь процесса, мы берем произвольно довольно маленький интервал, так что в него может не уложиться вся триада. С другой стороны, и процессы природы могут быть настолько сложны, что они не укладываются в эту простую схему. Если рассматривать не такие процессы, как, например, намагничивание, которое можно получить в 5 минут или явление условного рефлекса, а обратиться к исследованию происхождения солнечной системы, или по крайней мере системы земли и луны, то мы увидим всю эту триаду. Один пример очень хорошо разобран Тер-Оганесовым в журнале „Под знаменем марксизма". Он разбирает теорию Дж. Дарвина, который исследовал явления приливов. Дарвин показал, что земной шар вращается в жидкой оболочке, при чем эта оболочка ориентируется всегда на луну. А так как луна обращается вокруг земли в 28 суток, а земной шар вокруг своей оси в 24 часа, то земной шар будет иметь некоторое относительное вращение по отношению к этой оболочке; иначе он вращается, как ось в медленно поворачивающемся подшипнике. Вследствие трения тормозится вращение земного шара. Дарвин, сделав допущение, что торможение было и раньше, такое

же, как и теперь, показал, что было время, когда земной шар должен был поворачиваться вокруг своей оси гораздо быстрее—всего в течение $3\frac{1}{2}$ часов. Из законов механики, отсюда вытекает, что при таком быстром вращении земли, луна должна была находиться на поверхности земли. Это вытекает из закона сохранения количества движения. Замечу, что в настоящее время у геологов и астрономов идут даже разговоры, что отделение луны произошло вероятно в том месте, где находится сейчас великий океан. Таким образом, идя назад, проанализировав явление трения, возбуждаемого приливами, Дарвин пришел к тому, что было время, когда луна находилась на поверхности земли и тогда время обращения луны совпадало со временем обращения земли. После того как произошло разделение, появилась приливная сила, которая и вызвала такую разницу во время обращения, теперь 28 суток для луны и 24 часа для земного шара, но в дальнейшем эта сила приведет к тому, что месяц и сутки сравняются; таким образом, одна и та же сила вызвала и отрицание, и отрицание отрицания. Но в конце этого процесса получается уже другая система. Мы двигаемся вперед, а не возвращаемся назад. Сначала луна была на поверхности земли, а теперь она отошла. Когда явление приливов прекратится, и земля и луна будут обращаться с одной и той же скоростью, дальнейшего трения не будет и луна остановится там, где ее застанет этот момент. Так что здесь мы видим полную триаду и мне думается, что главная причина заключается в том, что тут взят достаточно большой промежуток времени. А если бы мы не могли расчитывать, что будет дальше и могли только вести расчет в прошлое, то получили бы только отрицание и на этом наша теория и была бы принуждена остановиться.

Дальше я перейду к примеру, который также показывает эту характерную черту диалектического процесса, но в несколько усложненном виде. Это—периодическая система Менделеева, как мы ее понимаем сейчас. Мы теперь знаем, что ядро каждого атома содержит в себе положительные электрические заряды, и когда, мы переходим от элемента гелия к элементу лития, то заряд ядра увеличивается на единицу, когда мы переходим от лития к следующему элементу берилию, то тоже заряд растет на единицу. Таким образом, положение в менделеевской системе определяется свободным зарядом положительного электричества в ядре данного атома. В самом ядре существуют и отрицательно заряженные частицы, так что, например, гелий имеет атомный вес 4, а его порядковое число 2. Ядро гелия состоит, надо полагать, из 4-х атомов водорода, заряженных положительно, и двух электронов, а в результате положительного заряда избыток 2, и этот избыток заряда и определяет положение в менделеев-

ской системе. По числу свободных положительных зарядов ядра у нас будет равняться и число электронов, кружащихся вокруг ядра. У гелия их 2; у лития имеется три наружных электрона; значит, число электронов, кружащихся вокруг ядра атома, соответствует числу свободных положительных зарядов ядра и это число электронов определяет собой и положение в менделеевской системе. Если мы будем итти от гелия к литию, от лития к берилию, от берилия к бору, от бора к углероду, от углерода к азоту, от азота к кислороду, от кислорода к фтору, то, наконец, от фтора переходим к неону, который по своим химическим свойствам напоминает гелий. Здесь мы опять можем говорить, что постепенно, по мере того, как заряд увеличивается на единицу, изменяется скачками качество—от гелия к литию, от лития к берилию, и т. д. и, наконец, мы получили отрицание отрицания, получили неон, элемент сходный с гелием.

Вот тут, если применять эту самую трихотомию, то выйдет не совсем благополучно, потому что здесь 8 степеней. Мы получали новые качества, когда количество зарядов ядра изменялось на единицу, а отрицание отрицания получилось только на 8-ой степени, т.-е. когда мы подошли к 8-му элементу—значит, тут выходит октохотомия. Но можно взглянуть на эту цепь несколько иначе, если исследовать, какие элементы будут электроположительными и какие электроотрицательными. Металлы легко отделяют свои электроны, легко выделяют отрицательные заряды—такие элементы называются электроположительными. На другом же конце менделеевской системы, будут элементы электроотрицательные, которые весьма легко присоединяют к своим атомам лишний электрон, как, например, фтор. Возьмем какой-нибудь типический электроположительный элемент и будем увеличивать заряд ядра, электроположительные свойства переходят в противоположные—электроотрицательные, а к в конце ряда в 8 элементов мы вновь получаем электроположительные. Выходит, как будто это укладывается в триаду. Но если мы рассмотрим процесс более детально, то как мы видели, она распадается на большее число степеней.

В сущности, должен ли настаивать марксист на этой триаде? Плеханов, полемизируя с Михайловским, по поводу примера, который привел Энгельс, с овсом, указывает, что Михайловский настаивает, что цветение есть новое качество, и тут выходит тетрахотомия, а не трихотомия. На это Плеханов определенного ответа не дает, но говорит следующее: судя по учебнику Вантигема, выходит трихотомия, но у Гегеля есть оговорка, что бывают случаи тетрахотомии. „Вот поди и разбери, говорит Плеханов,—Михайловский выступает против Гегеля, Вантигем за Гегеля, а Гегель за Михайловского. Выходит, что „она к нему, а он ко мне, а я к буфетчику Петруше“. Может быть товарищи

выскажутся сегодня, как смотрят на этот вопрос ортодоксальные философы марксисты?

На трихотомию можно найти яркие примеры из того же самого Павлова,—я позволю себе прочесть один из них (стр. 85).

„Этот процесс внутреннего торможения подлежит, как и процесс условного раздражения, в свою очередь, торможению. Мы имеем, таким образом, торможение торможения, иначе говоря, растормаживание т.-е. освобождение заторможенного процесса условного рефлекса. Этими тормозами процесса внутреннего торможения—растормаживателями являются все те агенты, которые я только что перед этим описал, как тормоза условного раздражителя. Я боюсь, что это обильное повторение и склонение слова „торможение“ это нагромождение торможения производит невыгодное впечатление и сделает очень туманною фактическую суть дела. В виду этого я опишу конкретный пример, который, надеюсь, будет в состоянии примирить моих высокоуважаемых слушателей с кажущейся только на первый взгляд, чрезмерной сложностью описываемых фактических соотношений. Я беру один из наших условных раздражителей, например, тон органной трубы в тысячу колебаний в секунду. Благодаря многократному совпадению его с кормлением собаки, он гонит теперь сам по себе слюну, он есть условный раздражитель нашей железы. Теперь я повторяю его несколько раз отдельно, не сопровождая едой. Как уже сказано выше, он постепенно теряет свое раздражающее действие и становится безразличным для железы. Его сделал недействительным механизм внутреннего торможения, он внутренно заторможен. Наконец я присоединяю к тону, сделавшемуся таким образом временно недействительным, какой-нибудь новый агент, например, вспыхивание электрической лампочки перед глазами собаки, никогда никакого отношения к слюнной железе не имевшей, и теперь в отдельности его не имеющий—и сейчас вижу, что мой угасший условный раздражитель снова получил свое раздражающее действие: течет слюна, и собака, только что перед этим во время тона безучастная или даже отворачивающаяся от экспериментатора, поворачивает голову в сторону его и облизывается, как перед предстоящей едой. Нельзя понять положения дела иначе, как только так, что вспышка лампочки затормозила, устранила внутреннее торможение и, таким образом, растормозила, восстановила условный рефлекс“.

Теперь перехожу к последней части моего доклада, в которой позволю себе задать несколько вопросов. Это о переходе количества в качество и о скачках. Если мы обратимся к тем явлениям, которыми в последнее время особенно интересуются физики, то мы встречаемся с этими скачками очень часто. Даже такой осторожный мыслитель, как Планк, создавший теорию квант, где скачок играет

громадную роль, говорит, что нам нет необходимости отказываться от старой науки, наука сейчас прочнее чем когда либо, но нам приходится отказаться от старого предрассудка, что природа не делает скачков. Мы должны сказать, что „природа делает скачки и притом довольно странные". Таким образом, в этом отношении предубеждения против скачков у естествоиспытателей теперь нет. Меня лично интересуют различные типы скачков. Самый простой случай описан у Энгельса и, к сожалению, с ошибкой. Это—переход из одного состояния в другое. Действительно, когда мы переходим от жидкого состояния в твердое, происходит процесс скачкообразный. Но у Энгельса есть неудачное выражение относительно перехода жидкого состояния в парообразное. Он говорит не о кипении, где действительно процесс начинается внезапно, а об испарении. Испарение же растет непрерывно. Ту же ошибку делает тов. Бухарин. Пример выбран удачно, потому что при кипении скачком начинается выделение пара внутри самой жидкости—появляются пузыри, они растут, появляется новое качество, но если говорить об испарении жидкости, то ведь испарение с поверхности происходило, и до этого и даже лед испаряется! Таким образом, пример выбран хорошо, но изложен неудачно.

Другой пример могу привести из области учения о радио-активных процессах. Здесь скачки очень резкие. Мы имеем какой нибудь радиоактивный препарат и исследуем его при помощи метода Крукса: с помощью экрана, покрытого сернистым цинком, мы наблюдаем искры, которые вызываются летящими атомами гелия; при каждом ударе об экран получается заметная для глаза вспышка. Здесь интересно отметить, что частицы, которые летят от радия, по дороге сталкиваются с частицами воздуха и, хотя эти удары по большей части бывают не лобовые, частицы проходят по периферии атома, но при этом процессе они все таки теряют часть своей энергии. Чем больший путь прошла частица, тем меньше она имеет энергии. Оказывается, что если вы будете увеличивать расстояние между экраном и радиоактивным препаратом, то наступает момент, когда искры прекращаются. Для того, чтобы вызвать свечение, нужна минимальная скорость. Здесь количество переходит в качество. Происходит непрерывное уменьшение скорости, но при некоторой определенной скорости вспышка прекращается. Если мы с помощью таких же частиц вызываем процесс ионизации и удаляем источник частиц, то ионизация прекращается также внезапно—скачком, так же быстро исчезает и действие на фотографическую пластинку. Это несомненно объективное явление, а не особенность нашего глаза. Нужна минимальная скорость, чтобы производить эти процессы. Скачки получаются удивительно резкие. Пробег частицы до того места, где она не вызывает свечения—„свободный пробег" можно измерить с точностью до одной десятой доли

миллиметра. На этом приеме основан метод анализа радиоактивных веществ, так как различные вещества посылают частицы, имеющие различной длины „свободный пробег".

Чтобы показать „скачки" в другом роде я сейчас позволю себе рассказать об одном воображаемом опыте. С легкой руки Эйнштейна это стало модным занятием. Представим, что я взял заряженное тело и зарядил его электричеством как можно сильнее, потом я начинаю раскачивать этим телом. Предположим, что мне предоставлена возможность вызывать колебания, какие угодно частые. Что тогда получается? Положим, что это тело, которое я держу в руках колеблется 50 раз в течение секунды вверх и вниз. Получаются электрические колебания такие примерно, как в этих проволоках, которые ведут к нашим лампам. Представим себе, что я в десять раз увеличиваю частоту колебаний, заставляю колебаться пятьсот раз в секунду. Тогда я получаю электрические колебания, которые всегда получаются в телефонных проводах, когда мы говорим по телефону. Сделаем еще шаг: возьмем 500 тыс. колебаний в секунду. Такие колебания происходят на наших радиостанциях. Сделаем опять шаг: возьмем 5×10^{10} (5 с десятью нулями!) Это будет частота колебаний, которую мы получаем в лаборатории, она примерно дает волны в 6m/m, которые получал покойный профессор Лебедев. Затем возьмем колебания числом 5×10^{12} в секунду. Если бы мне удалось качать рукой электрический заряд с такой частотой, то вы бы почувствовали, что из моей руки исходят тепловые лучи, как из печки. Это были бы тепловые лучи невидимые для глаза, так называемые „инфракрасные". Если довести частоту колебаний до 5×10^{14}, то вы бы увидели у меня в руках болтающуюся желтую звездочку—источник света, испускающий желтые лучи. По мере увеличения количества колебаний, мы бы прошли через все цвета спектра и при 5×10^{15}, мы получили бы волны, на глаз не действующие, а действующие на фотографическую пластинку—мы получили бы так наз. ультрафиолетовые лучи. При колебании 5×10^{18} мы получили бы лучи Рентгена, которые имеют всем известные замечательные свойства и наконец последний шаг—5×10^{21}—лучи радия, самые жесткие лучи типа рентгеновских из числа полученных до сих пор. Эти лучи могут проходить сквозь большую толщу свинца. К ним постепенно приближаются по свойствам те рентгеновы лучи, которые мы получаем из новых усовершенствованных трубок Рентгена. Все это вместе является очень хорошим примером перехода количества в качество. Сколько мы перечислили качеств, и в основе всех их то или другое количество—число колебаний электрического заряда. Но везде ли здесь резко выраженные скачки? Возьмем видимый глазу спектр—радугу. Все эти отдельные оттенки отличаются числом колебаний, которые мы

можем определить при помощи спектрометра. Но где в спектре можем мы сказать, что вот тут кончается красный цвет и начинается оранжевый? Здесь переход незаметный. Здесь количество переходит в качество так, что мы скачков не замечаем. Если же мы будем переходить от одного места спектора к другому через большие интервалы, то скачок будет сразу заметен. Сходные примеры вы найдете и у Плеханова. Он говорит о том, что вот человек стареется, седеет, волосы выпадают, но как определить момент, когда появилась лысина? Здесь мы имеем дело с такого рода переходом количества в качество, когда резких скачков не видно.

Я буду останавливаться теперь только на тех случаях, которые вызывают некоторое сомнение в том, кто желает во что бы то ни стало видеть резкий скачок. Я приведу картинку из книги моего отца „Исторический метод в биологии". На картине изображены переходные формы от одной ракушки к другой. Если взять конечные звенья цепи, то ясно видна разница, но указать, на промежуточных

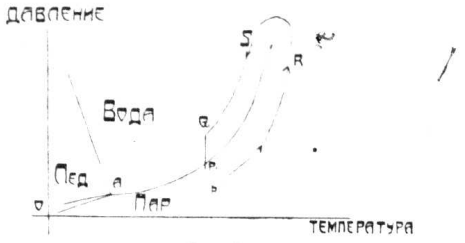


Рис. 5.

формах где кончилась одна форма и началась другая, мы не можем. По этому поводу в этой же книге приводится случай с одним каррикатуристом, который изобразил Людовика Филиппа в виде груши и был привлечен к суду за оскорбление величества. На суде он в несколько минут изобразил портрет Людовика и представил судье с вопросом, можно ли изображать короля таким образом. Тот сказал, что в этом портрете нет ничего предосудительного. Тогда в несколько минут он набросал полтора десятка картин, на одном конце которых был Людовик, а на другом—груша, и предложил указать, где кончается дозволенное и где начинается оскорбление величества. Я думаю, что раз дело идет о чем-то очень сложном, как в этих последних примерах, то изменение распадается на ряд частей, от каждой картины к другой есть скачок в каком-нибудь месте, в какой либо определенной черте, в каком либо одном отношении, а мы обращаем внимание на все сразу, где этот скачок теряется среди тех сторон явлений, где идет еще непрерывный процесс. Другими словами здесь мы имеем ряд скачков, а не один-

Пожалуй, в заключение, с провокационной целью, чтобы побудить товарищей высказаться, я укажу еще на один пример из области физической химии. Это случай с так называемой критической температурой. Я укажу один случай, где скачок получается, но где иногда можно обойтись и без скачка! Положим, что мы занимаемся изучением вопроса об упругости пара в зависимости от температуры. Известно, что упругость пара по мере повышения температуры растет. Изобразим это кривой (см. рис. 5). Недалеко от 0° С мы имеем так наз. тройную точку; эта тройная точка отличается тем, что при соответствующем ей давлении и температуре, лед, вода и пар могут существовать вместе в равновесии. Дальше тут идет кривая упругости пара льда и кривая упругости переохлажденной воды. Проведу еще кривую, которая отделяет лед от воды. Чем выше давление, тем ниже температура плавления. Если мы рассмотрим состояние вещества, находящегося здесь в точке P_1, то это будет пар. Не забудем, что на вертикальной оси отложено давление. Если я начну повышать давление, я приближаюсь к насыщенному состоянию P_0, здесь начинается переход из пара в жидкость скачкообразно. Если по этой диаграмме мы будем пересекать кривую, то будет скачкообразный процесс, но пойдем дальше по кривой, которую я начертил. При некоторой температуре пропадает различие между паром и соответствующей жидкостью. Это—критическая температура. Здесь наша кривая оканчивается. Пока не достигли для воздуха, водорода и других газов, соответствующей им критической температуры, как не сжимали их, жидкости не получали. Для каждого вещества существует температура, при которой пар перестает отличаться от жидкости. Здесь мы не можем уже сказать, где пар, и где жидкость, потому что они совпадают по свойствам. Если же я буду изменять состояние вещества так, чтобы обойти эту кривую, то скачка не получится. Я из состояния P, где был несомненно пар перехожу в область жидкости Q и не смогу сказать, где я перешел из пара в жидкость. На этом позволю себе закончить свой доклад. Я думаю, что даже из тех немногих примеров, которые мне удалось привести вам сегодня, ясно, что мы в естественных явлениях видим все основные черты диалектического процесса. Тысячу раз был прав Энгельс утверждая, что в природе в конечном счете все происходит диалектически, а не метафизически. Но в деталях—в том, где нужно искать скачок и как надо его понимать; везде ли скачок одинаков. Я бы хотел получить ответ от многих присутствующих здесь марксистов специально занимавшихся философией.

Примечание: В заключительном слове после прений докладчик дал следующие разъяснения по поводу последнего примера.

Критическое состояние только при поверхностном исследовании представляется как непрерывный переход от жидкости к газу. При более тщательном исследовании оказывается, что вблизи критического состояния вещество обладает особенным свойством давать как бы сгустки, превращаясь в оптически неоднородную среду, напоминающую по виду воду, к которой прибавлено немного молока. Эта неоднородность объясняется тем, что при температурах, близких к критической значительным изменениям плотности, соответствует ничтожное изменение давления. Таким образом, если при хаотических движениях частиц (а эти движения всегда вообще существуют в газообразной и жидкой среде), в какой ли бочасти занятой данной средой соберутся частицы в избытке по сравнению со средней плотностью, то так как давление от этого заметным образом не изменится, такой „сгусток" может просуществовать некоторое время. Отсюда мы видим, что при подходе к критическому состоянию, все равно от жидкости ли, или от газа, мы в сущности вступаем в новое состояние, и таким образом вряд ли и в этом случае можно говорить о непрерывном переходе из жидкости в пар.

А. Тимирязев.

В плену у релятивизма.

„Релятивизм, как основа теории познания, есть не только признание относительности наших знаний, но и отрицание какой-бы то ни было объективной, независимой от человека существующей мерки или модели, к которой приближается наше относительное познание" (133 стр.).

„Меньшинство новых физиков, под влиянием ломки старых теорий великими открытиями последних лет, под влиянием кризиса новой физики, особенно наглядно показавшего относительность наших знаний, скатились, в силу незнания диалектики, через релятивизм к идеализму"(365).

„Ни единому из этих профессоров, способных давать самые ценные работы в специальных областях химии, истории, физики, нельзя верить ни в едином слове, раз речь заходит о философии" (349).

В. Ленин. 1908 [1]).

Из статей, помещенных в последней (№ 9—10) книжке журнала „Под знаменем марксизма", особенное мое внимание обратила статья т. А. А. Максимова „О принципе относительности А. Эйнштейна".

Статья эта снабжена эпиграфом—цитатой из книги т. Ленина „Материализм и эмпириокритицизм" [1]), взятой и нами в качестве эпиграфа.

[1]) „Материализм эмпириокритицизм". ГИЗ. 1920 г.

В учености с т. Максимовым я не берусь состязаться, но тем не менее мне кажется, что его статья не выдержана в духе и с точки зрения именно этого эпиграфа. Точнее говоря, эта статья не выдержана с точки зрения марксистской философской теоретики. Больше, она явно и особенно в первой своей части противоречит ей.

Попробуем доказать это—наше утверждение.

Одним из коренных и основных вопросов так называемой теории познания является вопрос о времени и пространстве. Для марксистов это не подлежит никакому сомнению,—и всякая попытка свести этот вопрос к второстепенному, придать ему какой-то частный, „специальный" характер есть явная несуразность и в то же время попытка открыть двери к самому доподлинному идеализму. Поэтому, от тех товарищей, которые берутся за трактовку вопроса о пространстве и времени, следует требовать точности и ясности, уменья не путать и не смешивать различных вещей. Напутать в этом вопросе,—это значит напутать в основном, сделать путанной и никчемной всю нашу марксистскую теорию познания.

Подходя к вопросу о пространстве и времени, тов. Максимов говорит:

„Принцип относительности не только с особой силой вновь, после неоднократно делавшихся ранее попыток, утвердил относительность пространства и времени, но и широко, как никогда, популяризировал такое воззрение. Можем ли мы согласиться с относительностью понятий пространства и времени или должны считать их абсолютными, т.-е. всегда и везде неизменными?"

Читая эти строки, вы сразу же задаете себе вопрос: о чем собственно тут идет речь: о понятии пространства и времени или о пространстве и времени, объективных реальностях, независимых от нас?

Этот вопрос совершенно законен, ибо мы, марксисты, эти две его стороны всегда различаем,—и должны различать,—в отличие от буржуазных путаников. Больше, если мы хотим дать на соответствующий вопрос правильный и точный ответ,—такое различие для нас совершенно необходимо.

История постановки и попыток решения вопроса о пространстве и времени дает богатую иллюстрацию того, как даже люди, искренно желающие быть марксистами, скатывались к махизму, к голому релятивизму, коль скоро они не умели соблюсти этого различия.

Самое главное тут то, чтобы знать, чтобы уметь понимать что восприятие нами через наши органы чувств пространства и времени, выработка их понятий,—это одно, а соответствует ли этим

нашим понятиям объективная реальность, независимая от нас,—это другое.

Итак, о чем же идет речь у т. Максимова с этой точки зрения?

Чтобы попытаться на этот вопрос найти ответ,—послушаем, что у тов. Максимова сказано дальше:

А сказано у него следующее.

„Так как,—говорит он,—движение совершается в пространстве и времени, то мы можем сказать, что пространство и время суть формы существования материи и относительны так же, как относительно движение и относителен покой. Таким образом, относительность пространства и времени для нас является необходимым и единственно возможным выводом из всего нам известного о природе или основе ее—материи".

Мы можем здесь уже констатировать с полной ясностью, что т. Максимов имеет ввиду относительность пространства и времени, а не относительность понятий времени и пространства. Текст приведенной цитаты, даже при желании сомневаться в его ясности, обязывает нас сделать именно такой вывод. Поэтому в наших рассуждениях мы должны исходить из этого вывода, тем более, что ниже после анализа примера с Эвклидовой геометрией, т. Максимов аутентично и совершенно категорически заявляет:

„Таким образом, мы окончательно приходим к признанию относительности пространства и времени".

Совершенно очевидно, следовательно, что т. Максимов, ведет речь об относительности именно пространства и времени.

Но если это так, то вышеприведенные утверждения т. Максимова насчет времени и пространства—не верны. Мы определенно заявляем, что в этом утверждении относительности пространства и времени, т.-е. в том, что и пространство и время есть нечто относительное,—нет ничего марксистского. Такое утверждение есть идеалистическое утверждение.

Посмотрим, в самом деле, как обстоит дело с пространством и временем с точки зрения марксизма, с точки зрения материализма.

Тов. Максимов ссылается на Энгельса в определении того, что такое движение. Цитируя Энгельса, он пишет: „Движение есть форма существования материи" (Энгельс. „Анти-Дюринг"). Однако, говоря о пространстве и времени, тов. Максимов почему-то забыл об Энгельсе, а между тем в том же „Анти-Дюринге" мы по этому вопросу находим у Энгельса точное и категорическое положение, именно:

„Основные формы всякого бытия суть пространство и время, и бытие вне времени представляет столь же великий абсурд, как и бытие вне пространства" [1]).

А если вспомнить и Фейербаха (Werke, II, 332), то у него по этому же вопросу найдем следующие строки:

[1]) Ф. Энгельс. „Анти-Дюринг". Изд. Пет. Совета, 1918 г. (Курсив наш).

„Пространство и время—не простые формы явлений, а коренные условия... бытия" (Курсив наш).

Эти два утверждения с несомненностью показывают, что пространство и время есть не что иное, как объективные реальности. Это, следовательно, есть не только понятия, которые и только которые—разумеется, изменчивы и потому относительны,—но и нечто такое, что существует вне нас, независимо от нас, как объект, воздействующий на наши органы чувств.

Понятия о пространстве и времени, представление о них—относительны, изменчивы. Но это обстоятельство ни в коей мере не колеблет той истины, что и пространство и время, как таковые, есть объективные реальности. Ибо если исходить из того, абсолютно правильного для нас положения, что в мире есть только одна движущаяся материя, то совершенно очевидно, что эта движущаяся материя не может двигаться вне времени и пространства. Это ясно и для т. Максимова. И глубоко прав т. Ленин, когда говорит („Материализм и эмпириокритицизм". Госиздат. 1920 г.):

„Человеческие представления о пространстве и времени относительны, но из этих относительных представлений складывается абсолютная истина (курсив наш И. С.), эти относительные представления, развиваясь, идут по линиям абсолютной истины (курсив наш И. С.), приближаются к ней".

Из этого положения прежде всего явствует, что объективная реальность пространства и времени есть для нас,—и мы это отнюдь не боимся произнести,—абсолютная истина, так же, как абсолютной истиной является для нас движущаяся материя. Движущаяся материя, пространство и время,—это есть по сути дела одна объективная реальность, ибо нет материи без движения, „движения немыслимы без материи" (Энгельс), а движущаяся материя немыслима вне и без пространства и времени.

Итак, выше нами с достаточной точностью и определенностью установлено, что, во-первых, пространство и время как объективные реальности,—это одно дело, а понятие пространства и времени,—это другое дело. Во-вторых, мы показали, что, с марксистской точки зрения, пространство и время—это объективная реальность, независимая от человека, а понятие пространства и времени, представление о них,—как впрочем и всякое представление,—изменчивы, следовательно, относительны.

Посмотрим теперь, как обстоит дело со всем этим у т. Максимова.

Прежде всего нам кажется, что т. Максимов в своих рассуждениях о пространстве и времени утерял грань, которая существует между диалектическим материализмом и релятивизмом. В чем эта грань? Коротко говоря, она заключается в том, что диалектический материализм, признавая относительность наших представлений, понятий и знаний, отнюдь, однако, не отрицает тем самым объективной (абсолютной) истины, т.-е. объективной, независимо от нас существу-

ющей реальности. Следовательно, релятивизм, в концепции диалектического материализма, есть только один из его моментов.

Совершенно иначе дело обстоит с релятивизмом, как с принципом, как с гносеологической основой. Тут для объективной истины, для объективной реальности вообще места нет. Именно эта существенно важная сторона дела и подчеркнута т. Лениным в той цитате, которую мы привели в качестве эпиграфа к нашей статье и которую т. Максимов точно также употребил в качестве эпиграфа к разбираемой нами его статье.

И эта существенная сторона и представляет из себя ту самую грань между релятивизмом и диалектическим материализмом, которую необходимо иметь в виду и которую упустил из виду т. Максимов.

В самом деле, т. Максимов выдвигает следующее положение:

„Противоположное (относительности И. С.) утверждение абсолютного пространства и времени просто немыслимо для нас".

Почему? Мы только что ссылками на Энгельса, Фейербаха и Ленина показали, что для них, и конечно для нас, пространство и время есть объективная реальность, есть объективно сущее,—и это абсолютная истина. Максимов же сие обстоятельство решительно отрицает. Для него это немыслимо.

Если бы речь у т. Максимова шла о понятиях пространства и времени, то мы бы, разумеется, согласились с ним насчет их относительности,—но текст ясен и категоричен.

Как же, однако, аргументирует свое положение т. Максимов?

Пространство и время немыслимы для него, как объективная реальность, независимая от человека, потому что это „потребовало бы существования абсолютно неизменной и неподвижной материи, воплощающей в себе это абсолютное пространство и время. Таковой же материи нет".

Пусть нас извинит т. Максимов, но эта его аргументация никуда не годится. Она представляет из себя чудовищную путаницу.

Марксистская, т. е. единственно научная точка зрения утверждает, что пространство и время, как объективная реальность (а в качестве таковой они для нас абсолютная истина) ни в коей мере не противоречит именно движущейся материи, которая есть также объективная реальность (и это опять таки для нас абсолютная истина). Наоборот, вне времени и пространства и именно вне их, как вне объективных реальностей,—не существует и такая объективная реальность, как движущаяся материя.

„Движение не мыслимо без материи",—говорит Энгельс. „Движение есть форма существования материи"—утверждает он же. Материи без движения нет. Движение немыслимо вне времени и пространства. Вне времени и пространства невозможна и движущаяся материя.

И совершенно нельзя говорить о движущейся материи, если пространство и время, т.-е. то, о чем Энгельс говорит, как об „основной форме всякого бытия" (у Фейербаха—„коренные условия"), без чего бытие есть „величайший абсурд", величайшая бессмыслица,—если, повторяем мы, пространство и время трактовать как относительность, а не как объективную реальность. Нельзя говорить о движущейся материи, если вы отнимете от нее пространство и время, объявив их относительными. Движущаяся материя при этих условиях—ничто, немыслима.

Тут, таким образом, мы имеем дело, если можно так выразиться, с целокупной объективной реальностью.

Спрашивается теперь, откуда же т. Максимов взял, что пространство и время, как объективная реальность, требует обязательно неподвижной, т.-е. не существующей материи? Откуда он взял, что движущаяся материя предполагает лишь относительность пространства и времени?

На эти вопросы, непосредственно вытекающие из аргументации т. Максимова, нельзя дать вразумительного ответа, ибо эта аргументация в корне ложна и запутана. И в конечном счете у т. Максимова получается: неподвижной материи нет, а движущаяся материя, которую он, как материалист, признает, тем не менее в результате его рассуждений, точно также исчезает.

Отчего же все это произошло? Единственно от того, что т. Максимов не только запутался, но и встал, может быть, и сам того не замечая, на точку зрения голого релятивизма. Иначе говоря, грань между релятивизмом, как принципом, и диалектическим материализмом им утеряна. В этом вся суть. В этом — причина того, что хочет или не хочет т. Максимов, а из его рассуждений, из его аргументации всякий сделает вывод: по Максимову выходит все-таки, что никакой, вообще говоря, объективной реальности не существует. Все относительно!..

Подойдем теперь к утверждению т. Максимова об относительности пространства и времени, взяв вместе с ним в качестве логической аргументации вопрос о движении.

В этом вопросе т. Максимов, как мы видели в начале статьи, отправным пунктом берет положение Энгельса: „Движение есть форма существования материи".

„Так как,—говорит далее т. Максимов по этому вопросу,—движение совершается в пространстве и времени", то, следовательно, пространство и время точно так же „суть формы существования материи и,—заключает он,—относительны так же (курсив наш. И. С), как относительны движение и покой".

Тут возникает два вопроса: во-первых, что собственно подразумевает т. Максимов под „движением", во-вторых, откуда у него это словечко „так же"?

Если речь идет действительно о движении, как о форме суще-

ствования материи, как о „присущем свойстве материи“ (выражение самого т. Максимова), т.-е. как о некоей объективной реальности, а не о понятии движения, не о представлении о движении, то говорить об относительности движения здесь не приходится, что тем не менее имеет место у т. Максимова.

Значит, в таком случае констатировать мы должны у т. Максимова опять-таки путаницу и внутреннее противоречие.

Материализм утверждает, что „движение не мыслимо без материи“ (Энгельс). Что оно есть „неразрывное свойство материи“ (Ленин) и что „оторвать движение от материи равносильно тому, чтобы оторвать мышление от объективной реальности, оторвать мои ощущения от внешнего мира, т.-е. перейти на сторону идеализма“ [1]) (Ленин).

Утверждение, что движение есть „форма существования материи“, означает, что вне этой формы материи не существует, следовательно, вне этой формы, т.-е. без движения она (материя) не может воздействовать на наши органы чувств, а это именно и означает, что движение есть объективная реальность. И когда мы говорим о движущейся материи, как об объективной реальности, то мы никак не можем представить себе, чтобы „движущееся“, „движение“ можно как-то, каким-то образом считать относительным, а материю объективно реальной. И если мы такой фокус тем не менее произвели бы, то у нас получилось бы голое ничто.

Вышеизложенные соображения, стало быть, говорят, за то, что т. Максимов, беря за основной пункт своих рассуждений марксистское определение движения,—тем не менее, трактуя его, скатывается к релятивизму. Вопиющее противоречие на лицо.

Однако, если предположить, что т. Максимов, давая определение движения в таких выражениях, из которых следует лишь единственно правильный вывод, что движение есть объективная реальность, все-таки имеет в виду лишь понятие движения, представление о движении и такие вещи, как, например, то, что движение земли нами мыслится относительным к солнцу, что тот или иной предмет движется или покоится относительно к другому,—то в таком случае перед нами на лицо не менее вопиющая путаница, вопиющее смешение двух сторон одного вопроса.

Таким образом, в ответ на поставленный нами вопрос: что у т. Максимова подразумевается под „движением,“ мы кроме путаницы и противоречия ни в том ни в другом случае ничего не получаем. В конечном же результате рассуждений т. Максимова получается, что движение есть относительность, т.-е. и в этом вопросе, как и в вопросе о пространстве и времени, он скатывается к релятивизму, как к принципу.

[1]) Курсив наш. И. С.

Вышесказанным насчет движения решается и вопрос о том, откуда у т. Максимова взялось словечко „так же“. Оно—также результат путаницы. Это словечко понятно только в том случае, если т. Максимов считает движение относительностью. В этом случае оно, разумеется, есть логическое звено в его рассуждениях, но тогда мы имеем дело вообще с неверной концепцией, а именно с концепцией релятивизма.

Мне хотелось бы еще остановиться на анализе примеров с Эвклидовой геометрией, но это чрезмерно растянуло бы статью. Ограничусь лишь общими замечаниями насчет так называемого „трехмерного измерения“.

Прежде всего анализ Эвклидовой геометрии у т. Максимова не носит, так сказать, философского характера. Он тут рассуждает лишь как человек, знающий геометрию, знающий математику. Между тем вопрос о пространстве и времени—один из основных философских вопросов. Поэтому анализ Эвклидовой геометрии с этой точки зрения у т. Максимова, вообще говоря, неудовлетворителен и не тот, какой нужен. Это первое общее замечание.

Второе—это то, что в результате своего анализа т. Максимов приходит, тем не менее, к философскому выводу об относительности трехмерного пространства. Не вдаваясь в подробные доказательства неверности этого вывода, мы лишь заметим, что для нас трехмерное пространство именно и есть реальное пространство. И у нас нет желания открывать хотя бы малейшую щель для идеализма в угоду „высшим соображениям математики“. Ибо математика хотя и хорошая вещь, но в своих формально логических требованиях она, превращаясь в голый мыслительный процесс, в процесс голой формальной логики, часто ведет к самому доподлинному идеализму. В этом отношении мы вслед за Энгельсом говорим:

„Идеальная потребность математики не может стать принудительным законом для реального мира“ (Анти-Дюринг, стр. 45. Изд. Петер. Сов. 1918 г.).

Именно поэтому мы далеки от того, чтобы разделять вместе с т. Максимовым чувство преклонения перед математическими соображениями Эйнштейна, как перед верной гарантией того, что при помощи их обязательно будет найдена настоящая объективная истина.

В заключение мы должны сказать, что статья т. Максимова, посвященная принципу относительности Эйнштейна, едва ли окажет услугу марксизму, несмотря на то, что во второй ее части т. Максимов в общем удовлетворительно критикует так называемый общий принцип относительности Эйнштейна, ибо эта критика теряет свое значение благодаря первой части статьи. Тов. Максимов, ополчившись на Эйнштейна, сам оказался в плену у него. С ним приключилось то самое, что сказано в цитате из Ленина, взятой самим т. Максимовым в качестве эпиграфа к своей статье.

Ин. Стуков.

Теория относительности и материализм.

Ответ т. Стукову.

Т. Стуков, возражая на мою статью, говорит о путанице и даже идеализме, которым я якобы открываю дверь в марксистскую теорию. Однако у меня он не только не вскрывает никакой путаницы, но именно сам запутывает обсуждаемый вопрос. Делая кивок в сторону учености, он проявляет тот недочет, избегать который должен был бы каждый марксист. Маркс и Энгельс считали для себя необходимым быть в курсе всех основных вопросов естествознания своего времени и неоднократно подчеркивали значение его изучения для обоснования диалектического материализма. Жестокая политическая борьба последних лет оторвала российских марксистов от изучения естествознания, и это сказывается в тех ляпсусах, которыми сплошь и рядом пестрят книги наших марксистов, как только они касаются естествознания [1]). Большую слабость в естествознании обнаруживает и т. Стуков.

Содержание и смысл проблемы.

Прежде всего установим содержание основных вопросов, которые нашли свой фокус в теориях относительности Лоренца-Эйнштейна и других.

Вопрос прежде всего сводится к критике понятий пространства и времени Ньютона и основных положений механики, построенных на этих понятиях.

Ньютон так определял абсолютное пространство и время: „Абсолютное пространство по самой своей сущности безотносительно к чему бы то ни было внешнему, остается всегда одинаковым и неподвижным".

„Абсолютное, истинное, математическое время само по себе и по самой своей сущности без всякого отношения к чему-либо внешнему протекает равномерно и иначе называется длительностью" [2]).

Так вот вопрос возникший у физиков еще во второй половине прошлого столетия заключался в том, насколько соответствуют эти формулировки действительности, т.-е. существует ли нечто, именуемое пространством и временем, безотносительное к чему либо внешнему и остающееся всегда одинаковым и неподвижным?

Вопрос законен и был подготовлен всем развитием естествознания, и разрешение его привело к созданию принципа относительности Лоренца-Эйнштейна и других.

[1]) Худший образец таких ляпсусов дает, пожалуй, проф. В Рожицин. См. его „Очерки по истории первобытной культуры". Рецензия см. „Правда", № 89 за 24 апреля с. г.

[2]) См. ис. Ньютона „Математические начала натуральной философии". Цитирую по переводу А. Крылова, помещенному в „Известиях Ник. морск. академии" П. 1915 г., в IV, стр. 30.

Для нас прежде всего интересно в разрешении этого вопроса то, что связано с исследованием реальной действительности независимо от того философского флага, под которым это исследование пошло. И в первой части своей статьи, против которой ополчился т. Стуков, я и занялся как раз этой стороной дела, независимо от оценки философских школ, к которым принадлежат Мах, Эйнштейн и др.

Существует ли пространство и время вне материи?

Решение вопроса философами.

Но прежде чем физики подошли к решению вопроса с физической стороны во всех его деталях, этот вопрос был решен в общей форме философами. Именно философы-материалисты показали, что, стоя на почве фактов, единственно правильным допущением будет то, что пространство и время суть формы существования материи, что допущение существования пространства и времени вне материи есть не только дуализм, но и попытка сохранить в науке метафизику и примирить науку с религией [1]).

Решение вопроса физиками.

И вот как раз одним из замечательных выводов теории относительности Эйнштейна является признание того, что „геометрические свойства пространства не самостоятельны, но обусловливаются материей" (слова самого Эйнштейна). Этот вывод вдвойне замечателен потому, что философская позиция Эйнштейна и многих других релятивистов идеалистическая.

Таким образом наука пришла к подтверждению того взгляда, который ранее того был высказан философами (при чем некоторые из них могут считаться и за физиков, напр.: Декарт). Этим самым было отброшено положение Ньютона о том, что пространство безотносительно к чему-либо внешнему, т.-е. к материи, что возможно существование пространства (и времени) вне материи.

Относительность объективного пространства [2]).

Неоднородность и не-эвклидовость его.

„Оставалось подвергнуть критике другую половину утверждения Ньютона о том, что пространство остается всюду и всегда одинаковым и неподвижным.

[1]) См. любопытные признания и исторические справки профессора идеалиста А. В. Васильева в его книге „Пространство, время, движение. Исторические основы теории относительности". Это место в извлечении приведено мной в моей статье в № 2 „Молодой Гвардии" за 1923 г., см. стр. 247.

[2]) Термин „относительный", к сожалению, имеет много смыслов. С легкой руки Ньютона физики называют „абсолютным" неизменное, вне материи существующее простран-

Общие посылки философии материализма и тут давали и дают твердый исходный пункт. Пространство—форма существования материи [1]), выражающее самое общее ее свойство. В отличие от временных и не обязательных видов существования материи, напр., в виде железа, белка или свободного электрона, пространственное и временное ее существование есть самое общее и всегда присущая форма этого существования. И мне думается, в этом смысле и нужно понимать слова Фейербаха о том, что „пространство и время не простые формы явлений, а коренные... условия бытия".

Поставленный вопрос как раз и можно формулировать так: остается ли всегда и везде неизменной основная форма пространственного бытия материи? Этот вопрос не только не нелеп, как кажется т. Стукову, а как раз и является предметом исследований физиков и астрономов. Т. Стукову кажется, что если допустить, что форма пространственного существования материи изменчива, то мы обязательно должны отказаться от материализма. Это коренное заблуждение т. Стукова, и из него уже проистекает его ужасание перед тем, что я говорю об относительности (в смысле изменчивости, что мной достаточно ясно отмечено в критикуемой Стуковым статье) пространства и времени.

Когда-то признавались неизменными виды животных, растений, неразложимыми химические атомы и пр. И большим шагом вперед как естествознания, так и его философского обобщения—материализма было доказательство изменчивости, относительности этих видов. Теперь мы стоим на пороге признания этой изменчивости по отношению к коренным „условиям" бытия материи, т.-е. по отношению к пространству и времени.

Действительно, если во вселенной происходит перемещение, перегруппировка звезд, то можем ли мы признать, что этим не изменяется пространственное бытие материи? Очевидно, что такое признание прямой путь к метафизике и дуализму. На него-то и не прочь встать т. Стуков.

Если спросить физика, что такое пространство, то он вам покажет твердый масштаб. Вопрос о неизменности пространства для естествоиспытателя сводится к вопросу о неизменности твердых масштабов. Вот почему я делал совершенно естественный вывод, что если основное свойство материи движение, то мы не можем допускать абсолютно неизменных пространств и времени.

Прочитав мое допущение об относительности, т.-е. изменчивости объективного пространства и времени, т. Стуков заявляет, „что

ство; тогда как пространство, представляющееся нам в виде тех или других предметов, было окрещено Ньютоном как „относительное и мнимое". У меня везде термином „относительный" обозначается реальное пространство, могущее подвергаться изменениям и неоднородное. Законность употребления в таком не махистском, а Энгельсовском смысле слова „относительный" достаточно иллюстрируется в „Анти-Дюринге" и др. местах.

[1]) По Фейербаху.

в этом утверждении относительности пространства и времени, т.-е. в том, что и пространство и время есть нечто относительное,—нет ничего марксистского. Такое утверждение есть идеалистическое утверждение".

Из всего изложенного выше ясно, что никакого отрицания объективного существования пространства и времени у меня нет. Наоборот, утверждение т. Стукова об абсолютной неизменности объективно существующих пространства и времени есть навязывание естествознанию метафизических предрассудков.

Остается непонятым т. Стуковым и мои рассуждения об Эвклидовой геометрии. Т. Стуков поучает: „самое главное... чтобы уметь понимать, что восприятие нами через наши органы чувств пространства и времени, выработка их понятий,—это одно, а соответствует ли этим нашим понятиям объективная реальность, не зависимая от нас,—это другое".

Для нас, естествоиспытателей-материалистов, вырабатывающих наши представления об объективно существующем мире не было и нет двух задач в том, чтобы, с одной стороны, эти представления вырабатывать, а затем при случае посмотреть, соответствуют ли они действительности. Мы, исследуя природу, именно стараемся сразу результат этого исследования выразить в понятиях, соответствующих действительности. Естествоиспытатели меньше всего похожи на поэтов и фантазеров, и отделение выработки понятий от проверки соответствия их реальной действительности есть извращение действительного процесса научного творчества.

Это раздвоение задачи нашего познания природы выражается у т. Стукова и иным образом. Он пишет: „Прежде всего анализ Эвклидовой геометрии у т. Максимова не носит так сказать философского характера. Он тут рассуждает лишь как человек, знающий геометрию, знающий математику. А между тем вопрос о пространстве и времени—один из основных философских вопросов".

Интересно, с каких это пор т. Стуков провозгласил существование самодовлеющей философии?! Мы, естественники, пока что придерживаемся в рассматриваемом вопросе точки зрения Энгельса „В обоих случаях (в понимании истории и природы),—писал Энгельс,—современный материализм по существу диалектичен и не нуждается уже ни в какой стоящей над прочими науками философии".

Поэтому, т. Стуков, обсуждение вопроса о пространстве и времени нельзя вести иначе, как зная математику и физику, от чего вы, видимо, отказываетесь и хотите заняться чистой философией, оторванной от естествознания!

Итак, вопрос об Эвклидовой геометрии и ее соответствии действительности может решаться лишь естествознанием, исходя, конечно, из основных материалистических представлений.

Для естествоиспытателей пока остается неопровергнутой правильность применения Эвклидовой геометрии к явлениям, происходя-

щим в доступных для производства опытов участках земной поверхности. Пока не доказано, что Эвклидова геометрия не соответствует пространственным отношениям материи на небольших участках земной поверхности. В пределах этих участков прямолинейные твердые масштабы обладают теми физическими свойствами, которые выражены в Эвклидовой геометрии. Они дают параллельные линии, не пересекающиеся при достаточном продолжении (математики мысленно продолжают их до бесконечностей; это, конечно, лишь абстракция того, что наблюдается на небольших участках земной поверхности, и перенесение абстрактных выводов из этого наблюдения на необъятное бесконечное пространство, допустимость чего физически требует еще доказательства), дают треугольники, обладающие суммой внутренних углов равной двум прямым и т. д.

Но уже попытка построить параллельные линии на всей поверхности земного шара привела бы, как это мы знаем из опыта с шарами, к тому, что мы получили бы замкнутые, конечные, обладающие „внутренней" кривизной линии, пересекающиеся в двух точках (если продолжать вести линии по большим кругам; если же строить параллельные линии, как результаты сечений параллельными плоскостями, то мы получим замкнутые, но не пересекающиеся линии).

Естественно для натуралиста задать вопрос, а существуют ли требуемые Эвклидовой геометрией отношения вообще где-либо, если мы выйдем за пределы в сущности, по сравнению со вселенной, бесконечно-малых участков земной поверхности?

Если бы мы оперировали с твердыми масштабами в пределах всей вселенной, то вопрос свелся бы к следующему: обладают ли твердые масштабы свойствами, требуемыми отношениями Эвклидовой геометрии?

Здесь нужно отметить то гениальное чутье, которым обладает Эйнштейн в постановке своих вопросов. Как ни погряз он в Махистско-Юмистско-Пуанкареевой философии, в конце концов, у него все же получаются правильные, пригодные и для нас грешных материалистов, формулировки.

Обсуждая проблему геометрического строения вселенной, он правильно говорит, что „мы можем геометрию рассматривать просто как самую древнюю ветвь физики. Ее утверждения покоятся не только на логических заключениях, но и на индукции, исходящей из опыта, и притом существенным образом".

Очевидно из наших знаний о твердых телах, что с твердыми отрезками мы в мировом масштабе не можем построить эвклидовых отношений. Прогиб под влиянием тяготения и пр., и пр. лишают нас возможности иметь сколько-нибудь обширную геометрическую постройку по правилам Эвклидовой геометрии. И если бы мы имели дело только с твердыми масштабами, то мы сказали бы, что Эвклидова геометрия теряет свое значение за очень узкими пределами даже и на земной поверхности. Однако отношения прямолинейности и пр., требуемые Эвклидовой геометрией, могут давать и электромагнитные

процессы, напр., видимый свет. Роль луча света как прямой линии общеизвестна. Естественно, что у физиков вопрос об Эвклидовой геометрии перешел, в конце концов, к вопросу об электромагнитных явлениях, о законах этих явлений и о соответствии их эвклидовым отношениям. С твердыми масштабами мы не можем оперировать сколько-нибудь далеко и совсем не можем ими пользоваться для построения наших координатных систем в мировом масштабе. Для этой цели пригодны лишь электромагнитные процессы в лице прежде всего видимого света. Поэтому вопрос об эвклидовости мирового пространства свелся, в конце концов, к вопросу о том, выполняются ли эвклидовы отношения для луча света. Последние исследования показали, что и для света не существует неизменного и всюду однородного пространства, что пространство неоднородно, обладает, как выражаются математики, внутренней кривизной, что оно не-эвклидово. Таким образом был решен вопрос о неприменимости и второй части утверждения Ньютона о всегда одинаковом и неподвижном пространстве.

Подвижность пространства.

Последнее положение о возможности „подвижного" пространства нужно понимать в том смысле, что с перемещением материи изменяется в общем и ее пространственное бытие. В этом выводе в согласии с многими и многими (судя по всему с большинством) физиками нужно видеть огромное завоевание естествознания в его исследовании объективного пространства.

У мало знакомых с физикой может лишь возникнуть еще следующее сомнение: не сводится ли предыдущий вывод к признанию фееричности, чрезвычайной непостоянности пространственной формы бытия материи. Ведь если каждая молекула и тем более электрон бешено движутся, вращаются и т. д., то может ли итти речь о пространстве, как о „коренном", т.-е. все-таки при данных обстоятельствах достаточно постоянном, „условии" бытия материи? Однако ближайшее исследование вопроса говорит за то, что именно как раз дело обстоит так, что для наших человеческих масштабов времени, несмотря на движение основных составных частей материи, ее пространственная форма изменяется лишь очень и очень медленно. Движение молекул, напр., газа очень быстро и изменчиво, и тем не менее газ, находящийся в сосуде, мы можем практически считать покоящимся, так как движения молекул не изменяют его свойств, в том числе и пространственных. Земная атмосфера имеет в общем достаточно постоянную как пространственную форму, так и химический состав, несмотря на все изменения, которые в ней происходят. Несмотря на бесконечно быстрое движение электронов, атомов и молекул, наши масштабы сохраняют в данных условиях достаточное постоянство. Для условий земной поверхности свойство пространства характеризуются теми физическими законами, которые лежат в основе

Эвклидовой геометрии, в основе отношений твердых масштабов. Это то, что называют физики „метрическими" свойствами, „метрикой" пространства. Эти свойства зависят прежде всего от распределения материи в том участке вселенной, который включает в себя и масштаб. Перемещение отдельных небольших тел на земной поверхности, тем более движение молекул, атомов и электронов мало изменяют пространственные свойства в пределах земной поверхности. Но эти свойства определяются массой земли, солнца, планет и ближайших звезд. Мы знаем, как ничтожно мало по сравнению с так называемым историческим периодом изменилась земля и наша планетная система и весь млечный звездный путь, частью которого является и наша солнечная система. Таким образом, никакой фееричности нет, и мы можем сказать, что пространственная форма существования материи изменяется медленнее, чем изменяются виды животных и растений, приспособленных именно к определенной и более или менее постоянной пространственной форме существования материи. Но с перемещением материи в мировом масштабе происходят изменения и в ее пространственной форме бытия.

История геометрии.

На этом и закончим с вопросом об объективной неоднородности и изменчивости пространства и перейдем к развитию взглядов на пространство, т.-е. к развитию геометрии. Только работы сторонников теории относительности дали твердую почву для того, чтобы считать вообще всю математику, а не только геометрию, частью наук о природе, т.-е. прежде всего частью физики, но до этого математика вообще и геометрия в частности развивались стихийно и без всякого сознания того, что в геометрических проблемах в сущности заключается проблема изучения физических пространственных свойств материи. Поэтому влияние развития знаний человека о природе очень и очень косвенно отзывалось на геометрических системах. Но оно все же отзывалось решающим для геометрии образом. В критикуемой т. Стуковым статье я указал на тот процесс человеческих открытий, который вызвал создание не-эвклидовых геометрий. Для т. Стукова это неубедительно, и кажется ему не марксистским доказательством. Поэтому я приведу слова не еретика т. Максимова, а подлинного марксиста т. Лафарга. Если и его забракует т. Стуков, то мне останется одно хоть утешение, что я остаюсь в хорошей компании! В своем сочинении „Экономика, естествознание, математика" Лафарг так излагает возникновение эвклидовой и не эвклидовых геометрий. „Дикие землепашцы, не знакомые еще с измерением поверхностей, разрешили проблему равномерного распределения земли следующим образом: данное поле, имевшее в общем более или менее плоскую поверхность, они разделяли на узкие и очень длинные полосы одинаковой длины и ширины. Полосы эти представляют собою прямоугольники, стороны их были параллельны, ограничивавшие их прямолинейные борозды на всем своем протяжении отстояли одна от другой на одинаковом расстоянии. Это примитивное измерение земли, как мы можем наблюдать его в сельских общинах Индии, создало,—говорит Paul Tannery, ученый историк „науки эллинов",—„целый ряд слабо связанных между собою приемов для разрешения проблемы повседневной жизни, и доказательство правильности этих приемов было построено на предпосылках, считавшихся самоочевидными, но строго научным способом доказанных лишь значительно позже, если только они не были отброшены как ложные". Однако из таких предпосылок и является знаменитый „Эвклидов постулат"... Первобытные землепашцы рассматривали подлежащую разделу площадь поля как плоскость. Геометрия Эвклида исходит из гипотезы, что поверхность есть плоскость; вследствие этого две прямые линии, проходящие на одинаковом расстоянии одна от другой, друг другу параллельны и так же мало могут пересечься в пространстве Эвклида, как на поле землепашца. Только около середины девятнадцатого века в науку проникло представление о кривой поверхности [1]). Лобачевский Риманн, Sophus Lee и другие математики отвергли „эвклидов постулат" и создали так называемую не-эвклидову геометрию...

Изложив соображение о кривизне пространства, Лафарг спрашивает? „Откуда же явилось это представление о кривизне пространства?" и отвечает: „первобытные землепашцы рассматривали свои поля как плоскости". Когда люди составили себе представление о земле, они считали ее плоской, как стекло, говорит Ахелай. Но когда купцы, жившие вокруг Средиземного моря, заметили, что одни места на земле освещаются позже, чем другие, они решили, что земля—вогнутое полушарие, на края которого солнечный свет естественно падает раньше, чем на дно. Но астрономические наблюдения, сделанные около V века до Р. Х., заставили греков представить себе землю в форме полного шара. Однако представление о шарообразной форме земли осталось в практическом и теоретическом отношениях бесплодным. Только в пятнадцатом веке оно дало практический результат, когда Колумб, обманутый неправильными вычислениями Птоломея, вместо искомого морского пути в Ост-Индию, открыл Америку. Еще целые века должны были пройти после Колумба, прежде чем шарообразная форма земли, каждый день снова доказываемая торговыми кораблями, побудила математиков сделать необходимые теоретические выводы. На основании наблюдений, собранных моряками, купцами, путешественниками и учеными, геометры заключили, что земля представляет собой шар, приплюснутый у полюсов... Поэтому все конструируемые на земле поверхности неизбежным образом должны быть искривлены, как и все линии, проведенные на этих

[1]) Лафарг выражается не особенно точно и не вполне правильно. Но основная мысль его правильна.

поверхностях. Кривизна плоскостей и линий варьирует, смотря по большей или меньшей удаленности от экватора. Таким образом, „эвклидов постулат", который лежит в основе геометрии.., оказался при проверке опытом ошибочным. Не-эвклидовы же системы геометрии ближе подходят к истине" и т. д.

Вот взгляды Лафарга, и то, что т. Стуков приписывает мне, он должен приписать и ему или отказаться от своих возражений. Впрочем т. Стукову и отказываться не от чего, так как им в сущности не выдвинуто никаких возражений.

Из изложенного выше взгляда Лафарга на развитие геометрий видно, что вопрос о развитии наших *взглядов* на пространство и вопрос о свойствах самого *объективного* пространства—один и тот же и решается враз, и разделить их может лишь т. Стуков, для которого не существует, вообще говоря, никаких вопросов, так как он их не понимает.

Проблема времени.

Перейдем теперь к вопросу об объективном времени.

Если естествоиспытателя спросить о том, что такое время, то он покажет вам часы или укажет на какой-либо природный процесс, совершающийся с достаточным постоянством и, напр., вращение земли вокруг оси или солнца, скорость распространения луча света и т. п. Возникает вопрос, существует ли время вне вещей, как нечто не материальное и независимое от материи? Очевидно, что нет, так как ни чем, кроме материи и ее движения, мы не знаем и знать не можем. Этим отвергается существование абсолютного истинного математического времени, протекающего без всякого отношения к чему-либо внешнему, т.-е. отвергается первая половина утверждений Ньютона об абсолютном времени. Но так же, как в вопросе о пространстве, мы должны отказаться и от второй половины утверждений Ньютона о безусловной равномерности времени и независимости ее от прочих вещей. Нет в природе такого процесса, который бы не был, в конце концов, независимым от каких-либо влияний других процессов, происходящих в материи. Поэтому я совершенно правильно формулировал задачу науки, когда говорил в своей статье: „отсюда возникает вполне назревший в науке вопрос о том, каким процессом лучше измерять время так, чтобы оно было менее зависимым от условий опыта, а так же вопрос о том, как изменяется физическое время в зависимости от изменений физических свойств того пространства, в котором протекает процесс времени".

Таким образом, остается объективно существующее как форма бытия материи время, изменчивое, относительное. Нужно сказать, что Ньютон допускал существование и объективного, относительного времени. Он говорил: „*Относительное кажущееся* или *обыденное время* есть или точная, или изменчивая, постигаемая чувствами, внешняя, совершаемая при посредстве какого-либо движения мера продолжительности, употребляется в обыденной жизни вместо истинного математического времени, как то: час, день, месяц, год". И далее: „*Абсолютное время* различается в астрономии от обыденного солнечного времени уравнением времени. Ибо естественные солнечные сутки, принимаемые обыденно за равные, для измерения времени, на самом деле, между собой не равны. Это неравенство и исправляется астрономами, чтобы при измерениях движений небесных светил применять более правильное время. Возможно, что не существует (в природе) такого равномерного движения, которым время могло бы измеряться с совершенной точностью". Сказав это, Ньютон все же утверждает существование абсолютного пространства и времени. Отошлем читателей непосредственно к ньютоновым „Началам", где им излагаются те противоречия, в которые он попал и выхода из которых не нашел... [1])

Итак, мы видим, что относительное, объективное время победило абсолютное, метафизическое время Ньютона, и одно только господствует в науке. Теперь для физиков нет абсолютного, вне вещей существующего, неизменного времени.

Взаимная связь пространства и времени.

Для того, чтобы закончить вопрос с объективным пространством и временем, укажем на их взаимную зависимость. Они связаны не только тем общим субстратом всех явлений—материей, общей формой бытия, которой они являются, но их зависимость более глубокая. Распределение материи в пространстве влияет на скорость всех процессов и в том числе на избранный процесс, служащий эталоном времени. С другой стороны, процессы, протекающие в материи, производят ее перемещение и изменяют пространственную форму ее бытия. И здесь общий вывод теорий относительности может быть принят нами. Так Г. Минковский в своей статье „Пространство и время" провозгласил: „отныне пространство и время, рассматриваемые отдельно и независимо, обращаются в тени, и только их соединение сохраняет самостоятельность."

Это признание взаимной зависимости пространства и времени большой шаг вперед в развитии физики и естествознания вообще.

Влияние движения на результат измерений.

Коснемся теперь последнего вопроса: о влиянии движения на результаты наших измерений или, выражаясь физически, на зависимость изображения явлений природы от выбора системы отсчета.

[1]) Цитирую уже по указанному переводу Крылова, стр. 30 и 31. Ньютон своей идеей об абсолютном простр. и времени нанес ущерб не только физике, но и философии, основание для взглядов Канта на пространство и время. Ньютон падает теперь вместе с Кантом.

Прежде всего нужно сказать о том, что для измерения движения необходимо это движение относить к чему-либо неподвижному. Пусть, напр., по реке движется пароход. Мы можем определить скорость его движения по отношению к берегу реки. Но если наблюдатель сам идет по берегу реки в направлении движения парохода, то скорость парохода по отношению к наблюдателю будет уже меньшей, чем по отношению к берегу. Наконец, наблюдатель может двигаться с такой скоростью, что пароход будет неподвижным по отношению к нему или даже приобретет отрицательную скорость, т.-е. будет отставать. Таким образом мы должны признать относительным[1]) движение тел в зависимости от выбора того тела, к которому это движение относим. В этом заключается принцип относительности классической механики. Из приведенного примера видно, что, очевидно, скорость парохода по отношению к наблюдателю равна разности скоростей парохода относительно берега и наблюдателя относительно того же берега. При этом выводе, и это очень существенно отметить, предполагается, что приборы измерительные, коими меряет наблюдатель, одинаково действуют, находится ли он в покое или находится в равномерном движении. Это значит, что его масштаб длины, его часы и пр. инструменты не претерпевают никакого изменения в результате движения их вместе с наблюдателем. Математически это допущение в ньютонианской механике выражалось в преобразованиях Галилея, в которых предполагалось, что как эталон длины, так и скорость хода часов от перехода от одной координатной системы к другой не зависят.

Из всего изложенного следует, что относительность движения тел обусловливается движением наблюдателя, и зная скорость движения наблюдателя по отношению к действительно неподвижной системе координат, мы сможем из относительной скорости движения тела и движения наблюдателя, вычислить скорость движения тела по отношению к действительно неподвижной системе.

Вся беда физиков оказалась в том, что нет такого достаточно определенного тела, к которому можно было бы относить все движения, как к неподвижному телу. Можно было бы, напр., избрать за такую точку скажем центр тяжести нашей солнечной системы или всего млечного звездного пути. Но практически это имеет мало значения и может быть удобно разве только для астрономов. Вот почему физики искали такого неподвижного тела поближе и хотели его найти в мировом эфире. Но эта попытка оказалась бесплодной, так как результаты определения скорости движения земли по отношению к мировому эфиру (и целый ряд других опытов) дали отрицательный результат. Это заставило вспомнить и критически пересмотреть допущение, лежащее в основе галилеева преобразования координат.

[1]) Из этого употребления слова „относительный" видно, что здесь оно имеет другой смысл, чем тогда, когда говорилось об объективном пространстве и времени. Однако и здесь мы принуждены пользоваться этим термином, как укрепившимся в физике. Несомненно непоследовательность не только терминологии, но и методологии очень вредит науке и облегчает проникновение в нее идеализма. Но автор не ставил себе задачи „чистки" науки.

И, как известно, теория относительности Лорентца-Фицжеральда кладет в основу объяснения упомянутых отрицательных опытов гипотезу о том, что как размеры масштабов, так и ход часов зависят от скорости движения их вместе с наблюдателем. Это допущение, чрезвычайно естественное и вполне согласующееся с материалистическим мировоззрением, получило не только дальнейшее развитие в трудах Эйнштейна и др. релятивистов, чему мы можем лишь радоваться, так как оно увеличило наше знание природы, но кроме того получило вместо материалистической трактовки идеалистическую, чему мы радоваться не можем и что отбрасываем! Из этого идеалистического извращения проистекает тот туман и шум, который окутывает имя Эйнштейна. Об истинных же творцах теории относительности, Лоренце и Фицжеральде, помнят, да и то недостаточно крепко, лишь специалисты, широкие же слои интеллигенции буржуазной, падкие до всего идеалистически-модного, забыли совершенно об них.

Известно, что гипотеза Лоренца и Фицжеральда объяснила и объясняет отрицательный результат опытов Майкельсона по определению скорости движения земли в мировом пространстве эфира.

У панически настроенных материалистов может возникнуть вопрос: не есть ли не только современная теория относительности, но и теория относительности классической механики подкоп под основное материалистическое положение о том, что движение есть безусловно присущее материи свойство, что движение есть форма ее существования, так же, как пространство и время? Однако такое опасение было бы совершенно напрасным. В принципах относительности, классическом и современном, идет речь о движении тел как целого. Если взять приведенный выше пример с движением, то ясно, что, стоя на берегу, мы будем считать пароход по отношению к себе движущимся, а стоя на самом пароходе—неподвижным. Но эта относительность имеет значение лишь по отношению к движению парохода как целого, да и то лишь в ограниченном смысле. Но какое бы мы ни занимали положение и в какое бы мы ни приходили движение, мы не сможем сделать так, чтобы движение частиц материи парохода для нас исчезло, как это может быть с движением всего парохода, когда мы на него пересаживаемся. Движение молекул тела таково, что оно не изчезает ни при каком выборе тела, к которому это движение мы станем относить. Таким образом движение как основное свойство материи остается в общем безотносительным, и мы его найдем всегда, в каком бы состоянии движени мы сами не находились. Это одно.

С другой стороны, и движение парохода как целого может быть принято относительным лишь в определенном, ограниченном

смысле. Действительно, из того, что мы, сидя на пароходе, чувствуем, и приборы наши это доказывают, что пароход по отношению к нам остается неподвижным и не можем открыть его движения в пространстве (если мы будем сидеть, напр., в запертой каюте), отнюдь не следует, что объективно существующее движение парохода сколько-нибудь изменяется от того только, что мы изменили позицию нашего наблюдения движения парохода. Человеку интересен по практическим соображениям лишь результат движения парохода—перемещение относительно земного берега. Безотносительное, объективное движение парохода практически (в смысле обычной практики пользования пароходом для поездок) его не интересует. А вот как раз это объективное движение, выражающееся в вращении его колес или винтов, в водоворотах, производимых в реке или море, не зависит от того, в каком мы состоянии равномерно-переносного движения будем находиться в качестве наблюдателей. И с берега, и с самого парохода мы одинаково сможем определить по вращению его колес, движется он или нет.

Классический принцип относительности и современный так называемый специальный принцип относительности трактуют о равномерно-переносном движении. Однако мы теперь можем сказать, что в природе в сколько-нибудь значительных масштабах пространства и времени такого движения не существует.

Во времена Ньютона считалось лучшим подтверждением его первого закона о равномерно-переносном движении по инерции—движение небесных светил. Тогда допускалось, что это движение вечно и неизменно и приводит лишь к повторению одних и тех же циклов движений. Но уже, начиная с Канта, эта точка зрения стала терпеть крах как метафизическая. Теперешнее же наше знание о природе говорит, что нет в природе движения по инерции, вечного и не встречающего никакого препятствия. Закон инерции есть абстракция частных отношений, наблюдающихся в малых частях пространства и в небольшие промежутки времени.

Признание этого привело к тому, что было установлено, что всякое движение в общем является ускоренным (считая ускорение положительным или отрицательным; тангенциальным или центростремительным). Только движение, не встречающее никакого сопротивления, не находящееся во взаимодействии с другими движениями и телами, было бы относительным в полном смысле слова, как это понимала классическая механика.

Естественно, что после такого вывода вопрос об относительности движения был перенесен от равномерно-переносного движения к движению ускоренному. Эйнштейн выдвинул вопрос о том, не есть ли само ускорение нечто относительное в зависимости от избрания системы отсчета и выдвинул свой принцип тождества инертной и тяжелой массы. Мы полагаем, что и здесь не может быть речи об относительности объективного движения. Но тут мы упираемся в проблему общей теории относительности Эйнштейна и, так как изложение ее здесь не входит в нашу задачу, то на этом и остановимся.

Помимо указанного, в вопросе влияния движения на результат измерений существует еще одна сторона: это влияние движения на масштабы пространства и времени. Если мы наполним легким газом мыльный пузырь и пустим его, то он будет подыматься, и в результате сопротивления воздуха будет сжиматься в направлении своего движения, будет сплющиваться. Нечто аналогичное происходит и с масштабами пространства и времени, подверженным влияниям, происходящим от их движения. Из этого следует, что как результат измерения движения, так и результат измерения пространства и всех происходящих в них процессов зависят от скорости движения нас вместе с приборами. Этим вносится элемент условности, относительности в наши измерения. Здесь эта условность проистекает от того, что пространственная и временная формы существования материи зависят от движения. Но это результат, к которому мы пришли ранее при ином рассуждении. Здесь у нас меняется пространство и время в виде тех масштабов, которыми мы производим измерения. Однако это ничуть не говорит за то, что от способа измерения и от масштабов зависят объективные процессы, что этих процессов как неизменной реальной объективности вовсе нет. Задача науки, как раз и заключается в том, чтобы все более и более освобождаться от условности результатов наших измерений. Наши знания его необходимости, в силу ограниченности наших человеческих рессурсов и условий существования, относительны, т.-е. не вполне выражают объективные процессы. Но это не закрывает нам пути для достижения все более и более согласных с объективной действительностью знаний. Потенциально наши знания суверенны, т.-е. безотносительны, говорил Энгельс.

Новая механика.

В заключение лишь наметим вопрос об отношении механики Ньютона к новой механике. Как эвклидова геометрия требует однородного и бесконечного пространства, существования абсолютно твердых тел (масштабов) и абсолютно больших скоростей и моментальных действий (ибо только в этом случае мы могли бы при помощи абс. твердых масштабов или лучей с бесконечно-большой скоростью построить в мировом масштабе декартову систему координат), так на этих же допущениях зиждутся законы механики Ньютона. В эвклидовой геометрии и в ньютоновой механике лежат одни и те же гипотезы о строении внешнего, объективного мира. В одном случае они лишь выражаются как геометрические положения, в другом же как механические.

Действительно, что обозначает ньютонов закон о возможности равномерного и прямолинейного движения? Он выражает лишь перенесение на бесконечное пространство тех экспериментальных данных,

которые мы получаем прежде всего из наблюдения тел на земной поверхности. Имея на лицо гладкий шар и гладкую поверхность, мы получаем экспериментально те отношения, которые в идеальном случае выражены в первом законе Ньютона.

Но как и в вопросе об эвклидовой геометрии возникает вопрос: существуют ли вообще, где-либо, за исключением бесконечно-малых участков пространств и продолжительности времени, отношения, требуемые законами Ньютона? Нам, может быть, укажут на движение небесных тел, на небесную механику, послужившую к величайшему торжеству механики Галилея, Кеплера, Ньютона. Однако тех отношений, которые требуются механикой Ньютона, мы не находим в „чистом" виде и там. Приходится допускать и открывать все воздействия на небесные тела, которые „искажают" законы Ньютона. В действительности закон Ньютона является лишь абстракцией наших земных отношений, и, если они дали нам возможность несмотря на все „отклонения" от этих законов познать многое в небесной механике, то это значит лишь то, что механика Ньютона уловила главнейшее, вернее, наиболее бросающееся в глаза в явлениях движения небесных тел. И только. Лишь временное отступление на задний план отношений, не укладывающихся в ньютоновы законы, позволяло игнорировать эти, тогда казавшиеся „второстепенными" отношения. Теперь картина изменилась. В основном механика Ньютона, как первое приближение к познанию действительности, исчерпала себя, и безусловное базирование на ней было бы искусственным удержанием в физике метафизических, в основе своей, представлений Ньютона. Как прямая линия является касательной к линиям второго порядка (эллипс, круг) и в бесконечно-малом участке кривой совпадает с ней, как эвклидова геометрия есть частный случай неэвклидовых, так и механика Ньютона есть лишь частный случай, практически вполне пригодный для наших земных отношений возникающей теперь новой механики мирового пространства.

Как метафизический материализм (как раз опиравшийся на механику Ньютона), сыграв свою положительную роль, должен был уступить место диалектическому материализму, так и механика Ньютона, сыграв в основном свою роль, ныне уступает место более строгой, более соответствующей основным представлениям диалектического материализма механике. И нам защищать во что бы то ни стало механику Ньютона не приходится.

Исходя из изложенного выше и в соответствии с ним, можно было бы изложить вопрос о возможности или невозможности моментального действия, бесконечной или предельной скорости, об относительности массы и энергии и пр., и пр., но это совершенно выходит за пределы этой статьи и превратилось бы в изложение новой механики, требующее применение главного из орудий изложения естествоиспытателей—математики.

Поэтому тут сделаем окончательную остановку.

Теперь подведем итоги сказанному. В качестве эпиграфа своей статьи я употребил слова из книги „Материализм и эмпириокритицизм" т. Ленина. Там говорится: „Релятивизм как основа теории познания есть не только признание относительности наших знаний, но и отрицание какой бы то ни было объективной, независимо от человека существующей мерки или модели, к которой приближается наше относительное познание".

И далее т. Ленин оценивает новейшие течения в физике: „Меньшинство новых физиков под влиянием ломки старых теорий великими открытиями последних лет, под влиянием кризиса новой физики, особенно наглядно показавшего относительность наших знаний, скатились, в силу незнания диалектики, через релятивизм к идеализму".

Как раз целью моей статьи в № 9—10 этого журнала и было показать, что, исходя из совершенно правильных и подготовленных всем развитием естествознания выводов о том, что объективное пространство и время не суть неизменны и однородны и что покоящиеся на таких посылках эвклидова геометрия и ньютонова механика обладают относительной истинностью, исходя из этого, ученые идеалисты, Эйнштейн и иже с ним, скатились именно туда, куда указал т. Ленин. Эйнштейн и прочие делают ударение не на вопросе о свойствах объективного пространства и времени и способах их изменения, но на том, что наши знания представляют из себя систему понятий, отдельные части которой отнюдь не диктуются нам принудительно действительностью. Они говорят, что наши знания вообще в известных своих частях относительны и условны, и единственное безусловное требование, предъявляемое ими к этим знаниям, это непротиворечивость системы понятий в себе. Здесь мы попадаем на дорожку, протоптанную Махом, который говорил (правда несколько иными словами) безразлично, как себе, напр., представлять: земля ли вертится вокруг солнца или солнце вокруг земли; все дело в экономии мышления; что нам выгоднее в целях экономии мышления, ту точку зрения мы и выберем.

Я также указывал, что, стоя на этой точке зрения, Эйнштейн, будучи в то же время естествоиспытателем, не мог быть последовательным в своих взглядах, как не был последователен и Мах.

Родство Эйнштейна с Махом особенно ясно выражено в недавно вышедшей и на русском языке книге Эйнштейна: „Vier Vorlesungen über Relativitätstheorie" (в переводе озаглавлено „Основы теории относительности. Четыре лекции, прочитанные в Прекстонском университете") [1]. Там он говорит о цели науки: „Всякая наука, будь то

[1]) Рекомендуем эту книжечку всем, кто желает ознакомиться с теорией относительности в серьезном изложении. Из наиболее заслуживающих внимания книг, кроме указанных мною во 2-ом № „Молодой гвардии", на русском языке можно указать недавно появившуюся книгу Эддингтона „Пространство и время". Перевод в издании изд-ства „Матезис".

наука о природе или психологии, стремится систематизировать наши переживания и уложить их в логическую систему". „Пользуясь языком, различные люди получают некоторую возможность сравнивать свои переживания (не учился ли Эйнштейн у А. Богданова?! А. М.). При этом оказывается, что некоторые переживания отдельных людей находятся в соответствии, тогда как для других переживаний это соответствие установить невозможно. С переживаниями первого рода, оказавшимися в известном смысле внеличными, мысленно связывается нечто вне нас существующее—реальность. Эту-то реальность—следовательно, передающую ее совокупность наших переживаний—и изучают науки о природе и простейшая из них—физика. Относительно неизменному комплексу переживаний этого рода соответствует понятие физического тела, в частности твердого тела... Понятия и системы понятий ценны для нас лишь постольку, поскольку они облегчают нам обозрение комплексов наших переживаний; другого оправдания они не имеют.

Итак, почти буквальное повторение Маха? Повторение слов вместе с повторением его ошибок. Но мы сделали бы еще бо́льшую, еще горшую ошибку, если бы мы, увидев философскую преемственность между Махом и Эйнштейном, игнорировали бы работы Эйнштейна со стороны физической. Если Ленин нас учил недоверять профессорам, когда речь заходит о философии, то тот же т. Ленин научил нас ценить положительные достижения физики и науки вообще, независимо от того, чьими руками эти достижения сделаны.

Сказать „нет" или „не признаю" очень легко. Задача наша заключается не в этом, а в том, чтобы, несмотря на извращенное толкование открываемых буржуазными учеными законов природы, уметь под мертвой одеждой буржуазной идеологии разыскивать „живое ядро накопленных человечеством знаний, видеть здоровые черты неизменного прогресса естествознания как роста производительных сил общества".

А. Максимов.

Ленин, как разрушитель народничества. [1])

Наша печать с достаточной выпуклостью подчеркнула заслуги Г. В. Плеханова в борьбе с народничеством. Но не одному Плеханову принадлежит роль разрушителя того народнического миросозерцания, которое в течение десятилетий господствовало над умами нашей революционной интеллигенции. Г. В. Плеханову при всем его блестящем литературном таланте и громадном образовании недоставало ни того глубокого понимания и всестороннего знания экономики русской действительности, ни той остроты анализа, какие обнаружил т. Ленин в критике народничества.

Работы Г. В. Плеханова: „Наши разногласия", появившиеся в 1884 г, „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю", представляющие настоящий литературный chef d'oeuvre и произведшие неизгладимое впечатление на умы марксистской молодежи того времени, все же были лишь блестящим и в высшей степени удачным, но не решающим исход войны, нападением кавалерии на армию противника. Если ряды этой народнической армии были расстроены и приведены в беспорядок литературными подвигами Г. В. Плеханова, то полный теоретический разгром народничества последовал лишь после выступления на поле сражения батальонов пехоты и тяжелой марксистской артиллерии, в виде экономических этюдов и статей т. Ленина за период 1894—1899 г.г. и фундаментального труда „Развитие капитализма в России".

Прежде всего никто не дал такого глубокого, блестящего и, вместе с тем, исчерпывающего определения понятия „народничество", как т. Ленин в его статье „От какого наследства мы отказываемся", написанной в конце 1897 и начале 1898 г. и впервые напечатанной в сборнике: Владимир Ильин „Экономические этюды и статьи" (вышло ныне в собрании сочинений Н. Ленина (см. т. II).

[1]) В. И. Ульянов-Ленин. Развитие капитализма в России. Владимир Ильин. Экономические этюды и статьи.

Обе книги вышли новым изданием в текущем году. „Развитие капитализма" в издательстве „Московский Рабочий".

Как же определяет тов. Ленин сущность понятия „народничество", какое содержание вкладывает он в это понятие?

Под народничеством,—говорит т. Ленин,—мы разумеем систему воззрений, заключающую в себе следующие три черты: 1) признание капитализма в России упадком, регрессом. Отсюда стремления и пожелания „задержать", „остановить", „прекратить ломку" капитализмом вековых устоев и т. п. реакционные вопли. 2) Признание самобытности русского экономического строя—вообще и крестьянина с его общиной, артелью и т. п.—в частности. К русским экономическим отношениям не считают нужным применять выработанные современной наукой понятия о различных общественных классах и их конфликтах. Общинное крестьянство рассматривается как нечто высшее, лучшее сравнительно с капитализмом; является идеализация „устоев". Среди крестьянства отрицаются и затушевываются те же противоречия, которые свойственны всякому товарному и капиталистическому хозяйству, отрицается связь этих противоречий с более развитой формой их в капиталистической промышленности и в капиталистическом земледелии. 3) Игнорирование связи „интеллигенции" и юридико-политических учреждений страны с материальными интересами определенных общественных классов. Отрицание этой связи, отсутствие материалистического объяснения этих социальных факторов заставляет видеть в них силу, способную „тащить историю по другой линии" (г. В. В.), „свернуть с пути" (г. Н.—он, г. Южаков и т. д.) и т. п.

Первая черта — признание капитализма в России упадком, регрессом. Как только вопрос о капитализме в России был поставлен, очень скоро выяснилось, что наше экономическое развитие есть капиталистическое, и народники объявили это развитие регрессом, ошибкой, уклонением с пути, предписываемого, якобы, всей исторической жизнью нации, от пути, освященного, якобы, вековыми устоями и т. п. и т. д.. Вместо горячей веры просветителей в данное общественное развитие явилось недоверие к нему, вместо исторического оптимизма и бодрости духа—пессимизм и уныние, основанные на том, что чем дальше пойдут дела так, как они идут, тем хуже, тем труднее будет решить задачи, выдвигаемые новым развитием; являются приглашения „задержать" и „остановить" это развитие, является теория, что отсталость есть счастье России и т. д. Признание русского капитализма „уклонением с пути", упадком и т. п. ведет к извращению всей экономической эволюции России, к извращению той „смены", которая происходит перед нашими глазами. Увлеченный желанием задержать и прекратить ломку вековых устоев капитализмом, народник впадает в поразительную историческую бестактность, забывает о том, что позади этого капитализма нет ничего,

кроме такой же эксплоатации в соединении с бесконечными формами кабалы и личной зависимости, отягчавшей положение трудящегося, ничего кроме рутины и застоя в общественном производстве, а следовательно, и во всех сферах социальной жизни. Сражаясь с своей романтической, мелко-буржуазной точки зрения против капитализма, народник выбрасывает за борт всякий исторический реализм, сопоставляя всегда действительность капитализма с вымыслом до-капиталистических порядков. „Наследство" 60-х годов с их горячей верой в прогрессивность данного общественного развития, с их беспощадной враждой, всецело и исключительно направленной против остатков старины, с их убеждением, что стоит только вымести до-чиста эти остатки, и дела пойдут как нельзя лучше,—это „наследство" не только ни при чем в указанных воззрениях народничества, но прямо противоречит им.

Вторая черта народничества — вера в самобытность России, идеализация крестьянина, общины и т. п. Учение о самобытности России заставило народников хвататься за устарелые западно-европейские теории, побуждало их относиться с поразительным легкомыслием к многим приобретениям западно-европейской культуры: народники успокаивали себя тем, что если мы не имеем тех или других черт цивилизованного человечества, то зато „нам суждено" показать миру новые способы хозяйничанья и т. д. Тот анализ капитализма и всех его проявлений, который дала передовая западно-европейская мысль, не только не принимался по отношению к святой Руси, а, напротив, все усилия были направлены на то, чтобы придумать отговорки, позволяющие о русском капитализме не делать тех же выводов, какие сделаны относительно европейского. Народники расшаркивались перед авторами этого анализа и... и продолжали себе преспокойно оставаться такими же романтиками, против которых всю жизнь боролись эти авторы. „60-ые годы", напротив, стремились европеизировать Россию, верили в приобщение ее к общеевропейской культуре, заботились о перенесении учреждений этой культуры и на нашу, вовсе не самобытную, почву. Всякое учение о самобытности России находится в полном несоответствии с духом 60-ых годов и их традицией. Еще более не соответствует этой традиции народническая идеализация, подкрашивание деревни. Эта фальшивая идеализация, желавшая во что бы то ни стало видеть в нашей деревне нечто особенное, вовсе непохожее на строй всякой другой деревни и во всякой другой стране в период до-капиталистических отношений,—находится в самом вопиющем противоречии с традициями трезвого и реалистического наследства. Чем дальше и глубже развивался капитализм, чем сильнее проявлялись в деревне те противоречия, которые общи всякому товарно-капиталистическому

обществу, тем резче и резче выступала противоположность между сладенькими россказнями народников об „общинности", „артельности" крестьянина и т. п.,—с одной стороны,—и фактическим расколом крестьянства на деревенскую буржуазию и сельский пролетариат—с другой; тем быстрее превращались народники, продолжавшие смотреть на вещи глазами крестьянина, из сантиментальных романтиков в идеологов мелкой буржуазии, ибо мелкий производитель в современном обществе превращается в товаропроизводителя. Фальшивая идеализация деревни и романтические мечтания насчет „общинности" вели к тому, что народники с крайним легкомыслием относились к действительным нуждам крестьянства, вытекающим из данного экономического развития.

Третья характерная черта народничества—игнорирование связи „интеллигенции" и юридико-политических учреждений страны с материальными интересами определенных общественных классов находится в самой неразрывной связи с предыдущими: только это отсутствие реализма в вопросах социологических и могло породить учение об „ошибочности" русского капитализма и о возможности „свернуть с пути".

Отсутствие социологического реализма, кроме указанной в высшей степени важной ошибки народников, ведет также у них к той особой манере мышления и рассуждения об общественных делах и вопросах, которую можно назвать узко-интеллигентским самомнением или, пожалуй, бюрократическим мышлением. Народник рассуждает всегда о том, какой путь для отечества должны „мы" избрать, какие бедствия встретятся, если „мы" направим отечество на такой путь, какие выходы могли бы „мы" себе обеспечить, если бы и миновали опасности пути, которыми пошла старуха-Европа, если бы „взяли хорошее" и из Европы, и из нашей исконной общинности и т. д. и т. п. Отсюда полное недоверие и пренебрежение народника к самостоятельным тенденциям отдельных общественных классов, творящих историю сообразно с их интересами. Отсюда то поразительное легкомыслие, с которым пускается народник (забыв об окружающей его обстановке) во всевозможное социальное прожектерство, начиная от какой-нибудь „организации земледельческого труда" и кончая „обмирщением производства" стараниями нашего „общества". „Mit der Grundlichkeit der geschichtlichen Action wird der Umfang der Masse zu nehmen, deren Action sie ist—в этих словах Маркса выражено одно из самых глубоких и самых важных положений той историко-философской теории, которую никак не хотят и не могут понять наши народники. По мере расширения и углубления исторического творчества людей должен возрастать и размер той массы населения, которая является сознательным историческим деятелем. Народник же всегда

рассуждал о населении—вообще—и о трудящемся населении—в частности, как об объекте тех или других более или менее разумных мероприятий, как о материале, подлежащем направлению на тот или иной путь, и никогда не смотрел на различные классы населения, как на самостоятельных исторических деятелей при данном пути, никогда не ставил вопроса о тех условиях данного пути, которые могут развивать, (или наоборот, парализовать) самостоятельную и сознательную деятельность этих творцов истории.

Итак, хотя народничество сделало крупный шаг вперед против „наследства" просветителей, поставив вопрос о капитализме в России, но данное им решение этого вопроса оказалось настолько неудовлетворительным, вследствие мелко-буржуазной точки зрения и сентиментальной критики капитализма, что народничество по целому ряду важнейших вопросов общественной жизни оказалось позади по сравнению с „просветителями". Присоединение народничества к наследству и традициям наших просветителей оказалось в конце концов минусом; тех новых вопросов, которые поставило перед русской общественной мыслью по-реформенное экономическое развитие России, народничество не решило, ограничившись по поводу их сентиментальными и реакционными ламентациями, а те старые вопросы, которые были поставлены еще просветителями, народничество загромоздило своей романтикой и задержало их полное разрешение.

* * *

Основным аргументом в народнической литературе в борьбе с марксистскими теориями было указание на „искусственный" характер, мертворожденность и беспочвенность русского капитализма. Внутренний рынок в России, — доказывали народники, Николай — он, В. В. и другие,—сокращается вследствие разорения крестьянства и вследствие невозможности реализовать сверхстоимость без внешнего рынка, а внешний рынок недоступен для молодой страны, слишком поздно выступающей на путь капиталистического развития.

Опровержению взгляда народников на „искуственность" русского капитализма, выяснению „миссии" капитализма, вообще критике народнических теорий о капитализме и нашем сельском хозяйстве, общине и т. д. посвящена книга Ленина „Развитие капитализма в России" (Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности).

Работа т. Ленина, как он указывает в предисловии ко 2-му изданию, вышедшему в 1907 г., была впервые написана в период кануна русской революции, во время некоторого затишья, которое наступило после взрыва крупных стачек 1895—1896 г.г. Рабочее движение тогда как бы ушло в себя, распространяясь вширь и вглубь и подготовляя начало демонстрационного движения в 1901 году.

Тот анализ общественно-хозяйственнаго строя и, следовательно, классового строения России, который был дан в книге т. Ленина, на основании экономического исследования и критического разбора статистических сведений, подтверждался открытым политическим выступлением всех классов в ходе революции 1905 г. Вполне обнаружилась руководящая роль пролетариата. Обнаружилось и то, что его сила в историческом движении неизмеримо более, чем его доля в общей массе населения.

В этом же предисловии т. Ленин, подчеркивая двойственное положение и двойственную роль крестьянства и указывая на внутренне-противоречивое классовое строение крестьянской массы, на разорение и обнищание крестьянской бедноты, на глубокие источники революционного крестьянского движения, глубокие корни революционности крестьянства, как массы, жестоко нападает на социал-демократов правого лагеря с Плехановым во главе, говорящих о руководящей роли „буржуазии" в революции или о поддержке либералов социалистами. „Эти люди,—говорит Ленин,—сеют драконов, а собирают блох".

Уже в этом предисловии т. Ленин говорит о преобладающей роли пролетариата и крестьянской массы в борьбе „за второй исход революции", о „создании наиболее благоприятных условий для дальнейшего осуществления рабочим классом его настоящей и коренной задачи социалистического переустройства", о том, что более или менее решительно, более или менее сознательно к борьбе за второй исход революции стремится не только пролетариат, но и широкие крестьянские массы.

Уже в этих строках, написанных в июле 1907 г., т.-е. более, чем за десять лет до октябрьской революции, чувствуется будущий вождь последней.

В I-ой главе т. Ленин рассматривает основные теоретические положения абстрактной политической экономии по вопросу о внутреннем рынке для капитализма. Это служит как бы введением для остальной фактической части сочинения. В трех следующих главах охарактеризованы капиталистическая эволюция земледелия по-реформенной России, именно: во II-ой главе разобраны земско-статистические данные о разложении крестьянства, в III-ей—данные о переходном состоянии помещичьего хозяйства, о смене барщиной системы этого хозяйства капиталистическою, и в IV-ой—данные о тех формах, в которых происходит образование торгового и капиталистического земледелия. Три главнейшие главы посвящены формам и стадиям развития капитализма в нашей промышленности: в V-ой главе рассматриваются первые стадии капитализма в промышленности, именно—в мелкой крестьянской (т. наз. кустарной) промышленности: в VI-ой главе—данные о капиталистической мануфактуре и о капиталистической работе на дому, и в VII-ой главе—данные о развитии крупной машинной индустрии. В последней (VIII-ой) главе указана связь между отдельными, изложенными выше, сторонами процесса и дана общая картина этого процесса.

Свою критику теоретических ошибок экономистов народников т. Ленин начинает с анализа простого товарного производства и процесса его постепенного превращения в капиталистическое.

Рынок есть категория товарного хозяйства, которое в своем развитии превращается в капиталистическое хозяйство и только при этом последнем приобретает полное господство и всеобщую распространенность. Поэтому для разбора основных теоретических положений о внутреннем рынке мы должны исходить из простого товарного хозяйства и следить за постепенным превращением его в капиталистическое.

Основой товарного хозяйства является общественное разделение труда. Промышленность обрабатывающая отделяется от добывающей, и каждая из них подразделяется на мелкие виды и подвиды, производящие в форме товара особые продукты и обменивающие их со всеми другими производствами. Развитие товарного хозяйства ведет таким образом к увеличению числа отдельных и самостоятельных отраслей промышленности.

При натуральном хозяйстве общество состояло из массы однородных хозяйственных единиц (патриархальных крестьянских семей, примитивных сельских общин, феодальных поместий), и каждая такая единица производила все виды хозяйственных работ, начиная от добывания разных видов сырья и кончая окончательной подготовкой их к потреблению. При товарном хозяйстве создаются разнородные хозяйственные единицы, увеличивается число отдельных отраслей хозяйства, уменьшается число хозяйств, производящих одну и ту же хозяйственную функцию. Этот прогрессивный рост общественного разделения труда и является основным моментом в процессе создания внутреннего рынка для капитализма.

Само собою разумеется, что указанное отделение промышленности обрабатывающей от добывающей, мануфактуры от земледелия, превращает и само земледелие в промышленность, т.-е. в отрасль хозяйства, производящую товары.

Итак, общественное разделение труда есть основа всего процесса развития товарного хозяйства и капитализма. Вполне естественно поэтому, что теоретики народничества, объявляя этот последний процесс результатом искусственных мер, результатом „уклонения с пути" и пр. и пр., старались затушевать факт общественного разделения труда в России или ослабить значение этого факта.

Народническую теорию об „искусственности" капитализма в

России и нельзя было построить иначе, как отрицая или объявляя „искусственной" самую основу всякого товарного хозяйства — общественное разделение труда.

Далее тов. Ленин указывает на рост промышленного населения на счет земледельческого и подчеркивает громадное значение этого обстоятельства.

Образование промышленных центров, увеличение их числа и притяжение ими населения не может не оказывать самого глубокого влияния на весь строй деревни, не может не вызывать роста торгового и капиталистического земледелия. Тем знаменательнее тот факт, что представители народнической экономии совершенно игнорируют этот закон как в своих чисто теоретических рассуждениях, так и в рассуждениях о капитализме в России.

Переходя к вопросу о разорении мелких производителей, т. Ленин подчеркивает, что этот процесс ведет к последствиям, прямо противоположным тем, которые видят народники.

Превращение мелкого производителя в наемного рабочего предполагает потерю им средств производства—земли, орудий труда, мастерской и пр. — т.-е. его „обеднение", „разорение". Является воззрение, что это разорение „сокращает покупательную способность населения", „сокращает внутренний рынок" для капитализма.

Такое воззрение совершенно ошибочно, и объяснить его упорное переживание в нашей экономической литературе можно только романтическим предрассудками народничества. Забывают, что „освобождение" одной части производителей от средств производства необходимо предполагает переход этих последних в другие руки, превращение их в капитал предполагает, следовательно, что новые владельцы этих средств производства производят в виде товаров те продукты, которые раньше шли на потребление самого производителя, т.-е. расширяют внутренний рынок, — что, расширяя свое производство, эти новые владельцы предъявляют спрос рынку на новые орудия, сырые материалы, на средства транспорта и пр., а также и на предметы потребления (обогащение этих новых владельцев естественно предполагает и рост их потребления). Забывают, что для рынка важно вовсе не благосостояние производителя, а наличность у него денежных средств: упадок благосостояния патриархального крестьянина, ведшего ранее преимущественно натуральное хозяйство, вполне совместим с увеличением в его руках количества денежных средств, ибо чем дальше разоряется такой крестьянин, тем более вынужден он прибегать к продаже своей рабочей силы, тем большую часть своих (хотя бы и более скудных) средств существования он должен приобретать на рынке.

Таким образом, с абстрактно-теоретической точки зрения, разорение мелких производителей в обществе развивающегося товарного хозяйства и капитализма означает как раз обратное тому, что хотят вывести из него г. г. Н.—он и В. В., означает создание, а не сокращение внутреннего рынка.

Глубокого внимания заслуживает, и до сих пор не потерял своего значения, в связи, между прочим, с теорией Розы Люксембург о накоплении капитала, разбор Лениным народнической теории о невозможности реализации сверхстоимости [1]).

Вопрос о теории внутреннего рынка,—говорит т. Ленин,—состоит в следующем. Известно, что стоимость продукта в капиталистическом производстве распадается на три следующие части: первая — возмещает постоянный капитал, т.-е. ту стоимость, которая существовала и раньше в виде сырых и вспомогательных материалов, машин и орудий производства и т. п., и которая только воспроизводится в известной части готового продукта; вторая часть возмещает переменный капитал, т.-е. покрывает содержание рабочего, и, наконец, третья часть составляет прибавочную стоимость, принадлежащую капиталисту. Принимается обыкновенно (мы излагаем этот вопрос в духе г.г. Н.—она и В. В.), что реализация (т.-е. нахождение соответственного эквивалента, сбыт на рынке) первых двух частей не представляет затруднения, ибо первая часть идет на производство, а вторая—на потребления рабочего класса. Но как реализуется третья часть—прибавочная стоимость? Не может же она быть потреблена целиком капиталистами. И наши экономисты приходят к выводу, что „выходом из затруднения" по реализации сверхстоимости является „приобретение внешнего рынка". Необходимость внешнего рынка для капиталистической нации объясняется названными писателями тем, что капиталисты не могут иначе реализовать продуктов. Внутренний рынок в России сокращается вследствие разорения крестьянства и вследствие невозможности реализовать сверхстоимость без внешнего рынка, а внешний рынок недоступен для молодой страны, слишком поздно выступающей на путь капиталистического развития,—и вот беспочвенность и мертворожденность русского капитализма объявляются доказанными на основании одних априорных (и при том теоретически неверных) соображений.

---

[1]) Большая работа Р. Люксембург „Накопление капитала" появилась в свет в 1913 г. 2-ая работа „Накопление капитала" (антикритика)—в 1920 г. Обе книги вышли и на русском языке в 1922 году в прекрасном переводе т. Дволайцкого. Краткое изложение теории Р. Люксембург читатель найдет в нашей книге „Империализм" изд. Красной Нови, 1923 г.

Работа т. Ленина вышла в свет за шесть лет до появления книги Р. Люксембург. Аргументация т. Ленина по вопросу о реализации сверхстоимости, значении „внешнего рынка", реализации „постоянного капитала" и т. д. бьет теорию Р. Люксембург.

Оба автора сводят весь вопрос о реализации продукта к реализации сверхстоимости, воображая, очевидно, что реализация постоянного капитала не представляет затруднения. Это наивное воззрение заключает в себе самую глубокую ошибку, из которой вытекли все дальнейшие ошибки народнического учения о реализации. На самом деле, трудность вопроса при объяснении реализации состоит именно в объяснении реализации постоянного капитала. Для того, чтобы быть реализованным, постоянный капитал должен быть снова обращен на производство, а это осуществимо непосредственно лишь для того капитала, продукт которого состоит в средствах производства. Если же возмещающий постоянную часть капитала продукт состоит в предметах потребления, то непосредственное обращение его на производство невозможно, необходим обмен между тем подразделением общественной продукции, которое изготовляет средства производства, и тем, которое изготовляет предметы потребления. В этом именно пункте и заключается вся трудность вопроса, не замечаемая нашими экономистами.

Тов. Ленин опровергает взгляд Николая—она будто внешний рынок является выходом из затруднения по реализации сверхстоимости.

Вопрос о реализации состоит в том, каким образом для каждой части капиталистического продукта по стоимости (постоянный капитал, переменный капитал и сверхстоимость) и по его материальной форме (средства производства, предметы потребления, в частности предметы необходимости и предметы роскоши) найти замещающую ее на рынке другую часть продукта. Ясно, что внешняя торговля должна быть при этом абстрагирована, ибо привлечение ее ни на-волос не подвигает вперед решения вопроса, а только отодвигает его, перенося вопрос с одной страны на несколько стран[1]). Сбыт продукта на внешнем рынке сам требует объяснения, т.-е. нахождения эквивалента для сбываемой части продукта, нахождения другой части капиталистического продукта, способной заменить первую. Вот почему Маркс говорит, что внешнего рынка, внешней торговли „совсем не надо принимать во внимание“ при разборе вопроса о реализации, ибо „введение внешней торговли в анализ ежегодно воспроизводимой стоимости продукта может только запутать дело, не доставляя нового момента ни для самой задачи, ни для решения ее“ („Capital“, II, 469). Гг. В. В. и Н.-он воображали, что они глубоко оценивали противоречия капитализма, указывая на затруднения по реализации сверхстоимости. На самом же деле, они оценивали противоречия капитализма крайне поверхностно, ибо если говорить о „затруднениях“ реализации, о возникающих отсюда кризисах и проч., то должно признать, что эти „затруднения“ не только возможны, но и необходимы по отношению ко всем частям капиталистического продукта, а отнюдь не по отношению к одной сверхстоимости. Затруднения этого рода, зависящие от непропорциональности распределения различных отраслей производства, постоянно возникают не только при реализации сверхстоимости, но и при реализации переменного и постоянного капиталов; не только при реализации продукта в предметах потребления, но также и средствах производства. Без этого рода „затруднений“ и кризисов вообще не может существовать капиталистическое производство, производство обособленных производителей на неизвестный им мировой рынок.

1) Курсив везде наш. Л. Т.

Критикуя взгляды народников по вопросу о внутреннем рынке, т. Ленин так резюмирует теорию реализации Маркса.

Основные посылки, на которых построена теория Маркса, состоят в двух следующих положениях. Первое—что весь продукт капиталистической страны, подобно единичному продукту, состоит из трех следующих частей: 1) постоянный капитал, 2) переменный капитал, 3) сверхстоимость. Для того, кто знаком с анализом процесса производства капитала в I-м томе „Капитала“ Маркса, это положение подразумевается само собой. Второе положение, что необходимо различать два большие подразделения капиталистического производства, именно: (I-ое подразделение) производство средств производства—предметов, которые служат для производительного потребления, т.-е. для обращения на производство, которые потребляются не людьми, а капиталом, и (II-ое подразделение) производство предметов потребления, т.-е. предметов, идущих на личное потребление. „В одном этом делении больше теоретического смысла, чем во всех предшествовавших словопрениях относительно теории рынков“.

Рост капиталистического производства, а следовательно, и внутреннего рынка, идет не столько на счет предметов потребления, сколько на счет средств производства. Иначе: рост средств производства обгоняет рост предметов потребления. В самом деле, мы видели, что постоянный капитал в предметах потребления (II-ое подразделение) обменивается на переменный капитал+сверхстоимость в средствах производства (I-ое подразделение). Но, по общему закону капиталистического производства, постоянный капитал растет быстрее переменного. Следовательно, постоянный капитал в предметах потребления должен возрастать быстрее, чем переменный капитал и сверхстоимость в предметах потребления, а постоянный капитал в средствах производства должен возрастать всего быстрее, обгоняя и рост переменного капитала (+сверхстоимость) в средствах производства, и рост постоянного

капитала в предметах потребления. То подразделение общественного производства, которое изготовляет средства производства, должно, следовательно, расти быстрее, чем то, которое изготовляет предметы потребления. Таким образом, рост внутреннего рынка для капитализма до известной степени „независим“ от роста личного потребления, совершаясь более на счет производительного потребления. Но было бы ошибочно понимать эту „независимость“ в смысле полной оторванности производительного потребления от личного: первое может и должно расти быстрее второго (этим его „независимость“ и ограничивается), но само собою разумеется, что в конечном счете производительное потребление всегда остается связанным с личным потреблением. Маркс говорит по этому поводу: „Мы видели (книга II, отд. III), что происходит постоянное обращение между постоянным капиталом и переменным капиталом“... Маркс имеет в виду постоянный капитал в средствах производства, реализующийся обменом между капиталистами этого же подразделения („... которое, с одной стороны, независимо от личного потребления в том смысле, что оно никогда не входит в это последнее, но которое тем не менее ограничено в конечном счете личным потреблением, ибо производство постоянного капитала никогда не происходит ради него самого, а происходит лишь оттого, что этого постоянного капитала больше потребляется в тех отраслях производства, продукты которых входят в личное потребление“. „Capital“, III, 289. Русск. пер., стр. 242).

Это большее употребление постоянного капитала есть не что иное, как выраженная в терминах меновой стоимости большая высота развития производительных сил, ибо главная часть быстро развивающихся „средств производства“ состоит из материалов, машин, орудий, строений и всяких других приспособлений для крупного и специально машинного производства. Вполне естественно поэтому, что капиталистическое производство, развивая производительные силы общества, создавая крупное производство и машинную индустрию, отличается и особенным расширением того отдела общественного богатства, который состоит из „средств производства“... В этом отношении (именно по изготовлению средств производства) капиталистическое общество отличается от дикаря вовсе не тем, в чем видит это отличие Сениор, полагающий, что дикарь имеет особенную привилегию расходовать свой труд иногда таким образом, что он не дает ему никаких продуктов, обращающихся в доход, т.-е. в предметы потребления. Различие состоит на самом деле в следующем:

а) „Капиталистическое общество употребляет большую часть находящегося в его распоряжении годичного труда на производство средств производства (следовательно, постоянного капитала), которые не могут быть разложены на доход ни в форме заработной платы, ни в форме сверхстоимости и могут только функционировать в качестве капитала.

б) „Если дикарь изготовляет лук, стрелы, каменные молотки, топоры, корзины и т. п.,—то он совершенно отчетливо сознает, что израсходованное на это время он употребил не на производство предметов потребления, т.-е. что он удовлетворил свою нужду в средствах производства и ничего более“ („Capital“, II,436. Русск. пер., 333). Это „отчетливое сознание“ своего отношения к производству утратилось в капиталистическом обществе вследствие присущего его фетишизма, представляющего общественные отношения людей в виде отношений продуктов—вследствие превращения каждого продукта в товар, производимый на неизвестного потребителя, подлежащий реализации на неизвестном рынке. И так как для отдельного предпринимателя совершенно безразличен род производимого им предмета—всякий продукт дает „доход“,—то эта же поверхностная, индивидуальная точка зрения была усвоена теоретиками-экономистами по отношению ко всему обществу и помешала понять процесс воспроизводства всего общественного продукта в капиталистическом хозяйстве.

Развитие производства (а следовательно, и внутреннего рынка) преимущественно на счет средств производства кажется парадоксальным и представляет из себя, несомненно, противоречие. Это—настоящее „производство для производства“, расширение производства без соответствующего расширения потребления. Но это противоречие не доктрины, а действительной жизни; это именно—такое противоречие, которое соответствует самой природе капитализма и остальным противоречиям этой системы общественного хозяйства. Именно это расширение производства без соответствующего расширения потребления и соответствует исторической миссии капитализма и его общественной структуре: первая состоит в развитии производительных сил общества; вторая исключает утилизацию этих технических завоеваний массою населения. Между безграничным стремлением к расширению производства, присущим капитализму, и ограниченным потреблением народных масс (ограниченным вследствие их пролетарского состояния) есть несомненное противоречие. Именно это противоречие и констатирует Маркс в тех положениях, которые охотно приводятся народниками в подтверждение, якобы, их взглядов о сокращении внутреннего рынка, о непрогрессивности капитализма и пр. и пр. Вот некоторые из этих положений: „Противоречие в капиталистическом способе производства: рабочие, как покупатели товара, важны для рынка. Но капиталистическое общество имеет тенденцию ограничить их минимумом цены, как продавцов их товара — рабочей силы“ („Капитал“, II,303).

...„Условия реализации... ограничиваются пропорциональностью различных отраслей производства и потребительной силой общества... Чем больше развивается производительная сила, тем более приходит она в противоречие с узким основанием, на котором покоятся отношения потребления" („Capital", III,1,226). „Пределы, в которых только и может совершаться сохранение и увеличение стоимости капитала, основывающееся на экспроприации и обеднении массы производителей, эти пределы впадают постоянно в противоречие с теми методами производства, которые капитал вынужден принять для достижения своей цели, и которые стремятся к безграничному расширению производства, к безусловному развитию общественных производительных сил, которые ставят себе производство, как самодовлеющую цель... Поэтому, если капиталистический способ производства есть историческое средство для развития материальной производительной силы, для создания соответствующего этой силе всемирного рынка, то он в то же время является постоянным противоречием между такою его исторической задачей и свойственными ему общественными отношениями производства" (III,1, 232. Русск. пер. 194). „Последней причиной всех действительных кризисов остается всегда бедность и ограниченность потребления масс, противодействующая стремлению капиталистического производства развивать производительные силы таким образом, как если бы границей их развития была лишь абсолютная потребительная способность общества". (III,2,21. Русск. пер., 395). Во всех этих положениях констатируется указанное противоречие между безграничным стремлением расширять производство и ограниченным потреблением и ничего более. Нет ничего бессмысленнее, как выводить из этих мест „Капитала", будто Маркс не допускал возможности реализовать сверхстоимость в капиталистическом обществе, будто он объяснял кризисы недостаточным потреблением и т.п. Анализ реализации у Маркса показал, что „в конечном счете обращение между постоянным капиталом и постоянным ограничено личным потреблением", но этот же анализ показал истинный характер этой „ограниченности", показал, что предметы потребления играют меньшую роль в образовании внутреннего рынка сравнительно с средствами производства. А затем, нет ничего более нелепого, как выводить из противоречий капитализма его невозможность, непрогрессивность и т. д.—это значит спасаться в заоблачные выси романтических мечтаний от неприятной, но несомненной действительности. Противоречие между стремлением к безграничному расширению производства и ограниченным потреблением—не единственное противоречие капитализма, который вообще не можем существовать и развиваться без противоречий. Противоречия капитализма свидетельствуют о его исторически-преходящем характере, выясняют условия и причины его разложения и превращения в высшую форму,—но они отнюдь не исключают ни возможности капитализма, ни его прогрессивности сравнительно с предшествующими системами общественного хозяйства.

Резюмируя все вышесказанное, т. Ленин устанавливает следующие положения:

1) Основным процессом создания внутреннего рынка (т.-е. развития товарного производства и капитализма) является общественное разделение труда. Оно состоит в том, что от земледелия отделяются один за другим различные виды обработки сырья (и различные операции по этой обработке) и образуют самостоятельные отрасли промышленности, обменивающие свои продукты (теперь уже товары) на продукты земледелия. Земледелие, таким образом, само становится промышленностью (т.-е. производством товаров), и в нем происходит тот же процесс специализации.

2) Непосредственным выводом из предыдущего положения является тот закон всякого развивающегося товарного и тем более капиталистического хозяйства, что индустриальное (т.-е. не земледельческое) население возрастает быстрее земледельческого, отвлекает все больше и больше населения от земледелия к промышленности обрабатывающей.

3) Отделение непосредственного производителя от средств производства, т.-е. экспроприация его, знаменуя переход от простого товарного производства к капиталистическому (и составляя необходимое условие этого перехода), создает внутренний рынок. Процесс этого создания внутреннего рынка идет с двух сторон: с одной стороны, средства производства, от которых „освобождается" мелкий производитель, превращаются в капитал в руках их нового владельца, служат для производства товаров и, следовательно, сами превращаются в товар. Таким образом, даже простое воспроизведение этих средств производства требует теперь уже покупки их (раньше эти средства производства воспроизводились большей частью в натуральном виде и отчасти изготовлялись дома), т.-е. предъявляет рынок на средства производства, а затем и продукт, произведенный теперь при помощи этих средств производства, тоже превращается в товар. С другой стороны, средства существования для этого мелкого производителя становятся вещественными элементами переменного капитала, т.-е. денежной суммы, расходуемой предпринимателем (все равно, земледельцем и подрядчиком, лесопромышленником, фабрикантом и т. д.) на наем рабочих. Таким образом, эти средства существования превращаются

теперь также в товар, т.-е. создают внутренний рынок на предметы потребления.

4) Реализация продукта в капиталистическом обществе (а, следовательно, и реализация сверхстоимости) не может быть объяснена без уяснения того—1) что общественный продукт, как и единичный, распадается по стоимости на три части, а не две (на постоянный капитал+переменный капитал+сверхстоимость, а не только на переменный капитал+сверхстоимость, как учили Адам Смит и вся последующая политическая экономия до Маркса), и 2) что по своей натуральной форме он должен быть разделен на два крупные подразделения: средства производства (потребляются производительно) и предметы потребления (потребляются лично). Установив эти основные теоретические положения, Маркс вполне объяснил процесс реализации продукта—вообще, и сверхстоимости—в частности, в капиталистическом производстве и обнаружил полную неправильность привлечения внешнего рынка к вопросу о реализации.

5) Теория реализации Маркса пролила свет и на вопрос о национальном потреблении и доходе.

Из вышеизложенного явствует само собою, что вопрос о внутреннем рынке, как отдельный самостоятельный вопрос, не зависящий от вопроса о степени развития капитализма, вовсе не существует. Поэтому-то теория Маркса и не ставит нигде и никогда этого вопроса отдельно. Внутренний рынок появляется, когда появляется товарное хозяйство; он создается развитием этого товарного хозяйства, и степень дробности общественного разделения труда определяет высоту его развития; он распространяется с перенесением товарного хозяйства от продуктов на рабочую силу, и только по мере превращения этой последней в товар капитализм охватывает все производство страны, развиваясь главным образом на счет средств производства, которые занимают в капиталистическом обществе все более и более важное место. „Внутренний рынок" для капитализма создается самим развивающимся капитализмом, который углубляет общественное разделение труда и разлагает непосредственных производителей на капиталистов и рабочих. Степень развития внутреннего рынка есть степень развития капитализма в стране. Ставить вопрос о пределах внутреннего рынка отдельно от вопроса о степени развития капитализма (как делают экономисты-народники) неправильно.

Во второй главе т. Ленин изучает данные земско-статистических подворных переписей по Новороссии, Саратовской, Самарской, Пермской, Орловской, Воронежской, Нижегородской и другим губерниям, далее—данные военно-конских переписей за 1888—91 г.г. и 1896—1900 г.г.

и, установив факт разложения и так называемой" дифференциации крестьянства, приходит к следующим выводам:

1) Общественно-экономическая обстановка, в которую поставлено современное русское крестьянство, есть товарное хозяйство. Даже в центральной земледельческой полосе, которая наиболее отстала в этом отношении сравнительно с юго-восточными окраинами или с промышленными губерниями, крестьянин вполне подчинен рынку, от которого он зависит и в личном потреблении, и в своем хозяйстве, не говоря даже о податях.

2) Строй общественно-экономических отношений в крестьянстве (земледельческом и общинном) показывает нам наличность всех тех противоречий, которые свойственны всякому товарному хозяйству и всякому капитализму: конкуренцию, борьбу за хозяйственную самостоятельность, перебивание земли (покупаемой и арендуемой), сосредоточение производства в руках меньшинств, выталкивание большинства в ряды пролетариата, эксплоатацию его со стороны меньшинства торговым капиталом и наймом батраков. Нет ни одного экономического явления в крестьянстве, которое не имело бы этой специфической, свойственной капиталистическому строю, противоречивой формы, т.-е. которое не выражало бы борьбы и розни интересов, не означало плюс для одних и минус—для других. Такова и аренда, и покупка земли, и „промыслы" в их диаметрально противоположных типах; таков и технический прогресс хозяйства.

Этому выводу мы придаем кардинальное значение не только в вопросе о капитализме России, но и в вопросе о значении народнической доктрины вообще. Именно эти противоречия и показывают нам наглядно и неопровержимо, что строй экономических отношений в „общинной" деревне отнюдь не представляет из себя особого уклада („народного производства" и т. п.), а обыкновенный мелко-буржуазный уклад. Вопреки теориям, господствовавшим у нас в последние полвека, русское общинное крестьянство—не антагонист капитализма, а, напротив, самая глубокая и самая прочная основа его. Самая глубокая,—потому что именно здесь вдали от каких бы то ни было „искусственных" воздействий и несмотря на учреждения, стесняющие развитие капитализма, мы видим постоянное образование элементов капитализма внутри самой общины. Самая прочная,—потому что на земледелии вообще и на крестьянстве в особенности тяготеют с наибольшей силой традиции страны, традиции патриархального быта, а вследствие этого—преобразующее действие капитализма (развитие производительных сил, изменение всех общественных отношений и т. д.), проявляется здесь с наибольшей медленностью и постепенностью.

3) Совокупность всех экономических противоречий в крестьян-

стве и составляет то, что мы называем разложением крестьянства. Сами крестьяне в высшей степени метко и рельефно характеризуют этот процесс термином: „раскрестьянивание". Этот процесс означает коренное разрушение старого патриархального крестьянства и создание новых типов сельского населения.

Вот как т. Ленин характеризует значение факта разложения крестьянства с точки зрения вопроса о внутреннем рынке:

Разложение крестьянства создает внутренний рынок для капитализма. В низшей группе это образование рынка происходит на счет предметов потребления (рынок личного потребления). Сельский пролетарий, по сравнению с средним крестьянством, меньше потребляет,—и притом потребляет продукты худшего качества (картофель вместо хлеба и пр.),—но больше покупает. Образование и развитие крестьянской буржуазии создает рынок двояким путем: во-первых и главным образом,—на счет средств производства (рынок производительного потребления), ибо зажиточное крестьянство стремится превратить в капитал те средства производства, которые оно „собирает" и от „оскудевших" помещиков и от разоряющихся крестьян. Во-вторых, рынок создается здесь и на счет личного потребления вследствие расширения потребностей у более состоятельных крестьян.

В главе третьей своей книги т. Ленин переходит от крестьянского хозяйства к помещичьему и характеризует процесс проникновения капитализма в помещичье хозяйство. Этот процесс с наибольшей рельефностью сказывается на употреблении машин в сельском хозяйстве.

По-реформенная эпоха делится на четыре периода по развитию сельско-хозяйственного машиностроения и употребления машин в сельском хозяйстве. Первый период охватывает последние годы перед крестьянской реформой и первые годы после нее. Помещики бросились было покупать заграничные машины, чтобы обойтись без „дарового" труда крепостных и устранить затруднение по найму вольных рабочих. Попытка эта кончилась, разумеется, неудачей; горячка скоро остыла, и с 1863—1864 г.г. спрос на заграничные машины упал. С конца 70-х годов начался второй период, продолжавшийся до 1885 г. Этот период характеризуется чрезвычайно правильным и чрезвычайно быстрым ростом привоза машин из-за границы; внутреннее производство возрастает тоже правильно, но медленнее, чем привоз. С 1881 по 1884 г. привоз сельско-хозяйственных машин возрастал особенно быстро, что объясняется отчасти отменой в 1881 году беспошлинного ввоза чугуна и железа для надобностей заводов, изготовляющих сельско-хозяйственные машины. Третий период – с 1885 г. до начала 90-х годов. Сельско-хозяйственные машины, ввозившиеся до этого

времени беспошлинно, облагаются в этом году пошлиной (50 к. золотом с пуда). Высокая пошлина понижает в громадных размерах ввоз машин, при чем и внутреннее производство развивается медленно под влиянием сельско-хозяйственного кризиса, начало которого относится именно к этому периоду. Наконец, с начала 1890-х годов начинается, видимо, четвертый период, когда опять поднимается ввоз сельско-хозяйственных машин и особенно быстро растет внутреннее производство их.

За 18 лет потребление сельско-хозяйственных машин возросло более, чем в $3^1/_2$ раза, и произошло это главным образом на счет роста внутреннего производства, которое увеличилось более, чем в 4 раза. Замечательно также передвижение главного центра этого производства с привислинских и прибалтийских губерний на южно-русские степные губернии. Если в 70-х годах главным центром земледельческого капитализма в России были губернии западной окраины, то в 1890-х годах создались еще более выдающиеся районы земледельческого капитализма в чисто русских губерниях.

Тов. Ленин указывает, что в 1894—1895 гг. по перечню фабрик и заводов числилось в Европейской России более 173 заводов, изготовлявших сельско-хозяйственные орудия и машины.

Из всех приведенных им многочисленных данных о роли капитализма в русском земледелии, тов. Ленин делает следующие выводы:

1) Основная черта по-реформенной эволюции земледелия состоит в том, что оно принимает все более и более торговый предпринимательский характер. По отношению к частновладельческому хозяйству этот факт настолько очевиден, что не требует особых пояснений. По отношению же к крестьянскому земледелию это явление не так легко констатируется, во первых потому, что употребление наемного труда не является безусловно необходимым признаком мелкой сельской буржуазии. Во-вторых мелкий сельский буржуа (и в России, как и в других капиталистических странах) соединяется рядом переходных ступеней с нарельным „крестьянином" и с сельским пролетарием, наделенным кусочком земли. Это обстоятельство является одной из причин живучести тех теорий, которые не различают в „крестьянстве" сельской буржуазии и сельского пролетариата.

2) По самой природе земледелия, превращение его в товарное производство происходит особым путем, не похожим на соответствующий процесс в индустрии. Промышленность обрабатывающая раскалывается на отдельные совершенно самостоятельные отрасли, посвященные исключительно производству одного продукта или одной части продукта. Земледельческая же промышленность не раскалывается на совершенно отдельные отрасли, а только специализируется

на производстве в одном случае одного, в другом случае другого рыночного продукта, при чем остальные стороны сельского хозяйства приспособляются к этому главному (т.-е. рыночному) продукту. Поэтому формы торгового земледелия отличаются гигантским разнообразием, видоизменяясь не только в различных районах, но и в различных хозяйствах. Поэтому при рассмотрении вопроса о росте торгового земледелия никак нельзя ограничиваться огульными данными о всем земледельческом производстве.

3) Рост торгового земледелия создает внутренний рынок для капитализма.

4) Капитализм в громадной степени расширяет и обостряет среди земледельческого населения те противоречия, без которых вообще не может существовать этот способ производства. Но, несмотря на это, земледельческий капитализм в России по своему историческому значению является крупной прогрессивной силой. Во-первых капитализм превратил земледельца из „государя-вотчинника", с одной стороны, и патриархального, зависимого крестьянина, с другой стороны, в такого же промышленника, как и всякий другой хозяин в современном обществе.

Отработочная система, этот живой остаток старины в современном хозяйстве, наглядно подтверждает такую характеристику. Капитализм впервые порвал с сословностью землевладения, превратив землю в товар. Продукт земледельца поступил в продажу, стал подвергаться общественному учету сначала на местном, затем на национальном, наконец на международном рынке, и, таким образом, прежняя оторванность одичалого земледельца от всего остального мира была сломана окончательно. Земледельцу волей-неволей, под угрозой разорения, пришлось считаться со всей совокупностью общественных отношений в его стране и в других странах, связанных всемирным рынком.

Во-вторых, земледельческий капитализм впервые подорвал вековой застой нашего сельского хозяйства, дал громадный толчек преобразованию его техники, развитию производительных сил общественного труда. Несколько десятилетий капиталистической „ломки" сделали в этом отношении больше, чем целые века предшествующей истории. Однообразие рутинного натурального хозяйства сменилось разнообразием форм торгового земледелия; первобытные земледельческие орудия стали уступать место усовершенствованным орудиям и машинам; неподвижность старинных систем полеводства была подорвана новыми приемами культуры.

В-третьих, капитализм впервые создал в России крупное земледельческое производство, основанное на употреблении машин и широкой кооперации рабочих. До капитализма производство земледельческих продуктов всегда велось в неизменной мизерно-мелкой форме, как в том случае, когда крестьянин работал на себя, так и в том случае, когда крестьянин работал на помещика, и никакая „общинность" землевладения не в силах была сломать эту гигантскую раздробленность производства. В неразрывной связи с этой раздробленностью производства стояла раздробленность самих земледельцев. Прикованные к своему наделу, к своей крохотной „общине", они были резко отделены даже от крестьян соседней общины различием тех разрядов, к которым они принадлежали (бывшие владельческие, бывшие государственные и т. д.), различиями в величине своего землевладения, различиями в тех условиях, на которых произошла их эмансипация (а эти условия определялись иногда просто личными свойствами помещиков и их прихотью). Капитализм впервые сломал эти чисто средневековые перегородки,—и прекрасно сделал, что сломал.

В-четвертых, наконец, земледельческий капитализм в России впервые подорвал под корень обработки и личную зависимость земледельца.

Подчеркивая прогрессивную историческую роль капитализма в русском земледелии, мы нисколько не забываем,—продолжает т. Ленин,—ни об исторически переходящем характере этого экономического режима, ни о присущих ему глубоких общественных противоречиях. Напротив, мы показали выше, что именно народники, умеющие только оплакивать капиталистическую „ломку", крайне поверхностно оценивают эти противоречия, затушевывая разложение крестьянства, игнорируя капиталистический характер употребления машин в нашем земледелии, прикрывая такими выражениями, как „земледельческие промыслы" или „заработки", образование класса сельскохозяйственных наемных рабочих.

В последних страницах своей книги т. Ленин снова возвращается к вопросу о внутреннем и внешнем рынке, выясняет значение окраин и заканчивает свою работу характеристикой миссии капитализма.

Необходимость внешнего рынка для капитализма объясняется вовсе не невозможностью реализовать продукт на внутреннем рынке, а тем обстоятельством, что капитализм не в состоянии повторять одни и те же процессы производства в прежних размерах, при неизменных условиях (как это было при докапиталистических режимах), что он неизбежно ведет к безграничному росту производства, перерастающему старые узкие границы прежних хозяйственных единиц. При свойственной капитализму неравномерности развития,

одна отрасль производства перегоняет другие и стремится выйти за пределы старого района хозяйственных отношений. Возьмем, напр., текстильную индустрию в начале по-реформенной эпохи. Будучи довольно высоко развитой в капиталистическом отношении (мануфактура, начинающая переходить в фабрику), она вполне овладела рынком центральной России. Но крупные фабрики, которые росли так быстро, не могли уже удовлетвориться прежними размерами рынка, они стали искать себе рынка дальше среди того нового населения, которое колонизовало Новороссию, юго-восточное Заволжье, северный Кавказ, затем Сибирь и т. д. Стремление крупных фабрик выйти за пределы старых рынков несомненно. Означает ли это, что в районах, служивших этими старыми рынками, большее количество продуктов текстильной промышленности, вообще, не могло быть потреблено, означает ли это, что, напр., промышленные и центральные земледельческие губернии не могут уже, вообще, поглощать большого количества фабрикатов. Нет,—мы знаем, что разложение крестьянства, рост торгового земледелия и увеличение индустриального населения продолжают расширять внутренний рынок и этого старого района. Но это расширение внутреннего рынка задерживается многими обстоятельствами (главным образом, сохранение устарелых учреждений, задерживающих развитие земледельческого капитализма) и фабриканты не станут, конечно, ждать, чтобы другие отрасли народного хозяйства догнали в своем капиталистическом развитии текстильную индустрию. Фабрикантам нужен рынок немедленно, и если отсталость от других сторон народного хозяйства суживает рынок в старом районе, то они будут искать рынка в другом районе или в других странах или колониях старой страны.

Но что такое колония в политико-экономическом смысле? Было уже указано выше, что, по Марксу, основные признаки этого понятия следующие: 1) Наличность незанятых, свободных земель, легко доступных переселенцам; 2) наличность сложившегося мирового разделения труда, мирового рынка, благодаря которому колоний могут специализироваться на массовом производстве сельско-хозяйственных продуктов, получая в обмен на них готовые промышленные изделия, „которые при других обстоятельствах им пришлось бы изготовлять самим“ (см. выше, стр. 189, прим. IV, § II). О том, что южные и восточные окраины Евр. России, заселявшиеся в по-реформенную эпоху, отличаются именно указанными чертами и представляют из себя в экономическом смысле колонии центральной Европейской России,—было уже говорено в своем месте. Еще более приложимо это понятие колонии к другим окраинам, напр., к Кавказу. Экономическое „завоевание“ его Россией совершилось гораздо позднее, чем политическое, а вполне это экономическое завоевание не закончено

и поныне. В по-реформенную эпоху происходила, с одной стороны, сильная колонизация Кавказа, широкая распашка земли колонистами (особенно в Северном Кавказе), производившими на продажу пшеницу, табак и пр. и привлекавшими массы сельских наемных рабочих из России. С другой стороны, шло вытеснение туземных вековых „кустарных“ промыслов, падающих под конкуренцией привозных московских фабрикатов“.

Капитализм не может существовать и развиваться без постоянного расширения сферы своего господства, без колонизации новых стран и втягивания некапиталистических старых стран в водоворот мирового хозяйства. И это свойство капитализма с громадной силой проявлялось и продолжает проявляться в по-реформенной России.

Следовательно, процесс образования рынка для капитализма представляет две стороны, именно: развитие капитализма вглубь, т.-е. дальнейший рост капиталистического земледелия и капиталистической промышленности в данной определенной и замкнутой территории, и развитие капитализма вширь, т.-е. распространение сферы господства капитализма на новые территории.

Последующий процесс развития капитализма в России вполне оправдал прогноз т. Ленина. Не говоря уже о наших окраинах наш капитализм в течение последнего пятнадцатилетия накануне мировой войны успешно боролся с конкуренцией самых мощных капиталистических государств в такой, например, стране как Персия. Здесь Россия решительно вытесняла Англию. В 1910—1911 г. Россия ввезла товаров на 219 миллионов кран, что составляло почти половину всего иностранного импорта (ввоза) в Персию. В этом же году общий оборот персидской торговли по всем границам равнялся 860 миллионов кран. Из этой цифры 482 миллиона кран, т.-е. более половины приходилось на долю России.

Вот как развивалась наша торговля по некоторым отдельным странам:

Наш экспорт в Персию составлял:

В 1886 г.	6,1	милл. р.
„ 1896 г.	14,5	„ „
„ 1907 г.	28,3	„ „
„ 1912 г.	53,8	„ „
„ 1913 г.	57,7	„ „

Что касается нашего импорта из Персии, то он выражается в следующих цифрах:

В 1886 г.	10,3	милл. р.
„ 1896 г.	17,7	„ „
„ 1907 г.	20,3	„ „
„ 1912 г.	35,4	„ „
„ 1913 г.	43,6	„ „

Экспорт из России в Турцию выражался в следующих цифрах:

В 1892 г.	15,9	милл. р.
„ 1894—1898 г.г.	14,3	„ „
„ 1900—1904 г.г.	20,1	„ „
„ 1905—1909 г.г.	20,2	„ „
„ 1910 г.	27.8	„ „
„ 1911 г.	33,5	„ „
„ 1912 г.	28,6	„ „
„ 1913 г.	35,7	„ „

Наш экспорт в Китай составлял:

В 1892 г.	4.782.000	рубл.
„ 1902 г.	6.701.000	„
„ 1903 г.	22.440.000	„
„ 1905 г.	31.588.000	„
„ 1906 г.	57.529.000	„
„ 1908 г.	23.285.000	„
„ 1909 г.	21.781.000	„
„ 1910 г.	20.158.000	„
„ 1911 г.	25.597.000	„
„ 1913 г.	31.490.000	„

Первое место в смысле вывоза из России занимала Персия, затем идут: Бухара, Турция, Китай, Хива, Монголия, Авганистан, Западный Китай и Япония.

Русский вывоз в 1913 году в разные страны Востока выразился в следующих цифрах:

В Персию мы вывезли товаров на	57.703	т. зол.	руб.
„ Бухару „ „ „ „	50.000	„ „	„
„ Турцию „ „ „	35.783	„ „	„
„ Китай „ „ „	31.490	„ „	„
„ Хорезм (Хиву) мы вывезли	17.600	„ „	„
„ Авганистан мы вывезли товар	5.946	„ „	„
„ Монголию „ „ „	2.689	„ „	„
„ Западный Китай мы вывезли	2.192	„ „	„
„ Японию мы вывезли товаров	1.400	„ „	„

Нижеследующая колонка цифр представляет собой цифровые данные об импорте к нам из стран Востока. Импорт этот выражался в 1913 году в следующих цифрах:

Из Китая	на 84.054	т. зол.	рубл.
„ Бухары	„ 55.000	„ „	„
„ Персии	„ 43.626	„ „	„
„ Турции	„ 18.439	„ „	„
„ Хорезма (Хивы)	„ 10.825	„ „	„
„ Монголии	„ 8.403	„ „	„
„ Авганистана	„ 6.299	„ „	„
„ Западного Китая	„ 5.129	„ „	„
„ Японии	„ 4.800	„ „	„

В общем русский вывоз в страны Востока составлял в 1913 году 204.803 т. зол. рубл., а ввоз к нам из различных стран Востока—235.575 т. зол. рубл. [1]).

Итак, факты действительности решительно опровергли теорию народников относительно мертворожденности русского капитализма вследствие неизбежного де сокращения внутреннего рынка и недоступности внешнего для молодой страны, слишком поздно выступающей на путь капиталистического развития.

Переходя к вопросу о миссии капитализма, т.-е. об его исторической роли в хозяйственном развитии России, т. Ленин подчеркивал прогрессивность этой роли, но вместе с тем он указывал, что это признание вполне совместимо с полным признанием отрицательных и мрачных сторон капитализма, с полным признанием неизбежно свойственных капитализму глубоких и всесторонних общественных противоречий, вскрывающих исторически-преходящий характер этого экономического режима. Именно народники, которые тщились из всех сил представить дело так, будто признавать историческую прогрессивность капитализма значит быть апологетом его, именно народники грешили недостаточной оценкой (а подчас и замалчиванием) наиболее глубоких противоречий русского капитализма, затушевывая разложение крестьянства, капиталистический характер эволюции нашего земледелия, образование класса сельских и промысловых наемных работников с наделом, затушевывая полное преобладание низших и худших форм капитализма в пресловутой „кустарной промышленности“.

Прогрессивную историческую роль капитализма можно резюмировать,—писал т. Ленин,—двумя краткими положениями: повышение производительных сил общественного труда и обобществление его. Но оба эти факта проявляются в весьма разнообразных процессах в различных областях народного хозяйства.

Обобществление труда капитализмом проявляется в следующих процессах. Во-первых, самый рост товарного производства разрушает свойственную натуральному хозяйству раздробленность мелких хозяйственных единиц и стягивает мелкие местные рынки в громадный национальный (а затем мировой) рынок. Производство на себя превращается в производство на все общество, и чем выше развит капитализм, тем сильнее становится противоречие между этим коллективным характером производства и индивидуальным характером присвоения.

[1]) Подробно о развитии торговли с Востоком см. доклад И. Е. Ходорова, напечатанный в недавно вышедшей брошюре: „Торговля России с Востоком и Российско-Восточная Торговая палата“ (Москва 1923, стр. 65. Издание Российско-Восточной Торговой палаты.)

Во-вторых, капитализм создает на место прежней раздробленности производства несуществовавшую раньше концентрацию его как в земледелии, так и в промышленности. Это—наиболее яркое и наиболее рельефное, но отнюдь не единственное проявление рассматриваемой особенности капитализма. В-третьих, капитализм вытесняет те формы личной зависимости, которые составляли неотъемлемую принадлежность предшествующих систем хозяйства.

Развитие капитализма ведет к обострению классовой борьбы, к сплочению, организации, усилению мощи пролетариата, могильщика капиталистического общества. Этой исторической роли пролетариата не понимали народники. Ее не признавали и так называемые „легальные марксисты"—Струве и другие. Разбору известной книги Струве „Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России", вышедший в 1894 г., посвящена обстоятельная статья Ленина „Экономическое содержание народничества и критика его в книге Г. Струве". В этой статье т. Ленин уже в 1894 году—как справедливо подчеркивает тов. Каменев в своем предисловии ко II-му тому—охарактеризовал „легальный марксизм", как течение буржуазной мысли, подделывающейся под марксизм.

Прежде чем окончательно перейти на точку зрения штампованного либерализма,—говорит Каменев,—представители легального марксизма сделали попытку приспособить к себе учение Маркса при помощи с одной стороны неокантианства, а с другой стороны—при помощи восстановления экономических учений до-марксовского периода. Эти попытки нашли широкий отклик в легальной литературе 90-х г.г., в частности в статьях Струве, который выкинул знамя борьбы против ортодоксии, и в статьях Булгакова, разнесшего книгу Каутского об аграрном вопросе. На эти попытки „критического" пересмотра, т.-е. буржуазного опошления марксизма тов. Ленин ответил рядом статей, собранных в этом же томе под заголовком „Статьи по вопросу о теории рынков", к которым надо прибавить замечания, сделанные В. И. по тому же вопросу в статье „Некритическая критика" (см. III том Собр. сочинений и мое послесловие к нему).

В этой же статье, направленной против Струве, т. Ленин пишет о народничестве следующее:

„Все отличие народничества от марксизма состоит в характере критики русского капитализма. Народники для критики капитализма считают достаточным констатировать наличность эксплоатации, взаимодействие между ней и политикой и т. п. Марксист считает необходимым объяснить и связать вместе эти явления эксплоатации, как систему известных производственных отношений, как особую общественно-экономическую формацию, законы функционирования и развития которой подлежат объективному изучению. Народник

считает достаточным для критики капитализма—осудить его с точки зрения своих идеалов, с точки зрения „современной науки и современных нравственных идей". Марксист считает необходимым проследить со всей подробностью те классы, которые образуются в капиталистическом обществе, считает основательной только критику с точки зрения определенного класса,—критику, основывающуюся не на моральных суждениях „личности", а на точной формулировке действительно происходящего общественного процесса.

Тов. Ленин критиковал капитализм в 1894 г. не с точки зрения „современных нравственных идей", как это делали народники, а самое народничество он критиковал не с точки зрения мелкого буржуа, вроде Струве с пресловутым кличем последнего: „пойдем на выручку к капитализму".

Уже в 1894 г. Ленин критиковал и самый капитализм и народнических критиков последнего, равно как и легальных марксистов, с точки зрения определенного класса, именно могильщика капитализма, пролетариата, с точки зрения того общественного строя, который должен был неизбежно притти на смену капитализму, нового общественного строя, одним из главных творцов, вдохновителей и вождей которого и явился Владимир Ильич, гениальный и непреклонный руководитель армии строителей, воздвигнувших в Октябре 1917 г. великое здание Советской России, огненный маяк, освещающий всему угнетенному человечеству путь к грандиозному и лучезарному будущему.

Мих. Павлович.

Бабувизм и рабочие в великой французской революции.

Учение Бабефа в том виде, в котором оно послужило исходной точкой для его последователей, сложилось только в эпоху диктатуры якобинцев, т.-е. в 1793—1794-х г.г.

Еще в 1791 г. Бабеф стоит на точке зрения „аграрного закона", т.-е. всеобщего уравнительного передела земли: в своем письме к Купэ, выбранному в Законодательное Собрание, он настойчиво рекомендует попытаться осуществить эту меру, опираясь на поддержку Робеспьера и др. якобинцев, которые, по мнению Бабефа, являются „тайными аграрианцами". В 1792 г. и даже в 1793 г. Бабеф еще не отказывается от „аграрного закона".

Это дает право Марксу, в момент особенно обостренной борьбы с мелко-буржуазными, уравнительными теориями Прудона, Вейтлинга и др. отнести в „Коммунистическом манифесте" сочинения Бабефа

к литературе „реакционной", „аскетической", „грубо уравнительной" и т. п.

Но и теперь т. Горев утверждает, „что эта характеристика несомненно правильна, поскольку Бабеф видел с одной стороны в труде лишь повинность, требующую суровой регламентации и, поскольку он отрицательно, с чисто плебейской подозрительностью, относился к широкому развитию духовной культуры" [1]).

Т. Горев развил и „усовершенствовал" отзыв Маркса об утопической литературе, приписал его исключительно Бабефу, которого, кстати сказать, Маркс касается только мимоходом, и под этим углом зрения оценивает значение „бабувизма в социалистических идеях XIX—XX веков", естественно находя его единственную заслугу в формулировке лозунга „диктатуры бедноты" и вообще революционной экспансии.

Несколько ранее Бернштейн проделал по тому же поводу иной фокус: исходя из противоположного положения—отсутствия критики Бабефа у Маркса, обвинил последнего в бланкизме и бабувизме и приписал Марксу ту же „грубую уравнительность", пристрастие „к регламентации" и другие черты, якобы составляющие особенность бабувизма.

Не пытаясь выяснить, кто из указанных авторов правильно передает отношение Маркса к Бабефу, не вступая в полемику с т. Горевым о том, насколько удачны его параллели между „Жакерией и Октябрем", эпохой военного коммунизма и бабувизмом, нэпом и фурьеризмом и превращением последнего из средства в цель, в демократический идеал, свободный от всякой регламентации и насилия, считаем необходимым высказать несколько соображений в защиту бабувизма.

Бабувизм, как самостоятельное коммунистическое движение, нашедшее свое выражение в позднейших сочинениях и статьях Бабефа и его учеников, а равно в безымянных, но носящих яркую печать бабувизма, воззваниях, памфлетах, песнях и т. п., совершенно неповинен в тех смертных грехах, которые приписывает ему т. Горев.

Правда, бабувизм не представляет стройной законченной системы, а сам Бабеф не является „теоретическим представителем коммунизма", как указывает Маркс. Именно, как подлинное политическое движение, он имеет довольно широкий диапазон различных взглядов и требований. Многое именно в „теории" не является оригинальным, заимствуется у Морелли и даже у Мабли и Руссо, несмотря на противоположность учения последних бабувизму.

И все-таки, как общественное движение, бабувизм имеет вполне определенные черты, которые наложили свою печать на все следующее развитие коммунистической идеологии. Опыт Великой Французской Революции, точнее 1792—1794 г.г., не только коренным образом

[1]) „Под Знаменем Марксизма" № 11—12, 1922 г. Т. Горев, „Элементы бабувизма и фурьеризма в социалистических идеях XIX—XX веков".

изменил воззрения Бабефа, но и явился исходной точкой современного коммунизма. И только беря ранние моменты развития Бабефа и отдельные уклоны в самом бабувизме, можно прийти к оценке т. Горева.

Но обратимся к самому бабувизму для опровержения т. Горева.

В своей последней статье „Идейное наследие бабувизма" [1]) т. Волгин вполне раскрывает значение „Манифеста Равных" и „Акта восстания", этого проекта революционных мер при захвате власти Равными, со стороны их классовой подоплеки. Вопрос идет, конечно, не о „диктатуре бедноты", а о диктатуре городских рабочих—„усердных пролетариев, единственных защитников Революции", которые знают, что: „французская революция только предвестница другой, более великой, более торжественной, которая будет и последней. Народ раздавил королей и попов, поступит так же и с новыми политическими Тартюфами, усевшимися на место старых" [2]).

Тов. Волгин настолько исчерпывающе осветил политическую сторону учения бабувистов, что за окончательным выяснением этой стороны вопроса мы отсылаем читателя к его прекрасной статье.

Перейдем к другой стороне учения Бабефа, к вопросу об организации будущего общества, которая также во многом является результатом опыта революции и никак не укладывается в куцые рамки т. Горева.

Бабувисты хорошо понимают причины современной им классовой борьбы: „Не желающие работать отнимают у деятельных тружеников орудия производства, необходимые для снискания себе пропитания. Существующие законы довели до экспроприации этих столь важных орудий и инструментов у подавляющего большинства рабочих, а затем их до голодной смерти. Разве это не анархия, не грабеж, не худшее убийство?" [3]).

Правда, и здесь „мнения правят миром", правда, что объяснение существующего положения вполне в духе своего времени: „Субъективная оценка придала рабочему дню часовщика ценность в 20 раз большую, чем рабочему дню пахаря, и дала ему возможность приобрести достояние 20 земледельческих рабочих, которых он таким образом эксплоатирует. Все пролетарии очутились в таком положении, благодаря подобным расчетам в области остальных взаимоотношений между людьми" [4]).

Однако момент эксплоатации рабочего через монополию господствующего класса на средства производства подмечен в социалистической литературе впервые. Но он не только подмечен, но и поставлен в центре внимания. Ставится вопрос о способах уничтожения этой эксплоатации и организации нового строя на началах коллектив-

[1]) „Вестник Соц. Академии" № 1.
[2]) „Манифест Равных".
[3]) „Определение".
[4]) „Манифест плебеев".

ного труда. „Коллективный труд,—коллективное потребление; коллективный труд увеличивает богатство, при котором каждый человек с минимальной затратой труда мог бы пользоваться величайшими удобствами“ [1]).

Приведем дословно основные пункты требования Равных: „1) сосредоточить наличные богатства в руках Республики, 2) сделать труд обязательным для всех трудоспособных, согласно способностям каждого, 3) использовать отдельные виды работы, сблизив те из них, которые взаимно содействуют друг другу, дав им направление, которое является исключительным результатом современной концентрации богатства, 4) постоянно собирать в общественные склады все продукты земледелия и промышленности, 5) озаботиться равномерным распределением продуктов и развлечений, 6) положить конец частной собственности и торговле, заменив ее рациональной системой распределения, 7) основать общие воспитательные дома, в которых будут приучать к труду“ [2]).

Не в приведенных ли цитатах т. Горев усмотрел „реакционность“, „аскетизм“, и „суровую регламентацию труда“?

Относительно „аскетизма“ и „регламентации“ бабувисты озаботились разъяснить, возражая на критику М. В., доказывавшего, что строй, намеченный бабувистами, не возможен, ибо в нем отсутствует стимул к работе, к развитию,—что в будущем обществе, благодаря сокращению рабочего дня, обеспеченному существованию, человечество перевоспитается, а труд превратится в „веселое занятие“ [3]). Научная и другая деятельность будет стимулироваться стремлениями к знанию, славе и т. п., и будущее общество рисуется самыми розовыми красками, совершенно чуждыми ненавистной т. Гореву регламентации и аскетизма. Бабувисты отнюдь не противники „духовной культуры“, как полагает т. Горев, они только противники монополизации этой культуры господствующими классами, но это совершенно другое дело и едва-ли может вызвать обвинение в „реакционности“.

Необходима еще одна последняя цитата по поводу грубой „уравнительности“ бабувистов: „Аграрный закон или всеобщий земельный передел был требованием некоторых беспринципных рядовых некоторых народностей, руководимых не столько разумом, сколько инстинктом. Мы стремимся к более высокой и справедливой собственности, к коллективной собственности или общности имущества“ [4]).

Надеемся, что т. Горев не будет особенно настаивать на „грубой уравнительности“, так как именно отрицание уравнительных теорий („Аграрный закон“ Мабли, Руссо и др.), сохраняющих, по сути дела, мелкую частную собственность, является громадным шагом бабувизма вперед.

[1]) „Пропаганда Равных“.
[2]) „Пропаганда Равных“.
[3]) „Пропаганда Равных“.
[4]) „Манифест Равных“.

Если к указанному выше прибавить требование уничтожения исследования, которое „изолирует друг от друга всех членов общества и превращает каждую семью в маленькую самодовлеющую республику“ [1]), обобществления земли, создания коммуны с соответствующим административным и хозяйственным аппаратом, с оплатой администраторов по „средним ставкам“, если дополнить эту программу ясным представлением о революционном насилии и диктатуре, как путях достижения, то мы будем иметь главные черты бабувистской идеологии.

Теперь, оставляя т. Горева в покое, перейдем к выяснению связи, которая существовала между бабувизмом, как идеологическим течением, главные черты которого указаны выше, и теми рабочими слоями Парижа, представителями которых считали себя бабувисты.

Размеры статьи не позволяют остановиться на развитии французского рабочего из цехового подмастерья и приобретении им революционного навыка к эпохе Великой Французской Революции.

Политическая роль рабочих С. Антуана, С.-Марсо и других предместий Парижа во всех решающих событиях Революции достаточно известна, чтобы о ней напоминать. Важно только прощупать в моменты этих социальных взрывов самостоятельные требования того небольшого кадра рабочих централизованных мануфактур, который политически быстро складывался в эпоху революции, важно заметить такие практические попытки, которые давали канву для бабувистского узора. Работы Шарле, Кареева, Кропоткина, Захара Филатова (так наз. „русской школы“ во французской истории) и др. над архивами Парижских секций дают некоторые указания в этом направлении.

Дается разгадка необъяснимого ранее разгрома зданий принадлежащих мануфактуристам Равельонцу и Анрио, которым открывается эпоха революции, произведенного рабочими под лозунгами „да здравствует 3-е сословие“. Разъясняется различное содержание этого лозунга в зависимости от класса, который его выдвигает. Падает пресловутое представление об единстве „третьего сословия“, подобно тому как пало ныне понятие „демократии вообще“, которое уже не прикрывает противоречий пролетарской и буржуазной демократии.

Жизнь рабочих окраин встает в истинном своем значении главной пружины многих фактов Великой Революции. Декрет о Рев. Трибунале, введение закона о „максимуме“ (фиксация цен товаров и заработной платы, в отношении, выгодном для рабочих, значение, которого гораздо шире и определяет целую эпоху диктатуры монтаньяров) проведены якобинцами только под угрозой секций „считать себя в состоянии восстания“.

Величайшая самодеятельность рабочих в секциях „Революционной Коммуны 10 августа“, отказавшейся подчиниться декрету Конвента о роспуске, сказывается и в организационном строительстве

[1]) Письма Бабефа.

внутри самих секций. Вся административно-хозяйственная жизнь „военного лагеря“ ложится на плечи Революционных Комитетов, Комитетов Наблюдения, Гражданских, Продовольственных, Военных, Призрения, Земледелия и т. д., словом, того аппарата, который позже намечали бабувисты для осуществления коммунизма.

Буржуазия, терроризированная реквизициями, „максимумом“ и др. местными мероприятиями, давно бежала из секций, и революционным рабочим приходилось самостоятельно руководить этим аппаратом, накоплять первые крохи опыта в общественном и хозяйственном строительстве, легшие в основу бабувистского представления о будущем строе.

Сохранившиеся документы, написанные явно неграмотной рукой, свидетельствуют о тех колоссальных трудностях перед которыми оказались рабочие революционных секций. Борьба с контр-революцией, организация и снабжение армии и населения принуждали секции все брать в свои руки, пускать в ход мастерские, мануфактуры, оставленные хозяевами, назначать, смещать заведующих, заботиться о снабжении предприятий и т. п.

Словом, секции организуют жизнь и хозяйство целого города. „В воздухе запахло социализмом“, „почти социалистические попытки“ отмечают вышеуказанные авторы.

Обращаясь к мануфактурам, к роли рабочих на них в эпоху власти якобинцев, можно отметить многие моменты, нашедшие свое выражение у бабувистов. Тарле отмечает, что и на Королевских, позже Национальных, мануфактурах (Севрская, Гобелены и др.) „рабочие являются некоторое время господами положения“ [1]), устраняют администрации, участвуют в управлении, устанавливают тарифы (оплата директора не превышает двойного оклада рабочего), организуют пайковое снабжение, огородное дело и т. п.).

Однако все доклады якобинских эмиссаров о национальных мануфактурах отмечают, что рабочие чувствуют себя некомпетентными в управлении. Это—общая черта для всех шагов рабочих на этом пути.

В общей грандиозной картине Великой Французской Революции нас интересуют эти мелкие штрихи, потому что именно они натолкнули бабувистов на вопросы о форме организации труда, организации самой коммуны и принципов, долженствующих лечь в ее основу. Из самой практики парижских рабочих складывалась коммунистическая теория бабувистов.

Однако не следует преувеличивать непосредственной связи бабувистов с рабочими в секциях. И хотя Олар отмечает, что „без сомнения, народ прислушивался со вниманием к словам Бабефа“, Тарле утверждает, „что целые мастерские и фабрики является сторонниками Бабефа“ (Тель указывает цифру 17.000 сторонников в одном

[1]) Тарле, „Раб. нац. мастерск“.

Париже), а сам Бабеф в письме к Директории рисует заговор мощной организацией, раскинувшейся по всей Франции.

Однако все эти утверждения требуют дальнейшей проверки, так как фактического материала по этому вопросу далеко не достаточно. Между тем на протяжении всей революции определенно бабувистских массовых требований не слышно, а разгром Заговора Равных и казнь Бабефа не вызывают заметного движения в рабочих кварталах.

Последнее, впрочем, можно объяснить и тем, как проговорился бонапартский публицист, „что рабочие спокойны, потому, что они обезоружены“.

Во всяком случае установить организационные связи заговора с широкими массами революционных предместий сейчас не является возможным.

Бабеф и бабувисты слишком поздно идеологически оформили стихийные попытки рабочих взять на себя непосильные задачи, было уже невозможно повести за собой рабочие массы, физически и морально истощенные в предыдущей борьбе, уже неспособные даже на защиту своих насущных прав.

Восстание секций в 1795 году, давшее свободу Бабефу, изображается буржуазными историками, как восстание роялистов, и только Карееву удалось установить его истинный характер последнего движения истекших кровью секций.

По иронии судьбы, секции, освободившие Бабефа, не были уже в состоянии поддержать его.

Однако бабувизм как теория, как объективное выражение вынужденных попыток рабочих масс осуществлять „военный коммунизм“, как выражение первых практических шагов рабочих в борьбе с буржуазией, остается крупнейшим фактом в истории социализма.

Достаточно проследить непрерывную идейную и персональную связь от „Заговора Равных“ через заговоры „Времен года“, „Семьи“ к их немецким секциям, к „Союзу изгнанников“ „Заговору справедливых“ и, наконец, „Союзу коммунистов“, чтобы убедиться в громадном значении бабувизма, как исходной точки коммунистического рабочего движения XIX века.

Некоторые буржуазные ученые „признают необходимость произвести пересмотр вопроса о соотношении реальных сил демократических элементов населения и прежде всего рабочего класса“ [1]) в эпоху Революции и работают над очищением истории этого периода от тенденциозных буржуазных искажений. А т. Горев попрежнему тянет старую песню, изображая совершенно превратно как самый бабувизм, так и его значение.

Б. Шеболдаев.

[1]) Тарле.

О книге академика Лаппо-Данилевского[1]).

(Стенограмма сообщения на заседании редакции с сотрудниками 21 апреля 1923 г.).

Книжка Лаппо-Данилевского не заключает в себе методологии истории, а представляет скорее попытку истории методологии истории. Может быть, во втором томе будет и о методологии. Здесь Лаппо-Данилевский, как полагается академику, пытается самым объективным образом изложить в хронологическом порядке все методологические взгляды по истории, которые высказывались с сотворения мира до наших дней, и делает это с большой добросовестностью. Для справок его книга весьма полезна. Тут можно найти и о таких писателях, изложение взглядов которых вы найдете не во всяком энциклопедическом словаре. Что же касается анализа исторического метода, очевидно, это будет в следующей части. Будет ли это так же скучно, как то, что написано здесь—я не знаю. Оригинального постановка Лаппо-Данилевского ничего собой не представляет. Он исходит из обычного противополбжения „номотетической науки" и „идеографической". Я думаю, что не нужно здесь объяснять, в чем заключается разница между номотетической и идеографической точками зрения: первая пытается установить законы явлений, вторая ограничивается описанием отдельных индивидуальных процессов. Некоторый интерес представляет то, что весь конец первой, номотетической, части заполнен попытками изложить взгляды Маркса и Энгельса. Передать, как он это излагает, я не могу. Представьте себе человека, абсолютно не понимающего марксизма и пытающегося изложить его по книжке. Он берет из Маркса не то, что для него характерно. Попадается ему статья „Judenfrage", и он почерпывает из нее материал. Ему кажется, что „Judenfrage" и все остальные произведения Маркса стоят на одной плоскости. Получается нечто совершенно своеобразное. Энгельс оказывается гораздо левее Маркса. Я всегда думал наоборот. Маркс, по уверению Лаппо-Данилевского, допускал идеализм в ограниченном размере. Что касается Энгельса, он до последних лет жизни был неумолимым материалистом, и в этом смысле поправлял Маркса. Но под конец жизни и он разочаровался в материализме. И в последних письмах он поэтому сделал отступление от Маркса. Взгляда на Маркса здесь нет никакого. На этой главе можно иллюстрировать всю методику Лаппо-Данилевского. Он берет книжку, абсолютно оторванную от среды, где она сложилась. Для него книжка есть книжка. Когда и где она написана, до Рождества или после Рождества, в Африке, Японии или Китае—ему все равно. Он излагает содержание этой книжки. Так же подходит он к Марксу. Но попробуйте объяснить идеологию Маркса, не давая исторической среды, ни 1848-го года, ни рабочего движения,—абсолютно ничего не поймете. Это радикальнейший способ закрыть для себя понимание Маркса. Лаппо-Данилевский берет все сочинения Маркса, делает из них кашу и ложечками подносит вам Маркса. Вы там прочтете, что Маркс вовсе не рассматривал человека, как „совокупность общественных отношений". Лаппо-Данилевский доказывает, что Маркс смотрел на человека с гораздо более возвышенной точки зрения. „Маркс, пожалуй, допускал возможность рассуждать о человеке в целом, а не только в смысле „персонификации экономических категорий" или носителя „классовых интересов и отношений" и, значит, мог представить себе, что человек возвышается над собственно экономическими отношениями, классовыми интересами и т. п. в поступках не экономического характера" [1]).

„Впрочем, Маркс не совсем упускал из виду то значение, какое в известной мере имеют „идеи" в самом широком смысле слова, и не отрицал существования идеальных целей в человеческих представлениях и стремлениях; он полагал, что „результат работы уже идеально и предварительно имеется в представлении работника", что материальный способ производства „прежде превращается в головах людей в представления и идеи", и, значит, приписывал им некоторую роль в социальной жизни; он указывал, например, на то, что человек работает „между прочим" под влиянием данной степени научного развития, ввиду „цели", о которой он знает и которая определяет, как закон, род и способ его деятельности, что „целесообразная воля" требуется для ее исполнения, что „сознательное приложение" научных знаний к пользованию силами природы играет все более заметную роль, что „классовое сознание" влияет на борьбу классов и т. п; с такой точки зрения он признавал, что между экономическими и идеологическими формами, раз они возникли, может быть „взаимодействие", что идеи часто давали ближайшее основание для исторически предстоящих изменений в области права, что политические отноше-

[1]) А. С. Лаппо-Данилевский. Методология истории. Выпуск первый. Посмертное издание. Петроград 1923 г.

[1]) Лаппо-Данилевский, стр. 235.

ния влияли на производственные и т. п.; но он настаивал на „заранее данных условиях", при которых люди действуют, отрицал, что человеческие представления о добре и зле имеют самостоятельное существование в особом (нравственном) мире и что они могут возникать в виде самостоятельного, обособленного (от материальных факторов) причинного ряда; вместе с тем он утверждал, что преследуемые время от времени идеальные цели—не последние причины социальных движений, но что сами они возникли лишь в виде отражения определенного состояния общественного хозяйства. Таким образом Маркс все же приходил к заключению, что социальные идеи, представления и желания законосообразно зависят от социального хозяйства и реальных изменений, происходящих в нем" [1]).

Все эти попытки „смягчить" Маркса и косвенно „кольнуть" его „непоследовательностью",—разумеется, только смешны. Не лучше обстоит дело и с Энгельсом: „В позднейших своих сочинениях Энгельс высказал несколько замечаний, в сущности, ограничивающих область приложения таких взглядов. Незадолго до смерти Маркса Энгельс стал заявлять, правда, мимоходом, что положения о зависимости идеологии от экономии имеют силу „до теперешнего времени": „всякая моральная теория, доныне построенная,—писал он,—например, в своей критике учения Дюринга, есть, в последней инстанции, порождение экономического положения общества данного времени" [2]). Можно сказать, подражая Энгельсу, что такого гелертерского тупоумия мир „до теперешнего времени" еще не видел; но это отнюдь не значит, что гелертерское тупоумие является новостью.

Что можно извлечь из этой книги? Я кое-что извлек. Может быть, мне, только по невежеству моему, кажется это более или менее интересным. Это интересно прежде всего для иллюстрации той мысли, что единственными людьми, у которых складывалось известное общее представление об историческом процессе, оказывались или материалисты, или бывшие под влиянием материалистов. Лаппо-Данилевский в данном случае дает своему излагателю большой козырь в руки. Удивительно, что человек, написавший книжку о методологии истории, специально не трактует самого исторического философа XIX-го века, Гегеля, потому что вообще писать об этом, не упоминая Гегеля—невозможно. Но по непонятным причинам он нигде специально на нем не останавливается. Он излагает отдельные его мнения, но не гегелианство, как систему. Это особенно курьезно у русского историка. Русская история испытала колоссальное влияние Гегеля через Чичерина и Соловьева. Но, не останавливаясь специально на Гегеле,

[1]) Ibid., стр. 232—233.
[2]) Ibid., стр. 234.

Лаппо-Данилевский не скрывает материалистов. Прежде всего он дает очерк истории культуры Лукреция. Он всем, вероятно, известен. Я его отметил. У Лукреция есть определенный переход от материализма философского к материализму историческому. „Лукреций различал несколько главнейших факторов прогресса—нужду, опыт и разум, который с течением времени „наставил" людей: он ярко характеризовал их в состоянии „дикости" и дал понятие о естественном происхождении языка, некоторых проявлений духовного и материального быта, обычаев и учреждений, а также о постепенном развитии более совершенной гражданственности. Лукреций усматривал в нем несколько периодов: он отличал, например, древнейшее беспорядочное сожительство и жизнь каждого „для себя и для своей самозащиты" от более постоянного общения между людьми, которое наступило после изобретения огня, появления жилищ и других удобств жизни, происходило у семейного очага благодаря смягчению нравов и водворилось в силу некоего соглашения и справедливости среди нескольких семей или общества; при характеристике последующего периода он принимал во внимание образование членораздельной речи, возникновение религии, открытие металлов (сперва меди, потом железа) и появление промышленности, а также искусств; вслед затем он отмечал деятельность царей, приступивших к основанию городов и установлению частной собственности, изобретение письменности и процветание торговли, падение царской власти и учреждение магистратур, а также законов, зарождение международных союзов и т. п. Впрочем, утверждая существование прогрессивного развития человечества, Лукреций предвидел и его предел: он полагал, что мир ветшает и медленно приближается к гибели, которой подвержено все человеческое" (стр. 58).

Как видите, тут есть зачатки и материалистического объяснения истории и, если хотите, диалектического. Еще любопытнее в этом отношении Полибий, у которого мы встречаем диалектику в довольно развернутом виде: „Полибий довольно отчетливо формулировал естественный закон таких переходов": прежде всего возникает единовластие, без всякого плана, само собою, за ним следует и из него образуется, посредством упорядочения и исправления, царство; когда царское управление переходит в соответствующую ему по природе извращенную форму, т.-е. тиранию, тогда, в свою очередь, на ее развалинах вырастает аристократия; когда затем и аристократия выродится в олигархию и разгневанный народ выместит обиды правителей, тогда нарождается демократия; необузданность народной массы и пренебрежение к законам порождает с течением времени охлократию... и т. д. (стр. 62). Смысл тот, что всякая форма общежития в процессе развития превращается в противоположную. Я предполагаю, что Лаппо-Данилевский это выписал ради последней цитаты, характеризующей охлокра-

тию: „тогда толпа, собравшаяся вокруг вождя, совершает убийства... и т. д.“. Это было выписано явно не без удовольствия. Но это все вещи общеизвестные. Для Лаппо-Данилевского была новостью теория арабского историка Ибн-Халдуна. Сам по себе это был тип довольно банального „правоверного мусульманина“. Но вся арабская философия была пронизана материалистическим влиянием, и от нее пошел „аверроизм“ который заразил тогдашнее—конца средних веков — европейское общество и таких его представителей, как Фридрих Второй Гогенштауфен. Теория Ибн-Халдуна очень любопытна в этом отношении: „Действительно, Ибн-Халдун уделял много места изучению географических условий человеческого существования: он признавал, что климат и в особенности „воздух“, а также почва оказывают действие не только на физические свойства людей, на цвет их кожи и т. п., но и на их характер, а также на их образ жизни и учреждения; он принимал в расчет то влияние, какое имеют изобилие или недостаток в пище и ее качества на человеческие общества, на тела и на души их членов; он полагал, что „способы, какими народ доставляет себе средства существования“, обусловливают его „обычаи и учреждения“; он отмечал то действие, какое рост населения оказывает на его культуру; он говорил еще и о некоторых других факторах ее развития, в особенности об общем чувстве родства или принадлежности людей к данному племени, играющем существенную роль в возникновении их общежития и предшествующем образованию истинно религиозной связи между ними в государстве, а также о средствах, нужных для последующего его благосостояния: о промыслах и торгах, об искусствах и науках и т. п.; он обращал внимание и на то соотношение, какое существует, по его мнению, между факторами подобного рода, и приходил к заключению, что „после того, как люди, живущие в обществе, могли доставить себе своим трудом более того, что им нужно было для их существования, они обращают свои взоры на более отдаленную цель и занимаются такими предметами, которые, подобно наукам и искусствам, теснее связаны с собственно человеческой природой и в большей мере свойственны ей“[1]). Это писал араб XIV-го века. Затем И.-Х. рассматривает с этой точки зрения развитие истории и дает общую схему культурного развития, поразительную, если вспомнить, что это написано арабом XIV-го века и в самой глуши средних веков. Это несомненно влияние арабского аверроизма. Другое более близкое нам влияние французских материалистов. Как французские материалисты смотрели на историю—факт общеизвестный, но факт также и то, что они из своей философии предпосылок для истории извлекали чрезвычайно мало. Они были

[1]) Ibid., стр. 77.

очень плохими историками. И, кроме общих рассуждений, у них ничего нет. Можно было бы думать, что материализм XVIII-го века в этом отношении послужил чем-то вроде удобрения для гегелианцев. Мое личное мнение, что Гегель многим обязан французским материалистам. Я думаю, что то, что они дали для закономерности исторического процесса, было использовано гегельянством. Но, оказывается, был писатель XVIII-го века, не француз, писавший задолго до Гегеля, который сумел сделать вывод из предпосылок французских материалистов и предвосхитил тот до-марксистский материализм, который мы находим отчасти у Бокля, отчасти у нашего Щапова. Это известный лингвист Аделунг. „Известный лингвист Аделунг, вероятно, знакомый с трудом Гельвеция,—говорит Лаппо-Данилевский,—последовательно развил мысль о том, что исторический процесс есть преимущественно результат увеличения населения, которое, при ограниченных пределах земли, занимаемой данной нацией, влияет на ее экономическое развитие, а вместе с ним и на другие явления культурной жизни. В самом деле, по мнению Аделунга, повышение численности населения повело к тому, что охотничьи и пастушеские племена перешли к земледелию, связанному с развитием частной собственности, и что они, благодаря возраставшей скученности, начали заниматься ремеслами и складываться в гражданские общества; такой процесс обнаружился, например, в истории „густо населенных ионийских островов“ или в переменах, происшедших в жизни средне-европейских племен в начале средних веков; вместе с тем рост населения соответственно отражался и в других сферах культуры: такой процесс был, например, „главнейшей причиной“, „обусловившей и ускорившей“ развитие европейского просвещения в новое время, а также способствовал смягчению нравов, ибо чем ближе люди сходятся, тем больше они „шлифуются“ друг о друга. В связи с ростом населения Аделунг выдвигал, однако, вообще развитие экономической жизни, в свою очередь обусловливающей успехи „просвещения“: размножение населения побуждает людей к подысканию новых, более разнообразных и более совершенных способов пропитания и изощряет их изобретательность, которая, вместе с новыми способами пропитания, порождает избыток; избыток, в свою очередь, дает возможность пользоваться досугом, а досуг, если только он, при жарком климате, не превращается в косность, вызывает стремление к спекулятивным размышлениям и к работам духа. Такие положения Аделунг применял к построению разнообразных состояний и периодов культуры: законы Моисея, например, отражают переходную стадию еврейской экономической жизни от кочевого быта к земледельческому; феодальный строй, сложившийся после завоевания, стал разлагаться, благодаря росту населения, а, значит, и усилению его потребностей, не находивших себе удовлетворения в старом

порядке и вызывавших борьбу между повинующимися и повелевающими; рецепция римского права должна была удовлетворить осложнившемуся гражданскому обороту; монастыри и крестовые походы, в сущности вызваны были стремлением европейских наций освободиться от избытка населения, лишенного надлежащего пропитания; современные науки и искусства (в той мере, в какой они не были унаследованы от древности) возникли под влиянием потребности увеличить или изыскать новые средства к существованию и т. п." [1]).

Как видите, диалектики здесь нет. Это не марксизм, но это попытка экономического объяснения всего исторического процесса, основанная, не на законе, который мы напрасно называем законом Левассера, а на законе Аделунга, который за сто лет до Левассера развил это. Ковалевский все время держался такого упрощенного экономического объяснения истории. А Ковалевского многие почтенные люди, конечно, не марксисты, всерьез считали за исторического материалиста. К сожалению, Лаппо-Данилевский, не касается ни Кондорсе, у которого можно найти кое-какие материалистические объяснения, ни Барнава, у которого есть развернутая теория классовой борьбы. Впрочем, виноват: о Барнаве у него есть несколько строк: „Барнав противополагал аристократию, т.-е. класс крупных земледельцев, работоспособному классу, развивающемуся на почве „промышленной собственности" и уже вступившему с ним в ту борьбу, которая должна привести к народовластью и т. п." [2]).

В общем, безусловно полезно пользоваться этой книгой для справок. Из нее даже можно извлечь кое-что новое. Но, как теоретическая работа, она никакого интереса не представляет. Может быть, во втором томе будет что-нибудь интересное. У меня относительно Лаппо-Данилевского, со времени его первой работы „История прямого обложения в Московском государстве", создалось определенное мнение, что он может одолеть невероятное количество материала и изложить его, но не пойти дальше.

М. Н. Покровский.

[1]) Ibid., стр. 204—205.
[2]) Ibid., стр. 206.

О „левом фронте" в искусстве.

Хоть ты и в новой коже,
Да сердце у тебя все то же.

Мы будем говорить не вообще о футуризме, а исключительно о тех футуристах, которые объединились вокруг журнала „Леф".

Футуризм, как продукт разложения психологии буржуазного общества, давно и жестоко осужден, и вряд ли в данное время надо повторять старые многочисленные возражения против его глубоко отрицательного влияния.

Другое дело „Леф"—левый фронт в искусстве. Это не просто футуристы, а комфутуристы, коммунисты-футуристы, и в той или иной мере приемлющие пролетарскую революцию, ей сочувствующие.

„Все течет", все изменяется, приспособляется к новым условиям жизни и футуризм.

В былые времена обыватель верил, что социалисты-революционеры левее социал-демократов, потому что они бросают бомбы, орудуют с динамитом, убивают министров и мечтают о самом Николае II. Самые же левые в представлении обывателя—анархисты: эти хотят, как Савва андреевский, сравнять все с землей и начать заново строить. Что строить и как строить,—в этом обыватель мало разбирался.

„Леф" рекламирует себя, да еще как, левым, потому что он: Пушкина долой, Некрасова к чорту, Рафаэля тоже, Бетховен не нужен, словом—все, все, все долой.

Он не может принять „старой" школы, потому что Фет, по статистическим подсчетам О. Брика, или кого-то другого, в своих стихах вместо лошадь употребляет конь и не хочет в поэзии употреблять слово сволочь. Согласимся, что у Фета лошади нет, но зато она есть у Пушкина и у Хлебникова. Цитирую по „Лефу": Хлебникову „так приятно целовать копыто у коня", „и кнесь и князь и конь и книга". Добавлю, что автор воспоминаний ко всему этому заявляет: „кстати скажу, что коня Хлебников уважал". Оказывается, от коня не отказывается и левый фронт. И так во многом.

Но что вместо Пушкина, Чехова, Короленко и других, в погоне за раздачей „пощечин общественному мнению", дают футуристы?

Читаем:

Згара-амба
Згара-амба
Згара-амба
Згара-амба
Амб.
Шар, шор, шур, шир
Чин, драх, там, дзз.

В другом случае, очевидно, от избытка фантазии, они показывают, как генерал снимает штаны и усаживается на судно.

И находятся „умники“ в нечленораздельной речи, в животном крике, в мейерхольдовском судне и генеральской „европе“ видят левое течение в искусстве, да еще пролетарское, коммунистическое, без которого рабочий класс, видите ли, не может жить, потому что его опошляют Пушкин и Некрасов.

Только футуристы, если верить их рекламному крику и шуму, представляют искусство пролетариата, только они выражают коммунистические чаяния. Все остальное—„старье—навоз, но не пища“.

Как много писалось и говорилось, что пролетариат должен использовать старую культуру, что он не может обойтись без нее, покуда не перерастет ее; а это произойдет не сегодня, не завтра, а через несколько лет; и вдруг—все долой. Как было бы полезно этим мелко-буржуазным анархистам в искусстве почитать статьи Владимира Ильича. Может быть, кое-что и поняли бы, потеряв страсть к „копыту коня“ и к раздаче „пощечин“.

На самоуверенные, заносчивые выкрики футуризма пролетариат ответил дружным протестом против футуристических плакатов, не так давно безобразивших рабоче-крестьянскую республику. Свое отношение к этого рода искусству пролетариат выразил следующими словами рабочего-публициста Ф. Калинина: „футуризм—это есть социальное явление капиталистического порядка, буржуазная идеология, дошедшая до пределов своего конечного развития. Это—предсмертное метание буржуазного духа, его ошалелость, предчувствующая гибель. Отсюда выходят все выверты, дикие танцы, шарлатанство, фокусничество, пир во время чумы. По народному поверию, чорт боится ладона, а буржуазные идеологи в искусстве и других областях, в период дряхлости капиталистического строя, также боятся и чураются разума и сознания“.

О футуризме высказалась и коммунистическая партия. Центр. Ком. Р.К.П. в своем особом письме осенью 1920 г. жестоко осудил футуризм, признав его вредным буржуазным влиянием. И партия глубоко права.

Футуристы—бунтари. Это бесспорно. Но дело ведь не в самом акте бунтарства, а в том, во имя чего поднят бунт и к чему он ведет. Против Толстого и Станиславского во имя „заумного“ выдуманного языка и нелепого конструктивизма мейерхольдовского театра, во имя кубов и квадратов, а иногда и просто старой разорванной иллюстрации, в беспорядке наклеенной на картон! Против прекрасного, хотя бы и отживающего, во имя кривляния! Нет! Такое бунтарство нас не прельщает. Прав Ф. Калинин, когда он в беспокойстве писал: „на нас лежит обязанность произвести дезинфекцию и поставить вентиляцию по последнему слову техники“.

Теперь Госиздат взял футуристов под свое денежное покровительство, а косвенным образом и под идейно, являясь издателем журнала „Леф“. Пусть бы этим ненужным делом занимались частные издательства.

В новом журнале футуризма, как уверяют писатели „Лефа“, появились „новые“ формулировки. На основных из них мы и остановимся.

Деятели „левого фронта“ за искусство классовое. Это, конечно, хорошо. Но это не ново. В начале текущего столетия марксисты много спорили о классовой борьбе, а теперь, после империалистической и гражданской войны, каждый рабочий, ни строчки не читавший о классах, на опыте знает, что такое классовая борьба. Но раз футуристы заговорили о классовом искусстве, значит, история сильно ударила по их мозгам—и не безрезультатно. Только не нужно выдавать восприятие истин за открытие Америки.

„Левый фронт“ в искусстве держится ультра-реализма, он реалист из реалистов. По крайней мере, на словах.

Плеханов тоже был реалистом и очень последовательным, хотя и не ультра. На 6-ой международной художественной выставке в Венеции ему очень понравилась картина „Вечереет“ итальянца Джузеппе де-Санктисса. Георгий Валентинович так описал ее: „Оживленная улица большого города, на переднем плане впадающая в площадь; зажигаются уличные фонари; освещаются магазины, и их свет красиво отражается в покрывающих мостовую лужах. Внизу на тротуаре—городской вечер, со свойственным ему искусственным освещением, уже совсем вошел в свои права, а сверху, в конце улицы, падает сноп голубого света умирающего дня. Де-Санктисс превосходно изобразил,—разъясняет Плеханов,—ту поэзию, которой веет от этой мирной борьбы ночного света с дневным, и которую каждый из нас может наблюдать в самых прозаических кварталах самых прозаических городов нашего времени. В этих городах поэзия не частый гость, но зато и более желанный“.

Такой реализм рабочий класс признает и понимает.

„Левый фронт“—реалисты другого толка. Их „реалистические“ плакаты хорошо нам известны, и реализм Плеханова для них пошлость, навоз, а не пища для пролетариата. Они не просто реалисты, а ультра-реалисты, сверх-реалисты, поэтому в их „картинах“, „конструктивизме“, „стихах и прозе“ зачастую нет абсолютно никакого смысла.

Бунт против реализма Плеханова за реализм Татлина мы не признаем и никогда не признаем, потому что мы не хотим терять здравого смысла в угоду обезьяньим ужимкам и кривлянью.

О „Лефе“ Плеханов не скажет своего умного слова, но поскольку

он успел бросить несколько замечаний о кубизме и манерничании, он уже оценил „левый фронт". Кубизм он осудил, как „чепуху в кубе", как „умопомрачительное творчество",—манерности он посвятил целый ряд теоретических соображений, привел много исторических справок и тоже, конечно, осудил.

О „Молодом поколении" Тооропа—художника символиста и импрессиониста—покойный Плеханов писал: „Тут даже и не фантазия, а все, что в голову взбредет. Что то вроде леса, состоящего из чего-то вроде деревьев. Какая-то женская голова, выглядывающая из какой-то расселины, а на переднем плане с левой стороны—телеграфный столб. Поймй, кто может! Это не картина, а ребус".

Если так Плеханов писал о Тоороне, то что бы он сказал о „коммунистическом" искусстве „Лефа", о конструктивизме А. Лавинского и Ж. Гросса, которые „пробуют дать абсолютно реалистическое изображение мира", отображенное в их „разорванном сознании". Наверное, брезгливо отвернулся бы.

„Левый фронт" за искусство идейное. Конечно. Он свирепый враг всякой безыдейности. Он за искусство утилитарное, готов даже свести его на уровень обычной агитации. Но это тоже не ново и не оригинально. Людовик XIV, Наполеон I и Николай I были тоже за идейное искусство. Они хотели, чтобы искусство и литература служили нравственным целям. Не надо забывать, что утилитарный взгляд на искусство свойственен и революционерам и монархистам, лишь бы у каждого из них был „живой и деятельный интерес к известному,—все равно к какому именно,—общественному порядку или общественному идеалу".

Гонкур рассказывает, что в салоне 1793 года Флерио, один из членов жюри, был недоволен выставленными барельефами, потому что в них мало выражены принципы революции, а Дюфуа требовал, чтобы знания были просты, как добродетель человека, и утверждал, что геометрия возродит искусство.

„Нечего и говорить,—замечает по этому поводу Плеханов,—что здесь мы имеем дело с огромнейшим преувеличением, что здесь мы дошли до того предела, дальше которого рассудочность не могла итти даже в то время крайних выводов". Утилитарность не всегда совпадает с эстетическим чувством. Это подтверждает вся история человечества, а что будет через сто лет, и как коммунистическая экономика отразится на общественной психологии, а через нее и на искусстве, гадать не будем. Как нельзя признать каждый полезный поступок нравственным, так и стремление к утилитаризму еще не делает произведение художественным.

Мы не отрицаем утилитарного искусства и твердо убеждены, являясь последователями марксизма, что наше время не может ни в какой степени принять безыдейного искусства.

Мы указываем так называемому левому фронту, что в большей части, практически он стоит на позиции „искусства для искусства", а „ультра-реалистическая" точка зрения реальное превращает в „неудобосказуемое, понятное — в бессмыслицу, художественное — в мерзость".

Какое же это полезное искусство, когда его на $^{9}/_{10}$ никто уразуметь не в состоянии? И как оно в таком случае может служить рабочему классу?

Итак, „левый фронт" по своим делам не является выразителем ни реалистической тенденции, ни глубоко идейного классового настроения пролетариата.

Футуристы, если очистить их статьи от марксистской терминологии, которой они сильно злоупотребляют, стоят на точке зрения А. Глейза и Ж. Метцэнжэ, которые, не отрицая существования предметов, действующих на наши внешние чувства, в то же время утверждают, „что разумная достоверность возможна лишь по отношению к тому образу, какой вызывается им в нашем уме". А это в конечном счете ведет к „единственной реальности", к знаменитому „Я", против которого марксисты так борются.

Футуристы из „Лефа" отрицают искусство—жизнепонимание, они за искусство—жизнестроение. Статья Н. Чужака так и озаглавлена: „Под знаком жизнестроения". Но как теория жизнепонимания, так и теория жизнестроения еще ничего не говорят без конкретного анализа. Николай I по поводу комедии „Не в свои сани не садись" сказал: „это не пьеса, а урок". Он стоит на теории жизнестроения. Важен не бунт и жизнестроение, а во имя чего бунтуют, что и как строят при помощи „ультра-реализма" и „заумного", вымученного языка.

„Искусство, как единый радостный процесс ритмически организованного производства товаро-ценностей в свете будущего,—вот та программная тенденция, которая должна преследоваться каждым коммунистом".

Тут вся соль, вся премудрость новейшего русского футуризма. Предположим, что в этом определении все в порядке и все к месту, и все-таки мы испытываем большие недоумения.

Организованного производства до пролетарской революции и во время ее нет; всем хорошо известно, что капиталистическое общество характеризуется анархией производства. Наш переходный период тоже не сразу дойдет до организованного производства, организованного в точном и высоком смысле, т.-е. строго планового, социалистического производства. Что же касается до ритмически организованного производства, то это даже и не совсем понятно, а если и согласиться с данной терминологией, выражающей как бы самую высшую форму организации производства, то такое производство наступит

весьма не скоро, и каков тогда будет „свет будущего", никто не сможет сказать, даже самый автор столь „причудливой" формулы.

Поскольку же мы убеждены, что бытие определяет сознание, мы не без основания полагаем, что искусство Чужака в лучшем случае наступит в весьма отдаленные времена, или же, по словам самого автора, „когда действительная жизнь, насыщенная искусством до отказа, извергнет за ненужностью искусство". По словам автора, этот момент будет благословением футуристического художника, его прекрасным „ныне отпущаеши".

Мы думаем также, что „ныне отпущаеши", правда, не совсем прекрасное, уже наступило для футуристического художника, все от него отвертываются, кроме небольшой кучки еще не изживших развинченной, неврастенической психологии интеллигенции.

Исчезнет футуризм, но это далеко не значит, что исчезнет совсем искусство. Мы марксисты—люди трезвые, и еще никто из нас до такого абсурда не договаривался, что искусство в коммунистическом обществе не нужно. В нем-то искусство и будет процветать. Оно изменится в своих формах, по своему содержанию,—новые задачи встанут перед ним,—оно может принять характер, совершенно нами непредугадываемый; но поскольку жизнь все более и более усложняется, в процессе хотя бы постепенного, но неуклонного завоевания сил природы, искусство, как средство организации жизни, не исчезнет и не может исчезнуть, покуда не порвется сама жизнь, и несмотря на то, что в человеке сознание и чувства все больше и больше объединяются, и разум руководит инстинктом.

„Искусство единый радостный процесс". Что тут нового и оригинального? Что тут специфически пролетарского? Конечно, искусство—процесс. Кто с этим не согласится? Всякий согласится, не исключая и Наполеона I. Но почему процессс радостный? У нас привыкли к слову труд в будущем прибавлять прилагательное радостный. Корни такого представления надо искать в демократически-буржуазном обществе. Надо твердо помнить и знать, что не только в наше время, но и в будущем, не всякий труд и не всегда—радость. Искусство, как несомненный вид труда, также не всегда сопряжено с радостью. Искусство и труд—радость только в голой абстракции, совершенно оторванной от живой действительности, которая обусловливает труд многими своими сторонами и к радости прибавляет неудовольствие.

Мы стоим на монистической точке зрения и, следовательно, отвергаем, решительно отвергаем, всякий даже намек на дуализм, но мы совершенно не уясняем, что такое искусство, как единый процесс „в свете будущего". Если принять толкование, что искусство отражает в жизни движущие ее вперед тенденции, то это как будто бы противоречит искусству жизнестроения, как оно мыслится „Лефом", и скорее напоминает теорию и искусство жизнепонимания. Если же искусству-процессу единство придает „свет будущего", то неизбежно встает вопрос об идеализме, метафизике, мистике и прочих подобных вещах.

Автор мыслит искусство как психический процесс, так как радость, конечно, относится к области психики, но не идеологии. Психический же процесс у разных людей, несмотря даже на сходство идеологии, в силу многих причин, дает не одинаковые результаты и не всегда радостен. Всякая попытка объяснить искусство с психологической или биологической точки зрения никогда не давала положительных результатов. Понятно, что искусство без психики невозможно, как, например, невозможно существование человека без сердца, но психический процесс ничуть не объясняет роли искусства и не может быть положен в основу определения, хотя бы и не претендующего на точность. Это ведь азбучная истина марксизма. Иначе придется признать, что сознание определяет бытие. А к этому футуристы приходят.

Этот психизм выступает у автора даже тогда, когда он пытается бороться с психизмом. Восхваляя био-механику Вс. Мейерхольда (кстати, чистейшая чепуха), противопоставляя „конструктивный биомеханический театр" театру психологизма, Чужак незаметно и не в первый раз впадает в психизм, когда подходит к театру с точки зрения оценки воздействия на психику зрителя.

Н. Чужак подходит к искусству с двух сторон: во-первых, как к психологическому процессу, во-вторых, с точки зрения оценки его воздействия на психику человека. Эта старая-престарая точка зрения. Плеханов не только не держался ее, но и осудил ее. Исходя из основных положений марксизма, он принял искусство как идеологию, которая изображает в себе свойства общественной психики, в свою очередь определяемой экономикой.

Только это монистическая и материалистическая позиция,—заявляет он в „Основных вопросах марксизма".

Если ко всему этому прибавить, что автор рассматривает искусство то как тенденцию, то как подход, то как метод, то как творчество, то как процесс,—формула „искусство—жизнестроение" окончательно теряет свою цельность, стройность и утрачивает всякую теоретическую и практическую ценность.

Объявив себя, на словах, конечно, динамистами, футуристы заявляют себя противниками устойчивых понятий и подходя ко всему с точки зрения „процесса", своеобразно ими понимаемого, валят в одну кучу такие понятия, как творчество, метод, подход и т. п. Они твердо усвоили, что нет вечных истин, но не поняли, что вечные истины и устойчивые понятия, не одно и то же. Классовая борьба, диктатура пролетариата, экономика,—общественная классовая психика,—если это и не универсальные истины, то очень и очень устойчивые понятия, которые давно и долго будут владеть человечеством.

Во всех футуристических суждениях о динамизме, динамизма и грана нет, а если и есть, то очень сомнительного, больше же всего идейной и психологической расхлябанности и неврастении.

Искусство, „как метод познания жизни (отсюда—пассивная созерцательность)", рассматривается, „как наивысшее, и все же довольно укороченное, содержание старой буржуазной эстетики".

Во-первых, пассивная созерцательность никоим образом не вытекает из искусства, как „метода познания жизни"; дело не столько в методе, сколько в целях, которые стоят перед познающим и воспринимающим. Конечно, некоторые общественные группы относились... и относятся к искусству с „пассивной созерцательностью", но тут дело не в самом искусстве, а в общественных группах. Что у одних вызывает „пассивное созерцание", то у других бурное возмущение. Во-вторых, искусство-жизнестроение ни в какой мере не устраняет искусства жизнепонимания, если не относится к нему статически, потому что строение без познания абсолютно невозможно, если мы не блуждаем в волнах химер. Эти задачи в искусстве тесно связаны и находятся в известном взаимодействии.

В „Лефе" вы найдете неоднократные упоминания о марксизме, о коммунизме, о диалектике и о многих других прекрасных вещах, много на его страницах боевых настроений и порывов, но твердого социологического определения там нет. Нельзя же в наши дни козырять лозунгами, что искусство имеет классовый характер, что искусство—не забава.

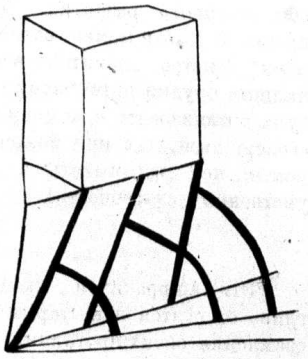
Это знает уже рядовой рабочий, каждый рабфаковец.

В конце статьи Чужак заявляет, что „диалектическое производничество" есть очередная задача футуризма. Мы не принадлежим к сторонникам принципа производничества, сводящего искусство к простому ремеслу, мы хотим взглянуть на производничество с точки зрения искусства—жизнестроения. Журнал ведь стоит „под знаком жизнестроения". Обратимся к коллективной статье: „Наша словесная работа". Литература—искусство, следовательно, она так же носит производнический характер, потому что между искусством слова и искусством красок и линий нет принципиальной разницы. Между тем, искусство слова характеризуется, как „лаборатория для наилучшего выражения фактов современности". Но ведь это теория жизнепонимания, только в худшей формулировке. Такая формировка решительно не дает указаний для понимания искусства.

Но чтобы нагляднее иллюстрировать практику искусства—жизнестроения, „диалектического производничества", обратимся к статье Б. Арватова по поводу схем конструктивиста А. Лавинского.

Это схема дома-квартала. Это „наивысший реалистический" способ выражения действительности, который характеризуется Гроссом как „диалектическое производничество". Так утверждает „коммунистический" „Леф". По нашему,—а мы знаем, что этого мнения держатся и все здравомыслящие,—это чепуха, шарлатанство, издевательство над читателем. Тут не конструктивизм, а убожество, нищенство мысли.

По поводу такого „диалектического" жизнестроения Б. Арватов пишет: „Город в воздухе. Город из стекла и асбеста. Город на рессорах". Что это эксцентрика, оригинальничанье, трюк? — Нет, это просто максимальная целесообразность.



В воздухе—чтобы освободить землю.
Из стекла—чтобы наполнить светом.
Асбест—чтобы облегчить стройку.
На рессорах—чтобы создать равновесие".

И это не пустословие?—спрашиваем мы читателя. И при чем тут теория диалектического жизнестроения, когда такие конструктивисты, как Б. Арватов, заявляют: „мое дело предложить" и „не мое дело; как отнесется к ним („конструкциям") теоретическая механика". „Готов предположить худшее—буквальная реализация немыслима ни при нынешнем, ни при каком угодно (курсив наш) состоянии техники".

И после этих заявлений люди еще уверяют с пеной у рта, с криком на громадную залу, а иногда и с засучиванием рукавов, что они строители новой жизни, что они выражают волю пролетариата. В начале революции таких „строителей" у нас было не мало, теперь, к счастью, XII съезд Р.К.П. постановил строителей городов на рессорах и в воздухе близко к делу не подпускать. И надо распространить это не только на промышленность, но и на идеологию.

Вряд ли после сказанного нужно отмечать, какой насмешкой звучат в „Лефе" рассуждения о диалектике, метафизике, дуализме, монизме, мистицизме. Футуристы хотят прикрыть свое подлинное искривленное лицо марксистской идеологией. Напрасно. Давно сказано, что „не всякий говорящий: господи, господи—внидет в царствие божие", точно так же и не всякий, твердящий без смысла: марксизм, марксизм, есть настоящий марксист.

„Конструктивисты" городов, памятников и т. п. считают себя также и „конструктивистами" слова. Они „творят" новый язык. Они исходят из совершенно неверного представления, что „поэзия всегда была не чем иным, как экспериментальной лабораторией речетворчества". Это они называют самым настоящим марксизмом. „Но вплоть

до футуризма, по их убеждению, социальная роль поэзии была не осознанной, скрывалась под фетишизированной оболочкой поэтических канонов и т. п. „идейности". Экспериментирование шло стихийно, вразброд, частично".

Но вот появились „заумники", „обнажили эту всегдашнюю роль поэзии" и „откровенно, сознательно стали делать то, что до них делалось бессознательно".

Мы, марксисты, всегда думали, что слово и язык есть продукт общественного развития. Дело обстоит, оказывается, значительно проще. В любой момент слово можно выдумать: „барчум, взгам, ашрр, взюк". Быстро, „понятно" всем и каждому. Язык есть одно из величайших орудий организации труда и людей. Но кто сможет что-нибудь организовать с помощью „заумного" языка? Скорее на пальцах сговоришься, чем при помощи этого птичьего языка. Лучше быть немым, чем „взгамывать" и „ашрракать", вызывая сомнение в своих умственных способностях.

Эти „ашрраки" и „взюки", не любя старых слов, естественно брезгливо относятся и к старым образам. Не жалея читателя, ради посрамления своих противников, они страницами выписывают религиозные и деревенские образы у пролетарского писателя М. Герасимова, составляют целое поминание из мифических имен у В. Брюсова. Осуждая их, футуристы правы, но в этом же самом не менее повинны они сами. Зачем подмечать сучек в глазу брата, когда у самого бревнище торчит!

Футуристы обеспокоены, что у Герасимова встречаются образы: бог, плащаница, ангел, крест, окадит, день судный, книга бытия, отслужить и т. п. „Леф" против религии и старины, он не может никак мириться с этой чепухой. Но когда мы ворочаем его издания, то видим, Пастернак облюбовал бога и звонницу, у Евреинова на-лицо престол и кадильница: „Каждый камень—престол, моя песня—кадильница",—у Блюма—священная хоругвь, у Чужака—„ныне отпущаеши" и страсть к благословению и праздникам—„праздничное производство", у Хлебникова—священный юноша, и так без конца.

Невольно приходят на ум слова баснописца: „чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"

Футуристы „оконили" Фета, было бы недурно, если бы они „остатистили" себя, чтобы читатель, особенно молодой и доверчивый, пасующий перед нахрапом, легко мог видеть, как дым футуристских кадильниц застилает иногда ему глаза.

Не нравятся „Лефу" и рифмы прежних школ. Они затасканы, плоски. Вот новизна „левого фронта": Пастернак рифмует: молится—познакомится, Третьяков: строем—строим, Асеев: другой—дугой, Хлебников: лень—тюлень, сует—полосует.

На счет последнего примера на одном из публичных диспутов

В. Маяковский обвинил меня, как критика, в безграмотности, заявив что „сует"—не глагол, а существительное, родительный падеж множественного числа. Он был громогласен, как всегда, „самоуверен" и ничуть не покраснел. Мы попробовали применить статистический метод, обратились к десятку литераторов, которые, согласившись с нами, добавляли: ну, разве вы не знаете манеры Маяковского.

Ужель она тому причина,
Что меч суровый в ножны сует,
Что гневная морщина
Ему лицо сурово полосует,—

вот строчки В. Хлебникова, о которых шел спор.

Если сверх ожидания мы все, целый десяток, окажемся неправы, вывод один: „жизнестроители" из „Лефа" двух строк не могут написать понятно, а еще хотят ввернуть кольцо в пуп земли, чтобы перевернуть ее. Кому они такие нужны!

Тот же Хлебников пользуется и руном, и Китежем, и Марафоном, но когда к этому прибегает, правда с большей склонностью, Брюсов, о нем пишут целую статью, обвиняя его в контр-революции.

В стихотворении „1-ое мая" Маяковский протестует против „пошлостей", существительных и прилагательных, обычно употребляемых при трактовке этой темы. Мечты, грезы, цветы, народы, пламя, свобода, знамя, вешний, мятежный, красный,—все это сплошная „пошлость". И все-таки тут же Маяковский возносит „майское знамя" и воспевает „пятилетних сынов зари". Третьяков „земле добывает воскресенье великое". И почему, наконец, пошло писать „мятежный май" и весьма похвально: „искусственный май" футуристов!

Г. Винокур в статье „О революционной фразеологии" против лозунгов с начальными словами: „да здравствует". По его мнению, „да здравствует" „в русских условиях совершенно обессмыслилось" и „решительно ничего не значит".

Мы лично не стоим за многократное „да здравствует", но мы по личному, весьма и весьма большому опыту, вплоть до сегодняшнего дня, утверждаем, что эти слова „не обессмыслились", а в устах рабочего, комсомольца, рабфаковца вызывают не мало эмоций. И мы только можем пожалеть, что автор пользуется чужим опытом, своего у него нет, так как он далек от рабочего класса, хотя и берется говорить за него неизвестно по какому праву, и притом пользуется опытом таких коммунистов, которые „за три версты бегут от статей с заголовком: „наступление капитала".

И в этой же книжке Маяковский „зычит": „да здравствует мороз", „да здравствует калькуляция", „да здравствует делание мая" и еще много всяких „да здравствует".

Тот же Г. Винокур, поклонник „ультра-реализма", утверждает, что „поэзия Пушкина массе в настоящее время совершенно не понятна". И неизвестно для чего Советская Россия издает классиков,—оказывается, народ скорее поймет: „миру маем пора пропеть √ Р.К.П.".

„Леф“ рекламирует себя „оформителем коммунистического мировоззрения“. Следует поэтому, хотя бы вкратце, остановиться на „Не попутчице“ Брика. Суть в следующем: коммунист Сандаров, старый испытанный партийный работник, заведующий главстроем, влюбился без ума в жену спекулянта, женщину—самку Велярскую. С ней он разъезжает в автомобилях, посещает театры и проводит вечера в поцелуях и в более сильных ласках. Соня, жена Сандарова, из-за ревности мстит ему, устраивая так, что Сандаров, не читая, подписывает мужу Велярской, злостному спекулянту, ассигновку за несданную работу. Одновременно Соня с товарищем Тарком ведет интригу в ячейке и, наконец, доносит в Че-Ка. Сандаров спасает от тюрьмы Велярскую, пытается спасти ее мужа; вся грязь и мерзость всплывает наружу. Результат всего: Ц.К. переводит Сандарова в Сибирь, Тарка—на Урал, Соня куда-то исчезает.

„Жизнестроители“ из „Лефа“ в великом революционном вихре, развалившем старую Россию, и заложившем великий оплот угнетенным всего мира—Р.С.Ф.С.Р., увидели только задворки революции, пену, щебень, грязь, не сумели второстепенное отделить от основного. Первое они восчувствовали, последнее проскользнуло мимо их, как и у многих современных пореволюционных писателей, начиная с Пильняка, Серапионовцев и т. д.

В первый номер, где футуристы рекламируют себя сторонниками пролетариата и даже коммунистами, поскольку среди них, к несчастью, есть коммунисты, где они свою теорию подкрепляют практикой, включен гнусный пасквиль на революцию, для чего взята тема по своему существу старая-престарая: женщина является источником падения, ревность доводит до невероятных преступлений. Забудьте, что Сандаров, Соня, Тарк коммунисты, выкиньте ячейку Р.К.П., замените Че-Ка, и вы получите старый бульварный фельетон, плохо скроенный и сшитый по вышедшему из моды фасону.

Тот коммунист, который десятки лет подготовлял красный октябрь, кто умирал на каторге и виселице, кто творил революцию и погибал на фронтах гражданской войны, им не интересен, шаблонен, „старье“, „навоз“, им же давай „остренькое“, пикантное...

Футуристы рвут и мечут против А. Луначарского. Он зовет „назад к Островскому“, т.-е. предпочитает „Лефу“ идейное искусство 60-х и 70-х годов. Как реакция против „разорванного сознания“ футуристов, это законная и давно жданная здоровая реакция. Мы ее приветствуем. Мы ей аплодируем, хотя и считаем, что формулировка „назад к Островскому“, вырвавшаяся на столетнем торжестве в честь Островского, является случайной, образной и не точной.

Поворот к искусству шестидесятых годов, искусству полному глубокого понимания жизни, искусству реалистическому, в Плехановском, марксистском понимании, к искусству общественному и глубоко

жизненному, есть здоровая реакция против тех, которые в своем искусстве относятся к жизни как беспомощные старички, поднимая мышиную возню вокруг прекрасной женщины, ждущей жгучих наслаждений. Приблизительно так, только в более крепких и красочных тонах, изобразил А. Луначарский „жизнестроителей“-футуристов на одном из своих выступлений.

И понятно, почему он так круто повернул.

Отстаивая пролетарскую литературу, мы не раз призывали писателей-рабочих использовать старую культуру, учиться у классиков слова и не подражать всяким кривлякам. Теперь эта тенденция укрепляется, и мы испытываем величайшее удовлетворение.

Мы всегда приветствовали наркома просвещения, когда он со свойственной ему широтой и красочностью „разделывал под орех“ футуризм,—еще более приветствуем его, когда он указывает пути и от „ультра-реализма“ „Лефа“ зовет к реализму К. Маркса и Г. Плеханова.

Подводя итог теоретическим блужданиям и практическим „деланиям“ пресловутого левого фронта по двум первым книжкам журнала, мы вынуждены, как и раньше констатировано в „Пролетарской культуре“, что „пролетариат и футуризм, это—антиподы“. Пролетариат не может итти по пути выкрутас и выделывать вывихи разорванного сознания. Это чуждо его идеологии и ни с какого конца к ней не подходит. Перед ним расстилается богатое поле творчества по пути стройной логики. Ему предстоят грандиозные постройки, сложенные из запасов богатого подсознательного опыта, выявленного интуитивно, облитого обильным соком чувства и связанного мощной силой сцепления логики—цемента сознания. Перспективы развития человеческого духа безграничны, сложность его узоров неисчислима, проявление художественного творчества должно быть введено в сознательный идеал. Заполняйте его каким угодно материалом интуиции, но все это должно быть строго и тесно связано с идеалом, под бдительным контролем сознания. Путь же заумного языка и заумных красок есть путь шарлатанства и лжи перед самим собой, трусость перед светящим идеалом и перед перспективой движущегося вперед человечества“, трусость ради сохранения сегодня и убегание перед завтра, хотя и прикрытые пролетарской идеологией.

Валериан Полянский.

В. В. Воровский.

Нам, собравшимся под знаменем воинствующего материализма, всегда надо помнить тех, кто до нас боролся за наше знамя, кто пролагал теоретически и практически наш путь. А таким бойцом был покойный Вацлав Вацлавович Воровский (Орловский)... Солдатом, часовым он пал на дипломатическом посту, но таким же рядовым часовым он и начал свою литературную работу. Очень характерно в этом отношении его первое выступление. Он его картинно изобразил в своем „Письме в редакцию“ („Жизнь“ 1901 г., кн. I, стр. 297—309), подписанное Юл. Адамович, его литературным псевдонимом до работы в нелегальной прессе.

Время было смутное. „Там на верхах решались самые сложные вопросы, упразднялись, сокращались, отменялись целые теории, дополнялись „пробелы“ в творениях учителей, исправлялись „колоссальные ошибки“, разоблачались „основные антиномии“ и т. д. и т. д., а нам, профанам, приходилось только переглядываться в недоумении и вздыхать—должно быть все это и важно и нужно,—это только мы профаны... Профан ждал только призыва. И дождался. В ноябрьской кн. „Мира Божьего“, предназначенного для самообразования, а следовательно, и для профанов—появился смелый призыв: „назад“. Призывал г. П. Струве в статье, озаглавленной „Ф. Лассаль“. Назад, назад. Назад к Лассалю, назад к Гегелю, назад к Фихте (почему же не дальше)“. И затем следует жесточайший разнос этого „передового“ лозунга. В этой статье все крайне характерно для Воровского и едкий, язвительный стиль, не останавливающийся ни перед какими авторитетами, тонкий и глубокий анализ, а главное этот примат практики, вывода, недаром вся статья написана от имени недоумевающего профана, который и ждет-то больше всего получить вывод для революционной подпольной практики. Это соединение тонкой теоретической мысли с жизненной практикой особенно отличает все произведения теоретического характера покойного. Они ставят обычно вопрос теоретически, но получается вывод, который легко получить, когда в теоретическую формулу подставить данные жизненной практики, т.-е. подпольной революционной борьбы.

Но, выступая против всякой попытки принизить марксизм, вытравить его революционную суть и заменить ее сладеньким идеализмом, к чему звал Струве, или эклектической и экономической похлебкой, которую предлагал Туган-Барановский,—автор не грешил фетишизированием всех слов Маркса. Нет, он, как подлинный революционер, всегда показывал, что является прочным, основным в марксизме и что является временным, преходящим. В статьях против ревизии г.г. Струве и Туган-Барановского мы находим крайне характерные строки о нашем диалектическом методе, которые не мешает помнить всем теперешним теоретикам. И Струве и Туган-Барановский главное острие своей критики и острот направляли против диалектического метода. Главное,—учил Струве марксистов или диалектических материалистов,—надо как можно скорее забросить диалектику „назад к Гегелю и еще дальше к Фихте“. Но назад не к их диалектике, которую можно ставить и „вверх ногами“, которая может быть сгибаема и на материалистический, и на идеалистический лад, а к их старому несгибаемому идеалистическому существу“. На это Воровский возражает так. „В материализм они (Маркс-Энгельс) внесли основное методологическое положение гегельянства—что все подлежит непреоборимым законам диалектики. В действительности никто не ставил диалектику и „вверх ногами“, а то различное употребление, которое делали различные люди из диалектики Гегеля, зависело от их классовой психологии, от основ их мировоззрения; у Гегеля же они искали в силу преемственности философской мысли методологического обоснования своей философии, своей морали, одним словом своей идеологии. Эту простую историческую мысль в состоянии проглядеть только тот, кто безразлично может ставить диалектику и вверх ногами, может по капризу сгибать ее и на идеалектический, и на материалистический лад“ (стр. 300). Возражая Туган-Барановскому в „Правде“ 1904 г., кн. 5, в ст. „Представляет ли интеллигенция общественный класс?“, Воровский на стр. 210 говорит следующее. „И по мнению Т.-Б. основной ошибкой Маркса является диалектический метод“. Маркс, действительно, иллюстрировал свои выводы стройной гегелевой триады, но что он никогда ничего не пытался доказать при помощи ее, об этом говорилось и писалось и печаталось тысячи раз в то (жизнерадостное) время, когда сам же г. Туган-Барановский отстаивал, не всегда, правда, удачно, учение Маркса. Об этом совершенно недвусмысленно говорит сам Маркс в предисловии к 1 т. „Капитала“, где он указывает на то, что в сочинении своем местами кокетничает терминологией того великого философа, которого современное Марксу ученое филистерство третировало, как „дохлую собаку“.

Здесь многое приходится отнести на счет того явления, о котором в ст. против Струве говорится на стр. 303 следующее: „Человеческий ум имеет один неприятный недостаток: он очень беден по части изобретения новых форм. Всякое новое явление создает свои формы из элементов прошлого. Эту особенность один польский социолог пытается формулировать как общественный закон ретроспе-

кции". Но одной негативной частью наш автор не ограничивается и дает свое очень любопытное определение нашего понимания диалектического метода—и что еще важнее—иллюстрирует его рядом конкретных исторических примеров.

„Но, повторяем, Маркс мыслит диалектически: для него познать какое-нибудь явление—значит исследовать его развитие, изучить закон этого развития, а не определить его как неизменную логическую категорию. А в своем развитии явления проходят различные противоречивые стадии; то, что вчера было гусеницей, сегодня уже куколка, а завтра будет бабочкой, как этого не отрицает и г. Т.-Б. Вопрос стало быть сводится на то, каким образом определить понятие какого-нибудь развивающегося явления, как замкнуть в постоянную формулу переменное явление. Для этого существуют два способа: или сама формула является диалектической (динамической) формулой, какие дает нам высшая математика, т.-е. формулою с двумя переменными, или же явление определяется по одному моменту, именно по моменту своего наивысшего, полного развития. Первый прием, в сущности математический, почти неприменим к неточным наукам, а в том числе к нукам общественным: поэтому обычно применяют второй (бабочка покрывает все три стадии). Точно так же в применении к общественным наукам очень характерны слова Маркса, что при изложении законов капиталистического развития он вынужден был предположить вполне развитые капиталистические отношения, каких в действительности нет и может быть во всем объеме и не будет. Но важно заметить, что эта стадия высшего развития постулируется на основании изучения хода и законов этого развития, а не изобретается путем отвлеченных логических построений" (стр. 210—211).

Этот же метод дает возможность Марксу еще в Коммунистическом Манифесте (ст. „Коммунистический Манифест по поводу 60-летней годовщины" в сб. „О веяниях времени", стр. 57—62), по детским формам капитализма оценить его грядущую силу. Рисуемая Марксом картина не столько реальная действительность Европы той эпохи, сколько гениальное провидение глубокого ума, сумевшего проникнуть в „современное лоно" общественного труда, где дремлют исполинские производительные силы. Еще замечательнее—это гениальное провидение в обрисовке упадка капитализма и торжества пролетариата (стр. 55—56). Такое понимание диалектики, подлинной ее сути невольно приводит на ум слова Энгельса в Анти-Дюринга, ч. I, гл. X: „диалектика представляет собою не более как науку о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления".

Тот же по существу диалектический метод применяет Маркс и при определении понятия общественного класса. Этим процессом, процессом конституирования определенного общественного аггрегата в общественный класс Воровский занимался очень пристально и неоднократно к нему возвращался. В своей статье „С.-д. и рабочая масса"

(„Вестник Жизни" 1907, кн. IV, стр. 82—102), сжато формулирует этот диалектический процесс на стр. 83. По учению Манифеста пролетариат не представляет какой-то определенной, неизменной социальной величины; при своем возникновении он не представляет собою даже того, что обыкновенно называется классом. Он только становится классом в ходе развития капиталистического общества. В другом месте (в „Нищете философии") Маркс развивает эту идею, отмечая две стадии в развитии пролетариата в класс: первая стадия, когда он сознает себя, как класс по отношению к капиталу: назовем это условно стадией экономического самосознания. Вторая стадия, когда пролетариат—путем борьбы—конституируется, как класс, по отношению к самому себе; это стадия политического самосознания" [1]).

Отсюда совершенно верно Воровский („Правда", стр. 212) выводит, что „центр тяжести в определении Марксом понятия общественного класса лежит в элементе общественности, в классовом самосознании, как психологической предпосылке активной классовой жизни, лежащей в основе всего общественного развития дифференцированных народов". Поэтому он дает такое определение: „Классом называется общественная группа, связанная тождественностью хозяйственных интересов, сознанием общности основных жизненных задач и ее членов, задач не только „экономических", и отсюда вытекает реальное объединение для защиты своих задач и интересов", стр. 213. Отсюда вытекает естественный вывод, что в этом процессе, к тому же длительном, мы и имеем объяснение того явления, что в различные эпохи каждый класс занимает различные положения и, потому, каждый раз следует изучать эту конкретную обстановку. Этот взгляд дает возможность Воровскому отметить основную ошибку М. Александрова в его книге „Государство, бюрократия и абсолютизм и истории России" в своей статье „О природе абсолютизма" („Просвещение", 1912, № 3—4) на стр. 50 в том, что автор, подчеркивая дворянский характер, т.-е. классовый характер, русского государства, перегибает палку, почему проглядел внутри-дворянскую борьбу. Для него дворянство единый цельный класс, ибо он рассматривает его только извне, только по отношению к другим классам, а не во внутренней его жизни. „Это игнорирование групповых противоречий внутри класса приводит Александрова в тупик" и дальше он указывает: что и к истории русского дворянства надо приложить метод анализа Маркса внутри-классовой борьбы, что Маркс сделал по отношению к буржуазии в 1848 г. Так, не приняв в соображение борьбы мелкого шляхетства с крупным аристократическим землевладением, для нас станет непонятна русская история со

[1]) Следует отметить, что терминология в статье „Представляет ли интеллигенция общественный класс?" („Правда", 1904, кн. V) не вполне уточнена и если в указанной цитате верно отмечено, что пролетариат конституируется в класс по отношению к самому себе или—что то же—для себя (für sich), то в „Правде" этот термин переводится неправильно как „класс в себе", стр. 212. Эту оговорку надо иметь в виду при чтении этой очень поучительной статьи.

времени Ивана Грозного до XIX века; „поэтому,—заканчивает эту заметку Воровский-Орловский,—нам нужен конкретный анализ русского материала и всех исторических отношений. Этот же расчленяющий метод позволяет Воровскому в статье „Коммунистический манифест о буржуазной революции“ („Вестник Жизни“, 1907, кн. 2, стр. 7—27), исходя из правильной алгебраической формулы отношения пролетариата и буржуазии в буржуазной революции, дать и интереснейший анализ отношений между ними в истории французских революций с 1789 по 1848 г. г. На первый взгляд парадоксально звучит и его указание на своеобразие революции 1848 г. в Германии, которое он видит в том, что вследствие более развитого капитализма в Германии запоздалая буржуазная революция сравнительно легко низвергла старый строй, что освободило ее от неприятной необходимости воспользоваться вооруженным пролетариатом и низами для насильственного подавления аристократии, к чему она вынуждена была прибегать в XVII ст. в Англии и в XVIII ст. во Франции. А это в свою очередь очень облегчило буржуазии борьбу с пролетариатом и объединение на почве этой борьбы с остаточными силами старого феодального строя. Эта особенность еще в большей степени сказывается и в нашей революции (дело идет о революции 1905 г.), почему „наша буржуазия не знает своего 18 марта. Ее 18 марта—это 17 октября—уступки без ее участия и старания, вырванные у самодержавия народной массой“ (стр. 24). Отсюда ее контр-революционность, что делает невозможной для пролетариата совместную борьбу с нею. Но внутри буржуазии происходит борьба и мелкая буржуазия, в силу союза крупной буржуазии с помещиками ради земельного вопроса, революционна, откуда и выводится союз на время революции пролетариата и крестьянства, лозунг большевиков в первой русской революции о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства. Своеобразием русской истории, вполне умещающейся в рамки „единства исторического процесса“ объясняет Воровский и судьбы русской интеллигенции, в частности народолюбивой интеллигенции.

Вопрос о конституировании определенной общественной группы в класс для себя, по отношению к себе ставит вопрос, откуда же возникает и как проникает в эту среду сознание. Это подводит вплотную к вопросу, впервые разделившему на теоретической почве больше. визм от меньшевизма, вопросу о роли стихийности и сознательности в классовом рабочем социалистическом движении. Этого вопроса Воровский, как вопроса кардинального, касается почти во всех своих статьях. Он обращает на него самое пристальное внимание, так как для „профана“ в этом вопросе заключены основные выводы об его жизненной практике, а для него вопросы по подпольной революционной борьбе, названные так ради цензуры, были основными. Еще в статье против Струве (стр. 301) он рисует этот процесс следующими чертами: „По отношению к общественным явлениям можно установить в грубых чертах такую генетическую последовательность экономика—

психология—наука. Появляется... новый социальный аггрегат, под давлением характерных (экономических) условий в уме его представителей складывается известное психическое настроение, известные моральные, правовые и т. п. понятия. Эта присущая ему психологическая форма является тем фундаментом для группового самосознания, на котором это самосознание возникает впоследствии при формулировке исторических задач и роли этого аггрегата... здесь скрытая потенциальная форма группового самосознания. Является учение, стремящееся формулировать исторические потребности и задачи этой группы, и если оно верно формулирует их—оно находит в психологии данной группы полный отклик. Оно входит в умы людей, усваивается ими как нечто несомненное и вполне понятное—представляется как бы пробуждением дремавшего сознания. А раз только теория сольется с настроением, она теряет свой догматизм, теряет свой обективный характер отношений, причинность и, напротив, становится субъективным—общественно-субъективным—выразителем цели“.

Этот процесс конкретно можно наблюдать на германской с.-д. Надо напомнить читателю, что после 1905 г. меньшевики все спасение революции и рабочего класса видели в замене партии рабочего класса стихийным рабочим движением с увенчанием его беспартийным рабочим съездом, и с этим уклоном борется Воровский в ст. „С.-д. и рабочая масса“, где он указывает, что последовательно проведенное в принцип поклонение слепой стихии приведет к полному отказу от марксизма. На стр. 86—87 он, на основании примера Германии, рисует такую картину: „Стихийный процесс развития пролетариата в класс выделяет из рабочей массы наиболее сознательные элементы, порождая в них субъективную потребность прививать к массам свою классовую сознательность. Как рабочее движение выступает в истории в роли носителя и воплотителя идеи социализма, так и социализм в свою очередь представляет выражение исторических потребностей пролетариата. как класса. Так определяет Коммунистический манифест отношение между стихийностью и сознательностью, между классом и партией. Эрфуртская программа в соответствии с этим определяет с.-д., как соединение социализма с рабочим движением, отсюда задачи с.-д. партии сделать классовую борьбу пролетариата возможно сознательней и целесообразной“. Интересен процесс образования партии с этой точки зрения. Сперва образуется пролетариат-борец. Это часть пролетариата, борющаяся за общие интересы своего класса, его ecclesia militans (воинствующая церковь), но это еще не с.-д., это материал, из которого делаются с.-д. „С.-д. в сущности не что иное, как сознавшая свои цели часть борющегося пролетариата“. Но предоставленный самому себе пролетариат не сможет стать классом для себя, для этого нужна теория, нужна наука, которая вскрыла бы его положение в обществе. Это делают деятели социализма, который первоначально не был связан с рабочим классовым движением, и эти деятели обычно выходят из других классов.

Посмотрим же, как происходит этот процесс. „А в то же время тот же самый процесс развития производительных сил расшатывает прочность идеологии господствующей буржуазии, отрывает от нее более независимые, более искренние и альтруистические элементы и толкает навстречу требованиям пролетариата. Они не только сами выходят из буржуазной среды, они уносят с собою и все приобретения буржуазной науки и искусства,—несут их в рабочую массу. Но они не просто передают их в классовой односторонности, они подходят к ним с тем скептицизмом, которым заразил их рост пролетариата, они критикуют эти унаследованные учения, делают из них выводы, перед которыми остановилась буржуазная мысль, претворяют их из идеологии буржуазии в идеологию пролетариата. Навстречу пробуждающемуся в массах сознанию идеологи несут ясную и конкретную формулировку классовых потребностей и задач пролетариата“ („Комм. манифест“ в сб. „О веяниях времени“, стр. 58—59).

Из этого изложения ясно видно, какое большое значение мы должны придавать идеологии, науке, только с ее помощью возможна вторая стадия превращения пролетариата в класс для себя, по отношению к себе, и мы тогда поймем, почему Воровский очень большое внимание обращал на конкретную историю развития идеологии и ее судьбу.

Опять же конкретный исторический пример гораздо интереснее чисто „логических“, мозговых выкрутасов, чем занимались Струве и иже с ним. Воровский берет судьбу марксизма и прослеживает ее в России. К сожалению, эта основная его работа написана не в виде большого исследования, а в виде краткого конспекта и обзора литературы. В этой области он оставил две статьи: „Коммунистический манифест и его судьбы в России“ („Образование“, 1907, кн. IV, стр. 1—31) и „К истории марксизма в России“ („Сборник памяти К. Маркса“, СПБ. 1908 г., стр. 351—386 и отдельно).

Причудлива была судьба марксизма в России. Главное программное его произведение—„Манифест“, переведенный впервые Бакуниным, „не оказал сколько-нибудь заметного влияния на ход развития социалистической мысли в России. Он был понят и принят, как блестящий памфлет против общества эксплоататоров, как критика этого общества. Его творческое, созидающее значение программы пролетариата, борющегося за социализм, осталось чуждым и непонятным“ (стр. 1). Не то мы видим с 90-х г.г. прошлого столетия. „В 90 г.г. „Комм. манифест“ превратился в необходимое руководство“. Правда, преобладающий интерес к теории и толстым книгам, свойственный этой чисто-интеллигентской эпохе в развитии социализма в России, вытеснял в значительной мере Манифест „Капиталом“ и другими более пространными руководствами. В этом повторилась тоже увлечение экономической теорией Маркса, отнюдь не его социологией, что мы имели уже в первый период влияния марксизма в России в 70-х г.г., когда, по верному выражению Воровского, „идеология пролетариата явилась научным орудием борьбы либерализма с существующим порядком, задолго до того, как пролетариат мог явиться орудием этого либерализма“ („К истории марксизма“, стр. 353). Это же явление почти в тех же чертах повторилось и в эпоху легального марксизма. „Социологическая часть марксизма—его живая душа“ (стр. 352) была воспринята во всей широте уже в 900-х г.г., когда она вошла в „умы людей, усвоилось ими, как нечто несомненное и вполне понятное, как бы пробуждение дремавшего сознания“ и тогда во время первой революции Манифест вытеснил Капитал и появился во многих переводах в сотнях тысяч экземпляров. И в самых переводах Манифеста мы можем проследить уточнение марксистской мысли в России. „Воровскому не удалось ознакомиться с переводом Бакунина („он в настоящее время особенно в России недоступен простым смертным“, писал он в 1907 г.; любопытно отметить, что „простые смертные“, взявшие власть в свои руки через 10 лет, в 1917 г., озаботились теперь и этим, и в Институте Маркса-Энгельса мы теперь имеем все издания Манифеста, в том числе и бакунинский), но он справедливо полагал, что „неточности“ Бакунина представляют в настоящее время самую ценную часть бакунинского перевода“ (стр. 2). Перевод Плеханова начала 80-х г. отразил на себе всю неразработанность тогдашней русской марксистской терминологии (работник вместо рабочий, рабочее сословие вместо рабочий класс, средние слои вместо средние сословия—стр. 10). Но основной ошибкой Плехановского перевода Воровский считает, что им совершенно неверно передан процесс превращения пролетариата в класс. Выше мы детально останавливались на этом вопросе, которому так много внимания уделял Воровский, поэтому здесь ограничимся несколькими указаниями. „Т. Плеханов систематически извращает соответствующие места Манифеста, изгоняя из них глубокий социологический смысл, сводя их к простому констатированию явлений“. Почему проистекло это? „Потому ли, что в это время (1882 г.) Плеханов еще не проникся тем специфическим диалектическим мышлением, которое так характерно для авторов Манифеста, или же, быть может, благодаря отрывочной формулировке, сводящейся к разрозненным штрихам. Этих мест не так уже много—их всего 4. Они следующие: место Манифеста „эта организация пролетариата в класс и тем самым в партию“ Плеханов переводит: „эта организация пролетариев в отдельный класс, а вместе с тем и в политическую партию“. Этим мысль Манифеста получает совершенно иное, гораздо менее глубокое толкование. Марксу и Энгельсу важно, что масса пролетариев вообще только на известной ступени развития превращается в класс—аморфная масса кристаллизуется, если позволительны аналогии; тут не то важно, что это будет „отдельный“ класс, ибо само понятие класса предполагает „отдельность“,—т.-е. существование других классов и различие их интересов. Прибавляя словечко „отдельный“, Плеханов, во-первых, совершает плеоназм, а, во-вторых, придает данному месту тот смысл, будто речь идет об отделении, отграниче-

нии пролетариев на известной ступени развития от остальных слоев общества, а не о превращении их из массы разрозненных пролетариев в класс-пролетариат (13). Второе место—задачи коммунистов Манифест определяет, „как развитие пролетариата в класс, превращение пролетариата в класс". Речь идет о задачах рабочих партий, и Манифест ставит первой задачей внесение в пролетариат сознательности, в целях превращения его в класс. Выше мы видели, что стихийный процесс создает объективные условия создания класса—объединение и сплочение пролетариев на почве борьбы с буржуа; теперь указывается на функции сознательных элементов—идеологов; внесение сознания в пролетариат, развитие его до уровня класса. Но в переводе Плеханова все это исчезает. „Ближайшая цель коммунистов та же, что и у других рабочих партий: организация рабочего класса". Организация рабочего класса и превращение пролетариев в класс—это две совершенно различные вещи. Манифест имеет в виду социальную роль идеологов по отношению к классу. Плеханов сводит вопрос к политической задаче организации рабочего класса. Идея Манифеста мельчает.

„И эта подмена глубокого внутреннего процесса превращения пролетариев в класс, внешней организационной деятельностью", проводится т. Плехановым с поразительной последовательностью, чтобы не сказать с упорством. (Еще одно место у Маркса гласит: „когда пролетариат в борьбе против буржуазии, по необходимости, объединяется в класс", у Плеханова „пролетариат объединяется, как класс". Там—объединение пролетариев, делающее из них класс; здесь—объединение пролетариев внутри уже сложившегося класса.) И еще раз встречаем мы ту же ошибку в главе о Критико-утопическом социализме и коммунизме": „Место постоянно складывающейся организации пролетариата в класс"... говорит Манифест, а Плеханов переводит „Место постепенно подвигающейся вперед классовой организации пролетариата. Но классовая организация—это пролетарская партия, политический союз, представляющий интересы пролетариата, как класса, стремящийся к завоеванию его диктатуры. Классовая организация, следовательно, уже предполагает наличность сложившегося класса. Манифест же говорит только о процессе образования класса, создающем основу и для образования партии" (стр. 13—15).

Мы нарочито остановились подробно на этом эпизоде, так как думается нам, он должен быть высоко поучителен для молодых марксистов. Точность, чеканность мысли предполагают такую же кристально ясную четкость и чеканность терминологии, иначе получается путаница, характеризующая как нельзя лучше неясность, затемненность мысли. И в своем споре со Струве и с Туган-Барановским Воровский постоянно обращает самое пристальное внимание на неверную терминологию, что ему сильно помогает вскрыть основную ошибку разбираемых писателей. Так и здесь:—ошибки Плеханова, это—следы „детской болезни" русского марксизма, Но что сказать о тех,

кто потом „детскость" возведет в основной принцип тактики? А раз так, то мы тогда поймем скрупулезную точность передачи Манифеста в своем переводе Воровским и его будто бы придирчивую критику переводов Манифеста другими переводчиками. Кто знает, что скрывалось за спорами о 1 параграфе устава на 2 съезде, сперва совершенно несознательно даже для самих участников спора, и что так ярко потом вылилось в органическом делении русской социал-демократии на две партии—большевиков и меньшевиков, тот поймет значение „придирчивой" критики плехановского перевода Воровским.

К своим переводам он относился в высшей степени внимательно. Из работ Маркса им были переведены „Введение в критику философии права Гегеля" (изд. „Буревестник" Одесса 1905 г.), „Манифест коммунистической партии" (изд. „Знание", 1906 г.); интересно отметить, что все последующие издания повторяют опечатку, указанную им же в „Образовании",—именно в конце второго абзаца пункт „в" о немецком или истинном социализме напечатано „чистого разума" вместо „практического разума" и „Речь Маркса перед судом присяжным в Кельне" (изд. „Знание" 1906 г.).

Как мы видим из вышеизложенного, Воровский полностью в своих теоретических работах раскрыл сущность учения большевизма о стихийности и сознательности в рабочем движении. Понятно, что идеологическому творчеству он придавал большое значение и занимался его изучением. Критерием его историко-литературных и критических работ было то положение, которое он выставил еще в споре со Струве, что решающим моментом для оценки того или иного учения является верность формулировки исторической потребности или задачи той или иной общественной группы. С этой общественной точки зрения он рассматривал русскую литературу как до революции 1905, в ряде статей в „Правде", так и особенно после революции 1905 г. в момент контр-революции, и всячески вскрывал классовую контр-революционную сущность „новых" литературных форм. Ведь и они, подобно Струве, по существу под видимостью новизны тянули пролетариат и крестьянство обратно в стойло царизма.

И если картина того, как Струве приглашал русских революционеров и, в частности, социал-демократов начать пятиться назад, вызвало у Воровского гневный окрик: „мавр сделал свое дело, мавр может уходить", то теперь уход от революции в „чистое искусство" и в порнографию вызвал еще большую реакцию и еще большие иеремиады, полные той жалящей остроты, на которую, как никто, был он способен.

Из исторических его очерков следует отметать—„Был ли Герцен социалистом?", совершенно верно отвечающая отрицательно на этот вопрос, и очень интересно написанный очерк о Добролюбове, рисующий этого русского просветителя и родоначальника народничества.

Среди зачинателей русского марксизма покойному Вацлаву Вацлавовичу Воровскому принадлежит видное место и на страницах на-

шего журнала. Мы постарались отметить эту сторону его работы, а то действительно лозаннский выстрел заслонил для всех литератора Адамовича-Орловского фигурой полпреда С.С.С.Р. Для нас особенно ценным является как раз то обстоятельство, что первое выступление В. В. пришлось на борьбу с извращениями марксизма русскими ревизионистами и с лозунгом Струве—„назад к Лассалю"—этому „государственному человеку" в противоположность „анархисту" Марксу. Это было в 1901 г. на страницах „Жизни", когда впервые появилось „письмо в редакцию", подписанное Ю. Адамович, и с того времени В. В. всегда был на страже революционного марксизма и воинствующего материализма.

Покойный товарищ Воровский был одним из наиболее образованных русских марксистов-коммунистов. От всего его облика веяло мягкостью и душевной чуткостью. Неизменно корректный, выдержанный, он производил чарующее впечатление и на наших врагов, когда в 1921 г. ему пришлось выехать за границу. Но под этой корректностью, под этой вежливостью наши враги справедливо чуяли непримиримого бойца, который зорким взглядом высматривает все слабые стороны противника и затем обратит на них всю силу своего полемического таланта. А мастером слова, острого, жалящего, беспощадного Воровский был большим. Кому доводилось с ним беседовать, тот всегда будет помнить неиссякаемый источник тонкого остроумия, каким он обладал. Сутулый от болезни, с чуть насмешливо прищуренными глазами, с тонким суждением в вопросах политики и искусства он стоит перед нашими глазами.

Поляк по происхождению, принадлежавший к старой польской инженерской богатой семье, он с детства готовился к тому же поприщу. Сперва учился в немецкой гимназии в Москве и, попав на математический факультет Московского университета, он был еще настолько проникнут искренно и глубоко буржуазными предрассудками, что в спорах серьезно выступал в защиту капитала и необходимости и неизбежности прибыли, так как, по его словам, он не представлял тогда себе мира иным, чем он уже сложился до него. Сперва он даже не принял участия в русских кружках, а вошел в польские, но затем русская жизнь перемолола и его, и к середине 90-х г. мы уже видим студента-техника Воровского, работающего в с.-д. кружках, за что после тюрьмы он попадает в Вятскую губ. в гор. Орлов (откуда его литературный и политический псевдоним). Бежав за границу, он примыкает к большевизму и остается ему верен до конца своих дней. В этот период и позже он является обычным членом редакций большевистских органов, начиная с женевского „Вперед". Обладая небольшим голосом, слабым здоровьем, он мог служить партии пером, как публицист и как переводчик.

Как политик, он неизменно стоит в рядах большевизма и в руководящих статьях наших центральных органов он проводит тактические директивы нашей партии, сперва в ее большевистской части

формально единой с.-д. Интересно, что человек с таким вкусом к теоретической работе, когда даже ряд тактических вопросов (например: вопрос о рабочем съезде в ст. „С.-д. и рабочая масса") рассматриваются исключительно с теоретической точки зрения, главную массу своих статей посвятил не высокой политике, а низовой практике. Главная их масса, начиная с женевского „Вперед", посвящена профессиональному движению, только что тогда зачинавшемуся в России, и нашей аграрной программе. Отношение между пролетариатом и крестьянством всегда стояло в центре его политического внимания. Но нужно твердо помнить, что ко всем вопросам практики Воровский подходил с марксистской точки зрения, он обычно решал их теоретически в общей форме, а затем давал то или иное решение в зависимости от тех конкретных данных, которыми характеризовалась данная политическая ситуация. В этом уменьи соединять высокий теоретический подход с жизненной практикой мы видим лучшее подтверждение марксизма в практике, чем был и является большевизм. Со всем литературным наследством Воровского товарищи познакомятся по собранию его работ, которое под редакцией пишущего настоящие строки подготовляется Госиздатом.

В заключение мы не можем не привести две выдержки из его работ.

Все мы помним спор 1920/21 г. о роли профсоюзов, помним, что партия приняла платформу „профсоюзы—школа коммунизма" и это было для многих откровением, и притом новым. „Профессиональные организации представляют незаменимое средство организации и вовлечения широких малосознательных масс пролетариата. В них рабочие приучаются к свободному сотрудничеству, к товарищескому общению и единению на почве защиты ближайших, понятных всем интересов. Наконец, на высшей ступени развития профессиональные организации являются превосходной школой, подготовляющей рабочих к тому коллективному ведению дел и самостоятельному управлению товариществом, которое будет необходимо при переходе от капиталистического хозяйства к социалистическому". („Вестник Жизни" 1907, кн. IV, стр. 93, из ст. „С.-д. и рабочая масса").

Или вот отрывок по вопросу об отношении между партией и рабочей массой, опять же тема знакомая и по нашим доморощенным „оппозиционерам". „Если с.-д. (следует помнить, что речь шла в 1907 г., почему термин пусть ее пугает молодых людей, не помнящих родства) хочет действительно сыграть ту великую роль, которая выпадает на ее долю, она должна уметь связать дело социализма с туманными, смутными стремлениями и мечтами пробуждающегося пролетариата, хотя бы это были подчас ошибочные и вредные стремления. Она должна еще более внимательно и чутко прислушиваться к этим ошибочным и вредным представлениям, ибо они являются как никак первыми, судорожными движениями пробужда-

ющегося сознания. Только тогда рабочая масса увидит и признает в социал-демократии свою партию, только тогда с.-д. сможет действительно явиться вождем этой массы и перековать ее ошибки и промахи в могучее орудие планомерной классовой борьбы" (там же, стр. 98 г.).

Разве это не современно?

Ст. Кривцов.

Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум).

(1873—1923 г.г.).

Умер Л. Мартов, а вместе с ним умерло и то лучшее, что еще оставалось в меньшевизме, как течении, вышедшем из одного корня, из которого вышло и революционное левое течение русской социал-демократии, коммунистическая партия большевиков.

Умер Мартов, а вместе с ним умерли и последние связи, какие еще оставались у меньшевистского направления с истинно революционным течением социалистического рабочего движения в России.

Мы все знаем, как далеко отошел Мартов от этого революционного течения, как много вреда он принес своей соглашательской тактикой и в особенности тем, что своим авторитетом покрывал социал-шовинистическую и предательскую тактику Данов и прочих социал-патриотов от социал-демократии, и за всем тем теперь, когда над его прахом уже насыпан могильный холм, возможно sine ira et studio оценить все то, что дал этот талантливейший и несомненно честный и искренне думавший социал-демократ о том пути, какой он намечал для рабочего класса в его борьбе.

Вместо истерических криков не лучше ли беспристрастно понять и оценить эту незаурядную фигуру в нашем рабочем движении?

Юлий Осипович Цедербаум, или—как он известен всем—Л. Мартов, родился в зажиточной еврейской семье в Константинополе 24 ноября 1873 года. Семья эта отличалась той атмосферой умственных и культурных интересов (дед Л. Мартова был основателем первых в России еврейских газет—„Рассвет", „Гамелиця" и „Фальксблатт", а отец принимал участие в русской журналистике конца 70-х и начала 80-х годов), в ней создалась такая обстановка, что еще с раннего возраста будущий социал-демократический публицист был пропитан этими общественными настроениями и вопросами. „Ремесло" „газетчика,—говорит сам Мартов,—было у меня, так сказать, в „крови".

Образование Мартов получил сначала в петербурских гимназиях, а затем в Петербургском университете. В гимназии он учился в самые тяжелые реакционные годы господства Деляновского режима,

а в университете в начале девяностых годов, когда мертвая рука Александровской реакции душила все живое и когда на развалинах славной некогда партии „Народной Воли" пионерам социал-демократии приходилось пробивать дорогу новому революционному направлению среди торжествующих криков самых черных реакционеров и приниженно хвалебных гимнов самодержавию людей, еще, можно сказать, вчера бывших самыми непримиримыми его врагами.

В это время в Петербурге действовала группа первых русских социал-демократов („партия русских социал-демократов" Благоева, во второй половине 80-годов) и так называемая Брусневская группа (начало 90-х годов), но как та, так и другая с величайшим трудом вырабатывали свое марксистское и социал-демократическое миросозерцание среди хаоса самых разнообразных направлений, течений, мнений, групп и группочек. Еще господствовали обломки старых партий, еще витали тени великих борцов „Народной Воли", еще живо было обаяние их героической борьбы и вместе с тем шло самое ужасающее разложение старых революционных устоев, гниение, раздавалась проповедь малых дел, словом, русское революционное движение переживало мучительный переходный период от народовольчества к марксизму.

Нужно было обладать, кроме обычных способностей и талантов, еще особым методом, истинно революционным и научным методом, чтобы выйти из этого хаоса не только не поврежденным, но и революционером, умеющим наметить правильный путь дальнейшего движения.

Пройдя все обычные стадии гимназических кружков самообразования Мартов попал, наконец, в марксистский студенческий кружок или вернее был одним из его инициаторов.

Группа молодых студентов с необыкновенным рвением принялась за изучение теории и практики социализма, насколько это возможно было тогда в Петербурге.

Арестованный вместе с другими, уже в то время когда он был студентом, Мартов по выходе из Дома Предварительного Заключения в начале 90-х годов знакомится с программой и с изданиями группы „Освобождение Труда" и осенью 1892 окончательно становится марксистом. Потресов как раз в это время привез транспорт нелегальной литературы из-за границы, куда он ездил, чтобы завязать сношения с Плехановым и Аксельродом). Связанный с одной стороны с некоторыми практиками из Брусневской группы (напр., со Странденом, работавшим в качестве пропагандиста среди пролетариата), а с другой знакомясь с теоретическим обоснованием социал-демократии, как оно было высказано в работах группы „Освобождение Труда", Мартов еще более утвердился в своем марксистском мировоззрении за то время, какое ему пришлось пробыть в одиночной пе-

тербургской тюрьме „Кресты“ по первому своему делу. Этим и закончился подготовительный период его деятельности, так как затем он попадает в Вильну и здесь вместе с Кремером и другими по сути дела является одним из первых марксистов, заложившим основы бундовской организации.

Принимая самое деятельное участие в работе виленских кружков, Мартов вместе с Кремером издает знаменитую брошюру „Об агитации“. Автором этой брошюры был Кремер, Мартов ее редактировал и написал к ней только вводную часть, но несомненно, что и его взгляды на задачи социал-демократии в России в то время выявились в этом произведении.

Нет нужды теперь распространяться о том, какое большое значение имели взгляды, высказанные в этой брошюре: это было подведение итога всему предшествующему периоду и намечание дальнейшего пути,—переход от узко-кружковой пропаганды просветительного, так сказать, характера в духе социал-демократизма к широкой массовой работе в пролетариате, к агитационной деятельности на почве конкретных нужд и интересов рабочего класса, призыв к массовому движению и к борьбе с самодержавием. В понимании этой задачи, в постановке ее на очередь дня, в борьбе за нее, в ясной формулировке этого вопроса заключается несомненно большая заслуга как Мартова, так и Кремера.

В 1895 году Мартов снова в Петербурге, и теперь он уже вместе с группой В. И. Ленина начинает новый период своей деятельности, период „Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса“.

В сущности говоря, этот период основания „Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса“ и есть первый период настоящего выявления революционного марксизма в России, основания первой революционной социал-демократической организации. Здесь впервые самый гениальный из членов этой организации формулировал задачи русской социаль-демократии и с точки зрения научного социализма подверг беспощадной разрушительной критике утопические и часто прямо реакционные взгляды народников,—Михайловского, Южакова и др. Здесь впервые социал-демократия проявила себя, как классовая организация пролетариата с марксистской программой, здесь, наконец, впервые социал-демократия выступила, как истинная и единственная руководительница грандиозного по тому времени массового рабочего движения.

Мы разумеем те теоретические работы В. И., какие появились в этот период и основные положения которых были очень скоро так блестяще формулированы в „Задачах русских социал-демократов“,—мы говорим о том практическом руководстве движением, какое проявляли в этот период В. И. Ленин и Мартов.

Арестованный в конце 1895 года и высланный после больше чем годового заключения в тюрьме в Туруханск, Мартов пробыл в ссылке три года. После ссылки первую половину девятисотых годов Мартов проводит за границей, и там начинается, быть может, самый блестящий и самый революционный период его жизни (до раскола на втором съезде в 1903 году).

Трудно, говоря о Мартове, не говорить о его блестящих публицистических дарованиях. Еще в 1898 году группой „Освобождение труда“ была напечатана его блестящая брошюра „Современная Россия“. Начиная с конца 90-х годов Мартов развивает такую интенсивную литературную деятельность, что, в особенности в эпоху „Искры“, нет почти ни одного номера газеты, где бы не встречались статьи Мартова. В 1909 году появляется „Красное знамя в России“ с предисловием П. Аксельрода. С декабря 1900 г. Мартов принимает участие в редакции „Искры“ и включительно до разрыва на втором съезде и образования двух групп меньшевиков и большевиков он, поистине, был одним из самых блестящих представителей искризма, одним из самых неутомимых борцов с экономистами и прочими оппортунистическими течениями в русской социал-демократии.

Можно с уверенностью сказать, что в пятидесяти номерах „Искры“ какие вышли до раскола, едва ли в пяти или шести из них не встречается статей Мартова.

Публицистом Мартов был, действительно, блестящим. Удивительно красивый стиль, доступный пониманию самых широких масс, и вместе с тем в высшей степени точный и изящный, этот стиль дышал очень часто истинно революционным пафосом и в то же время поражал своей художественной образностью и, стало быть, красотой.

Но этим не ограничивалась литературная деятельность Мартова, его перу принадлежат статьи в искровском журнале „Заря“ („Гимн новейшего русского социалиста“ в № 1, „Всегда в меньшинстве“ в № 2—3, „Внутреннее обозрение“ в № 4), он издает отдельные работы (напр., „Рабочее дело в России“, 2-е изд.) и т. п.

В этот период своей деятельности Мартов достиг, по нашему мнению, кульминационного пункта: он занимал, действительно, революционные позиции в нашем движении, он наносил сокрушительные удары противникам ортодоксального крыла русской социал-демократии, он вместе с Плехановым и Лениным был руководителем рабочего движения в России, он принимал участие в подготовке второго съезда партии, он отстаивал программу нашей партии на этом съезде, он боролся с оппортунистическими стремлениями „Бунда“ и Акимовщины, он, словом, по праву должен считаться в этот период одним из самых ярких учителей той многочисленной рати работников социал-демократов, которые составили стальной хребет нашей партии. Все это бесспорно.

Но несомненно также и то, что Мартов не был рожден вождем, какие необходимы в такие драматические моменты истории, как настоящий момент. Он сам был создан из мягкого воска, а не из стали. Кроме того, сравнительно продолжительная работа в Вильно, в этой цитадели бундовских оппортунистических идей и настроений, узкая ограниченность специфически еврейского бундовского движения (несмотря на его организационную высоту) и, наконец, свойства его поэтически-публицистической природы сделали его способным поддаваться более сильным и ярким индивидуальностям. Он не был также организатором. Он был прекрасный пропагандист, типичный просветитель, блестящий публицист, но не вождь и организатор. Его ближайшие соратники и помощники, из свиты die minores, всегда являлись стопудовыми гирями на его революционной индивидуальности, ибо в самые решительные минуты, когда казалось вот-вот Мартов окончательно и решительно повернет налево и навеки уйдет от засасывающей тины соглашательства, из-за его спины вдруг выглянет хитрое лицо Дана, Либера или Кострова, и Мартов начинает вместе с ними петь дифирамбы оппортунизму и постепеновщине.

На втором съезде из маленького разногласия о первом параграфе устава возникли большие принципиальные разногласия по коренным вопросам социал-демократической тактики, а затем и программы. Теперь всем ясно, что не в уставе было дело, что обнаружились два полюса в нашей социал-демократии: один—это революционное течение с нашим большевистским взглядом на роль пролетариата в революции как гегемона, с категорическим отрицанием сотрудничества с буржуазией, с явным стремлением повести за собой революционное крестьянство, и другое, правое, опортунистское, соглашательское, мелкобуржуазное с явным стремлением сотрудничать с буржуазией, разделить с нею гегемонию пролетариата в революции.

Мартов не только примкнул ко второму течению, но все время войны и особенно в период октябрьской революции возглавлял не только оппортунистическое, но даже прямо реакционное направление социал-демократии, оправдывал всю борьбу второго Интернационала с нами и даже руководил этой борьбой, вдохновлял ее и своим авторитетом прикрывал самые ужасающие факты этой борьбы. Это он, Мартов, был автором и защитником знаменитого плана меньшевистской „Искры“ в 1904 году после раскола, когда меньшевики советовали рабочему классу, рвавшемуся в бой с самодержавием, вместо боевой тактики пойти за буржуазией и на либеральных банкетах смиренно просить слова у земцев. Это он, Мартов, выступал против нас, большевиков, когда мы в 1905 году выдвинули лозунг временного революционного правительства и звали рабочих на восстание, это он предлагал рабочим бороться с самодержавным чудовищем „жгучей потребностью самовооружаться“. Это он, Мартов, своим нерешительным поведением в эпоху реакции после первой революции одобрял тактику ликвидаторов, упразднявших революционную партию пролетариата и возводивших в перл создания гнусный, с позволения сказать „конституционный“, Столыпинский режим. Это он, Мартов, в эпоху февральской революции одобрял капитуляцию меньшевиков и эс-эров перед буржуазией и освящал своим авторитетом коалиционное правительство. Это он, Мартов, наконец, оказался по ту сторону баррикады за рубежом вместе с Каутским и другими вождями второго Интернационала.

Был, правда, один момент, когда Мартов, во время империалистской войны, казалось, приближается к нам, но это был только момент, очень скоро из-за его спины показались его обычные спутники Дан, Джордания, Церетели и прочие соглашатели и социал-шовинисты первого ранга.

Мартов не был создан вождем, но он был хорошим социал-демократическим публицистом и вообще писателем. Обладая огромной памятью, он носил в своей голове целый запас фактов, имен, сведений, воспоминаний,—вот почему его исторические работы, не отличаясь объективностью, блистали поразительно точной передачей событий и явлений. Но, без сомнения, эти произведения его гения не являются лучшими листьями в его лавровом венке революционера. Отличаясь указанными качествами, эти сочинения страдают удивительно ярко проявленным меньшевизмом. Быть может, лучшим его произведением является один томик его воспоминаний „Записок социал-демократа“.

Здесь весь Мартов,—весь его стиль, изящный и художественный, какой-то мягкий и незлобивый, ибо только изредка прорывается здесь пристрастное мнение меньшевика-фанатика; вся та прелесть воспоминаний большого человека, уходящего со сцены с полным сознанием, что, как бы ни были велики его ошибки, он уже вписал свою страницу в историю, весь тот колорит пред-исторической эпохи нашей истории, вся та живость и жизненность, вся та простота и вместе с тем яркость, какую способен дать только большой талант, и вся та скромность, какой отличаются люди, сами делавшие историю,—все это есть в этом небольшом томике его „Записок“.

Мартов—трагическая фигура нашей революции, ибо трагическое в его судьбе есть неизбежный результат тех глубоких подпочвенных процессов, выразителем одной стороны которых в сущности и был Мартов,—мелко-буржуазной струи нашего рабочего движения.

С ранних лет бросившись в рабочее движение, отдавши ему все свои силы и способности, работая всю жизнь во имя победы пролетариата, Мартов пал жертвой своих ошибок и заблуждений и умер

вдали от родины, покинутый и забытый тем самым рабочим классом, во имя которого он боролся.

Как трагически посмеялась над ним судьба, над его собственными словами, которым он изменил сам прежде всего:

„Все вперед! Таков лозунг нашего движения. Только тот выполнит свой долг перед пролетариатом, кто мыслью и делом будет участвовать в выработке более совершенных форм его классового движения". Так говорил Мартов в конце своей прекрасной книги „Красное знамя в России".

Это говорилось в 1900 году, когда сам Мартов шел все вперед и вперед, а теперь разве можно написать эти слова на его могиле?

Нет. Но пускай так, пускай мы знаем, кто был Мартов после 1903 года и что защищал он особенно после октября 1917 года, sine ira et studio скажем: Уже за то, что до 1903 года Мартов был наш, боролся с нами и учил бороться нас, он достоин занять почетное место в Пантеоне русского рабочего движения, а мы, повторяя его слова этого его революционного периода, не только скажем, но и сделаем: „Все вперед! Таков лозунг нашего движения. Только тот выполнит свой долг перед пролетариатом, кто мыслью и делом будет участвовать в выработке более совершенных форм его классового движения".

В. Невский.

Еще несколько слов об общественно-необходимом труде.

Спор между сторонниками т. н. „технической" и „экономической" версий решается, конечно, не количеством цитат из Маркса, которые могут выставить в свою защиту та и другая точки зрения.

Вопрос заключается в том, какая из них согласуется с целым концепции Маркса, и какая ей противоречит?

Я утверждаю, что сторонники экономической версии, будучи последовательными, должны отказаться от учения Маркса о выравнивании средней нормы прибыли и ценах производства, а значит и вообще от учения о ценности, так как последнее, не дополненное первым, находится в неразрешимом противоречии с бесспорным законом равной прибыли.

Как известно, в изображении Маркса механика выравнивания средней нормы прибыли такова: высокая норма прибыли в отраслях промышленности с низким органическим составом капитала вызывает приток туда капиталов, расширение производства, увеличение предложения товаров, при неменяющемся спросе, и понижение цены сравнительно с ценностью. Обратный процесс имеет место в отраслях промышленности с высоким органическим составом капитала. Этот процесс продолжается до тех пор, пока прибавочная ценность, произведенная всем рабочим классом, не перераспределяется между всеми капиталистами так, чтоб на равные капиталы была получена равная прибыль.

Таким образом, в отраслях производства с низким органическим составом капитала цены производства ниже ценности; разница между ценностью и ценами производства идет в общий котел, т.-е. составляет материальное основание для выравнивания средней прибыли. Эта разница между ценностью и ценою производства, по Марксу, образуется здесь благодаря тому, что конкуренция капиталов увеличивает предложение при неизменившемся спросе. Всякое другое объяснение образования этой разницы—мистика.

Но с точки зрения „экономической" версии, эта разница in rerum natura не существует. Сторонник экономической версии, будучи

последователен, должен, слегка лишь перефразировав Струве, сказать: никакой реальности кроме цен производства, ни з а, ни п о д оными—нет. Или иными словами: цена производства и ценность всегда совпадают.

Ведь в самом деле: благодаря росту предложения со стороны какой-нибудь отрасли промышленности низкого органического состава капитала, скажем кожевенной, цены производства оказываются ниже ценности. Ценность всей продукции—определяемая количеством затраченного труда—равна, предположим, 1.000, платежеспособный же спрос выражается в 800; значит цена производства будет равна 800; остальные 200 произведенной и реально существующей ценности идут в общий котел на выравнивание прибыли в отраслях промышленности высокого органического состава капитала. Если эти 200 единиц ценности не существуют, то совершенно непонятно, каким образом выравнивается средняя прибыль. Ведь не святым же духом?

Но с точки зрения „экономической" версии ценность нашей кожи будет измеряться именно 800, ибо таков платежеспособный спрос. Труд, затраченный на остальные 200, ценности не создал, ибо на него не оказалось платежеспособного спроса! Труд создает ценность лишь в такой мере, в какой на его продукты существует платежеспособный спрос. Значит ценность не может превышать цены производства. Значит выравнивание прибыли не может обойтись без св. духа. Значит.., но я думаю, что всякий марксист скорее откажется от „экономической версии", чем подпишется под всеми вытекающими отсюда „значит".

Э. Гольденберг.

К вопросу о различных версиях в трактовке понятия „общественно-необходимый труд".

В последнем номере „Под знаменем марксизма" помещена статья т. Мотылева, выступившего с критикой нашего понимания категории „общественно-необходимый труд".

Вопрос, о котором идет речь, далеко еще не решен. Во всех семинариях, в которых он ставился в этом году, насколько нам известно, не было достигнуто единство взглядов. Всюду имело место расхождение между сторонниками технической и экономической версии и тем самым воспроизводилось расхождение во взглядах, имевшее место задолго до появления статьи Мендельсона в среде ортодоксальнейших—без ковычек—марксистов.

Очевидно, разногласия по вопросу о понимании категории „общественно-необходимый труд" имеют какое-то „достаточное" основание.

Если мы снова выступаем по данному вопросу, то делаем это потому, что считаем необходимым поставить точки над i, уточнить

раньше высказанные нами взгляды и тем содействовать, по мере возможности, уяснению вопроса.

Нам придется, само собою разумеется, обращаться к статье т. Мотылева, как послужившей поводом к настоящей заметке.

„Полемический" жанр—не наш жанр, равно как и менторски-наставительный тон—не наш тон. Абстрактный анализ мы предпочли бы вести в академически-спокойном тоне обычных научных дискуссий.

Но т. Мотылев берет на себя защиту „молодых марксистов" от тлетворного влияния „ошибочных воззрений т. Мендельсона", теряет равновесие и не только дискуссирует, но и поучает противника.

При наличности таких условий мы считаем целесообразным наряду с уточнением своей точки зрения попробовать критически воспринять „поучение" т. Мотылева.

Предварительно—несколько замечаний о предмете спора.

Заслуга Маркса в развитии теории стоимости, как известно, состоит в том, что он, заимствовав у классиков тезис о труде, как факторе, образующем стоимость,—выяснил условия, наличность которых необходима, чтобы затраченный на производство человеческий труд создавал стоимости—товары.

Одной из характеристик труда, образующего стоимость, является по марксовой теории его общественная необходимость.

Вопрос идет о том, включает ли Маркс при конструировании понятия „общественно-необходимый труд" в свою абстрактно-логическую модель конкретного явления категорию общественной потребности, и, если включает, то какую роль отводит ей.

В зависимости от ответа на этот вопрос намечаются три решения контроверзы.

Техническая версия отвергает включение момента общественной потребности в понятие общественно-необходимый труд.

Экономическая версия в варианте Шрамма, Фишера, Каутского и др. утверждает, что влияние общественной потребности сказывается всегда как в том случае, когда количество произведенных продуктов превышает общественную потребность, так и тогда, когда продуктов произведено меньше общественной потребности в них.

И, наконец, экономическая версия в нашей трактовке решает вопрос в том смысле, что влияние общественной потребности может сказаться лишь в одном случае, а именно, когда количество произведенных продуктов превышает величину общественной потребности. Поскольку, возможно, не совсем ясна разница—весьма существенная—между экономической версией в интерпретации Шрамма, Каутского и др. и нашей экономической версией, мы считаем уместным остановиться на последних двух решениях.

Для освещения точки зрения экономической версии в первом понимании мы приведем ее в изложении одного из ее сторонников—К. Каутского, как потому, что до сих пор никто не упоминал о нем как о стороннике этой версии, так и в виду той классической ясности и простоты формулировки, с которой она им изложена.

„В коммунистическом обществе работа регулируется планомерно, рабочие силы распределяются между отдельными отраслями по определенному плану. При товарном производстве регулирование это совершается при посредстве закона стоимости. Стоимость каждого товара определяется не фактически потраченным на его производство, а общественно-необходимым для его производства рабочим временем... Общественно-необходимое рабочее время в каждой отрасли труда определяется, с одной стороны, достигнутою обществом высотою техники в этой отрасли,—обычно напряженностью и т. д., одним словом, среднею производительностью труда отдельного ребочего, с другой стороны, — количеством продуктов, которое требуется обществом в данной отрасли труда (курс. наш), и, наконец, общим количеством рабочих сил, находящихся в распоряжении общества. Свободная конкуренция приводит к тому, что цена продуктов, т.-е. количество золота, которое можно получить в обмен на них, постоянно стремится приблизиться к их определяемой общественно-необходимым рабочим временем стоимости...

„Приведем для пояснения этого пример и возьмем самый простой, какой только можно представить. В качестве результата общественного производства будут у нас фигурировать только два каких-нибудь товара—положим, брюки и подтяжки.

„Предположим, что в данном обществе общественно-необходимое рабочее время в данный период времени составляет для брюк 10.000 рабочих дней, а для подтяжек 1.000 раб. дней. Это значит, что для того, чтоб удовлетворить общественный спрос на брюки и подтяжки, при данном состоянии производительности труда требуется указанное количество рабочих дней. Если продукт одного рабочего дня оценивается в 10 марок, то стоимость брюк будет равна 100.000 марок, стоимость подтяжек—10.000 мар.

„Если отдельный рабочий при производстве продукта отклоняется от общественной нормы, если, скажем, в течение рабочего дня он производит только половину того, что производят его товарищи, то и цена продукта его рабочего дня будет равна лишь половине цены продукта, который изготовляется в течение рабочего дня каждым из остальных рабочих. Это всем известно. Но то же самое происходит и тогда, когда уклоняется от нормы пропорциональность работ. Если, напр., на фабрикацию подтяжек идет больше рабочих сил, чем общественно-необходимо, то соответствующее количество рабочих сил должно быть взято из каких-нибудь других отраслей труда, так как число находящихся в распоряжении общества рабочих сил ограничено. Предположим для простоты, что эти рабочие силы отняты от портняжества. Вместо общественно-необходимого рабочего времени в 10.000 рабочих дней в одной отрасли производства и в 1.000 рабочих дней в другой мы находим, положим, 8.000 действительно потраченных рабочих дней—в первой, 3.000—во второй: общество завалено подтяжками и терпит недостаток в брюках. Что произойдет от этого? Цены на подтяжки упадут, цены на брюки поднимутся. 3.000 рабочих дней, действительно потраченных в области производства подтяжек, будут представлять стоимость лишь 1.000 общественно-необходимых рабочих дней; стоимость одной пары подтяжек понизится до одной трети прежней ее величины (курс. наш. А. М.); цена также упадет и, пожалуй, еще ниже трети. Стоимость же брюк будет по-прежнему определяться общественно-необходимыми 10.000, а не действительно потраченными 8.000 рабочих дней, стоимость отдельных брюк будет равняться пяти четвертям прежней стоимости (курс. наш. А. М.). Вследствие этого фабрикация подтяжек становится невыгодною, число посвящаемых ей рабочих сил сокращается, и избыток их направляется снова в производство брюк, сделавшееся чрезвычайно выгодным.

„Так регулируется производство законом стоимости при свободной конкуренции“ [1]).

Обращаем внимание на подчеркнутые места. Из них явствует, что, по мнению сторонников этой версии, действие общественной потребности сказывается в обоих случаях нарушения равновесия между количеством произведенных продуктов и общественной потребностью в них: как в случае превышения, так и недостижения уровня общественной потребности.

И если сторонники технической версии—и в этом мы с ними согласны—посылают сторонникам только что изложенного взгляда упрек в принятии двух факторов стоимости—труда и общественной потребности, то они имеют основание это делать, ибо общественная потребность в этом понимании выступает как перманентно действующая сила наряду с трудом.

Для уяснения нашей точки зрения развернем подробно на конкретном примере с электрическими лампочками наше понимание.

Первый случай [2]). Общественная потребность в электрических лампочках равна 1 милл. штук. Лампочек произведено 1 милл. шт. Каждая из них удовлетворяет обществ. потребность, обладает потребительной стоимостью, следовательно, и стоимостью, величина которой определяется в данном случае исключительно количеством труда общественно-необходимого в техническом смысле, т.-е. равна одному часу.

---

[1]) К. Каутский. „На другой день после социальной революции“. Петроград. Издат. „Пролетарская Мысль“, 1918 г., гл. 4.—„Привлечение работников к труду“, стр. 24—25. Брошюра написана в 1902 г.—ср. предисловие А. Луначарского.

[2]) Во всех трех анализируемых нами случаях предполагается, что при данной степени развития техники и производительности труда на производство одной лампочки нужен один час.

Второй случай. Общественная потребность в электрических лампочках равна 1 милл. шт. Лампочек произведено меньше миллиона, скажем, 600.000 шт. И в данном случае каждая лампочка удовлетворяет обществ. потребность, обладает потребительной стоимостью, следовательно, и стоимостью. Величина последней, как и в предыдущем случае, определяется трудом, общественно-необходимым в техническом смысле, т.-е. равна одному часу.

Третий случай. Общественная потребность в электрических лампочках равна 1 милл. шт. Лампочек произведено 2 милл. шт.

Отсылая к подробному анализу этого случая в нашей статье[1]), мы здесь только напомним, что нам представляются возможными два варианта: либо общественная потребность не поддается расширению и тогда стоимость отдельной лампочки определяется общественно-необходимым трудом в техническом смысле, либо общественная потребность расширится, и тогда стоимость лампочки будет составлять какую-то дробь технически-необходимого времени.

Разница между нашим пониманием и пониманием Каутского выступает совершенно явственно. Заявлять, что наша трактовка вопроса и трактовка Шрамма, Каутского и др. идентична, можно, лишь извращая действительное положение вещей. Для нас общественная потребность не перманентно действующая сила, следовательно не второй параллельный фактор на-ряду с трудом, а лишь „количественная граница". Можно ли при такой трактовке говорить о втором факторе? Хорош второй фактор, если действие его совершенно не проявляется в двух случаях из трех возможных, и даже в третьем, как это видно из нашего примера, влияние его не всегда обязательно должно сказаться.

Повторяем, только слепой либо нежелающий видеть не заметит разницы.

Анализом трех вышеприведенных случаев мы исчерпали все возможные комбинации между количеством произведенных продуктов и величиной общественной потребности в них.

При чем при решении этих казусов мы руководствовались тем соображением, что предпосылкой стоимости товара является его полезность, т.-е. способность удовлетворять какую-либо общественную потребность; если нет этой предпосылки на-лицо, то сколько бы мы ни затратили труда на производство тех или иных продуктов, они не будут иметь стоимости.

Понятие „полезность" включает два момента—качественный и количественный. Для того, чтобы удовлетворять какую-либо общественную потребность, продукт человеческого труда должен обладать известными качествами.

Но на-ряду с этим, если даже данный продукт и обладает определенными свойствами, делающими его полезностью, это еще не

[1]) „Понятие „общественно-необходимый труд" как элемент теории стоимости Маркса"—„Под Знаменем Марксизма", 1922 г., № 7—8, стр. 162.

значит, что все единицы данного рода продуктов будут полезностями, следовательно, будут обладать стоимостью.

В нашем третьем случае с электрическими лампочками вполне мыслимо—а в абстрактном анализе только об этом и идет речь—такое соотношение между количеством произведенных продуктов и величиной общественной потребности в них, когда некоторое количество произведенных лампочек совершенно не нужно, бесполезно, следовательно, лишено потребительной стоимости, а с нею и стоимости.

Исходя из этого, мы и считаем себя в праве принимать общественную потребность как предел, за который нельзя переступать, не рискуя растратить попусту труд, и в то же время отвергать роль общественной потребности, как фактора каким бы то ни было образом влияющего на величину стоимости в случае производства продуктов в количестве, меньшем размера общественной потребности в них.

Переводя на язык конкретных цифр нашего примера, мы говорим, что если в третьем случае—лампочек произведено больше общественной потребности в них—мыслимы два варианта (см. выше), то в первом и втором случае нам нет никакой надобности допускать влияние общественной потребности на величину стоимости, потому что в обоих этих случаях каждая единица произведенного продукта обладает предпосылкой стоимости—полезностью.

В том, что такой трактовкой роли общественной потребности мы точнее выражаем точку зрения Маркса, чем сторонники экономической версии в варианте Каутского, нас убеждает тот факт, что Маркс во всех случаях, когда говорит о влиянии общественной потребности, рассматривает исключительно ту комбинацию условий равновесия между количеством произведенных продуктов и общественной потребностью в них, когда нарушение этого равновесия совершается в сторону превышения количеством произведенных продуктов величины общественной потребности—ср. приведенные в нашей статье цитаты из I и III т. т. „Капитала", а также нижеприводимый отрывок из I т. „Теорий прибавочной стоимости".

Обратимся к статье т. Мотылева.

1. „Рассуждения Мэндельсона в примере с лампочками совершенно аналогичны рассуждениям Шрамма в его примере со столами и фактически подтверждают рассуждения Франка. И тот факт, что тов. Мендельсон отмежевывается от Шрамма и Франка, свидетельствует лишь о противоречивости его взглядов" (стр. 215).

Итак, Мендельсон—Шрамм—Франк... Почему же вы остановились, т. Мотылев? Смелее разматывайте нить... Франк—Туган-Барановский—Бем-Баверк.

Прием испытанный. Пугайте. Иногда и это служит аргументом[1]).

Вместо того, чтоб анализировать точку зрения т. Мендельсона, т. Мотылев направил свою критику против Шрамма и т. д. и одержал тем более легкую победу, что ему пришлось лишь повторить неоднократно высказывавшиеся аргументы (ср., напр., А. Богданов—„Курс политической экономии", на что имеется ссылка и у нас).

---

[1]) Известно, что, подобно тому, как маленькие дети не любят трубочиста, либо верующие христиане дьявола, так марксисты не любят общества представителей потребительских теорий...

К аналогичному с т. Мотылевым приему прибегает и проф. Л. Любимов в борьбе против экономической версии—„Курс политической экономии", т. I, отд. 5-ый, гл. 17-ая. Предлагая переименовать экономическую версию в потребительскую, профессор „ко референдума" авансом включает нас в число сторонников новорожденной потребительской версии.

Прием не новый. Нежный французский диалект выработал для него даже формулу настолько же краткую, как и выразительную—calomniez, calomniez, il en reste toujours—клевещите, клевещите и т. д.

Помимо аргумента „от устрашения" проф. Любимов приводит и два возражения по существу.

Отвергая наше утверждение о возможности обратного влияния общественной потребности на стоимость в качестве „количественной границы", профессор цитирует Маркса, „который, как мы только что видели, совершенно определенно говорит, „что общественная потребность... „абсолютно ничего не в состоянии объяснить" в стоимости отдельного товара". Позвольте заметить, уважаемый профессор, что мы только что видели, что „отношение спроса и предложения абсолютно ничего не в состоянии объяснить"... „Спрос и предложение" цитаты на стр. 243 превратились на стр. 244 в „общественную потребность" в той же самой цитате. Почему такая метаморфоза?

В нашей статье мы указывали на различение Марксом этих категорий. Прф. Л. Любимов вместо того, чтоб опровергнуть это наше утверждение, предпочел просто переименовать „спрос" в „общественную потребность". Способ доказательства, как видим, чрезвычайно простой.

Второе возражение сводится к тому, что стоимость отдельного товара нельзя рассматривать как часть стоимости всех товаров одного рода отдельной отрасли производства. По мнению проф. Любимова, нужно из стоимости отдельного товара выводить стоимость суммы, а не от количества затраченного на отдельную отрасль труда заключать о стоимости отдельного товара этой отрасли.

В данной связи вопрос, затронутый профессором, интересует нас не an und für sich, а с точки зрения решения его Марксом. Ко всем упомянутым в нашей первой статье цитатам из „Капитала", в которых Маркс дает свое решение данного вопроса, мы присоединим еще одну выдержку из 44-ой главы III тома: „один и тот же труд дает одинаковую стоимость для продукта, созданного в течение данного времени; но величина или количество этого продукта, а потому и та часть стоимости, которая приходится на соответственную часть этого продукта (курс. наш. А. М.) зависит единственно от количества продукта"...

Мы не отрицаем чьего-либо права выступать с поправками и дополнениями к теории Маркса, но не мешает отмечать, где кончается Маркс и где начинается „комментарий" к нему.

Индивидуалистическая психика отдельного товаропроизводителя никогда не примирится с растворением его товара в общей массе товаров; с общественной точки зрения Маркса вполне естественно рассматривать отдельный товар, как часть общей товарной массы данного рода, и труд, затраченный на него, считать частью общего труда, образующего стоимость данного рода товаров. Ср. также в данной связи учение Маркса об абстрактном труде.

После всего вышесказанного ясно, что либо т. Мотылев, выражаясь мягко, не уяснил себе сути дела, либо сознательно извратил ее. Тот или другой „вариант" одинаково мало послужит к украшению [1]).

2. Разбирая наш пример с лампочками,—тот случай, когда число произведенных лампочек превышает общественную потребность в них,—т. Мотылев находит, что „тов. Мендельсон умудрился...—найти иное (чем его, т. Мотылева, изложенное несколькими строками выше. А. М.) решение вопроса. По его мнению, произойдет понижение стоимости каждой лампочки"...

Если мы и не можем,—как это делает т. Мотылев,—„с уверенностью утверждать, что производство 2 милл. лампочек при потребности в 1 милл. не отразится на высоте, размере рыночной стоимости каждой лампочки", но зато мы можем с уверенностью констатировать, что т. Мотылев ни единым словом не обмолвился, что его решение есть лишь первый вариант нашего решения [2]). А это умолчание оказывается тем более кстати, что тем легче индентифицировать наше решение с решением Шрамма.

В целях „полемики" такой прием, быть может, допустим. Мы не спецы по этой части. Но в интересах выяснения вопроса вряд ли это нужно.

3. Т. Мотылев находит, что „в период кризиса происходит не падение рыночных стоимостей, как это полагает Мендельсон, но падение цен ниже стоимостей" (ст. 213). Другими словами, по мнению т. Мотылева, во время кризиса мы имеем дело с явлениями цены и только цены, но отнюдь не стоимости.

По нашему мнению, „при кризисах мы имеем дело именно с явлениями стоимости, а не цены. Изменения цен—отражение более глубоких, основных явлений стоимости" [3]).

В примечании на стр. 217 т. Мотылев заявляет: „мы просмотрели внимательно в немецком тексте соответственные места, указанные т. Мендельсоном, и констатируем, что ничего даже напоминающего взгляды т. Мендельсона там нет".

Ввиду того, что эти места до сих пор нигде не цитировались, и так как они, с нашей точки зрения, имеют самое непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу, мы позволим себе их привести, если бы для этого понадобилось даже вступить в „полемику" с тов. редактором из-за размеров заметки.

---

[1]) Если у некоторых могло составиться ложное представление о наших взглядах, то извинением может служить то обстоятельство, что в упомянутой нами статье первый и второй случай конкретного примера, приведенного нами для иллюстрации центрального пункта нашей мысли, за недостатком места не были нами подробно развиты.

У т. Мотылева не может быть даже этого извинения, ибо в продолжительных дискуссиях по данному вопросу он принимал участие и имел возможность выяснить нашу точку зрения.

[2]) Ср. „Под знаменем марксизма", 1922 г., № 7—8, стр. 162—случай а).

[3]) Там же, стр. 161.

„...Сравнение ценности в одном периоде с ценностью тех же товаров в более поздний период, т.-е. то, что господин Bailey считает схоластической фантазией, составляет, напротив, основной принцип процесса обращения капитала.

„Если речь идет об уничтожении капитала посредством кризисов, то следует различать два положения.

„Поскольку замедляется процесс воспроизводства и процесс труда ограничивается, а местами и совсем замирает, то уничтожается действительный капитал. Машины, которые не употребляются, не являются капиталом. Труд, который не эксплоатируется, это все равно, что потерянное производство. Сырой материал, лежащий без употребления, не есть капитал, потребительные ценности (так же, как вновь построенные машины), остающиеся неиспользованными или незаконченными, товары, гниющие на складах,—все это есть уничтожение капитала. Причиной всего этого является замедление процесса воспроизводства и то, что имеющиеся средства производства не действуют на деле, как средства производства, не приводятся в действие. Их потребительная ценность и их меновая ценность идут при этом к чорту.

„Но уничтожение капитала в кризисах означает, во-вторых, и такое обесценение масс ценности, которое мешает им позднее возобновить в том же размере процесс их воспроизводства как капитала... значительная часть номинального общественного капитала, т.-е. значительная часть меновой ценности существующего капитала, раз-на-всегда уничтожена, хотя как раз благодаря тому, что это уничтожение не касается потребительной ценности, оно может весьма ускорить новое воспроизводство“ [1]).

Приведенная нами цитата помещена в разделе, озаглавленном: „Кризисы. а) Причины кризисов... г) Общее и частное перепроизводство“. Сомнений в том, что речь у Маркса идет о кризисах и о явлениях стоимости во время кризисов, быть не может. Ср. также на стр. 55 конец абзаца, начинающегося на стр. 54.

О том, что внешним проявлением стоимостных изменений являются колебания цен—двух мнений быть не может. Но разграничение этих процессов—в абстрактном анализе—необходимо.

На вопрос, почему от стоимостных изменений масс товаров, о которых говорит Маркс, мы приходим к стоимостным изменениям отдельных товаров, интересующиеся могут найти ответ в соответствующих местах работ Маркса, указанных нами в примечании к пункту первому—ответ проф. Л. Любимову.

В поисках объяснения причин странной аберрации т. Мотылева мы, в конце-концов, пришли к убеждению, что вина лежит на нас во-первых, в примечании, в котором мы ссылались на „Theorien“ (наша статья, стр. 161), мы указали лишь один отрывок, не указав второго—наиболее характерного (упомянутого раньше на стр. 155) и, во-вторых,—и это самое главное—мы забыли упомянуть о годе и месте издания „Theorien“... Остается предположить, что благодаря нашей оплошности т. Мотылев просмотрел, хотя и „в немецком тексте“, но в другом издании другие места.

[1]) Карл Маркс. „Накопление капитала и кризисы“. Перев. С. Бессонова. Кооперат. Издат. „Московский рабочий“, 1923 г., стр. 30. Немецкий текст—см. Theorien über den Mehrwert. Aus dem nachgelassenen Manuskript „Zur Kritik der politischen Ekonomie“ von Karl Marx. Zweiter Band. David Ricardo. Zweiter Teil. Stuttgart 1919. S. 267—268.

4. До сих пор мы разбирали критическую часть статьи т. Мотылева. Посмотрим, как выглядит позитивная часть его рассуждений.

Свое решение вопроса о том, что будет, если лампочек произведено больше общественной потребности в них, и общественная потребность при этом не поддается расширению, т. Мотылев формулирует так: „Если же размер потребностей не поддается расширению даже при падении цен, то, кроме того, потребительная стоимость и стоимость части лампочек перейдет в потенциальное состояние. Если потребность в этом запасе появится скоро и они не успеют еще „морально“ устареть, то приобретут снова потребительную стоимость и стоимость“ (стр. 214); и дальше, находя, что у Маркса есть и другое (кроме технического) понимание общественно-необходимого рабочего времени, т. Мотылев заявляет: „Вместе с тем, это второе понимание выражает еще то очевидное положение, что всякое нарушение соответствия между общей массой труда, затраченной на производство товаров данного рода и массой труда, пропорционально необходимой для удовлетворения потребностей, может лишить вовсе или на время часть товаров потребительной стоимости и, значит, стоимости“ (стр. 217).

Теперь становится понятным то умолчание насчет первого варианта нашего решения, о котором мы говорили в пункте втором настоящей заметки: он должен был фигурировать в качестве единственно мыслимого („в этом, и только в этом“) решения вопроса о „втором“ т. н. экономическом понимании общественно-необходимого рабочего времени.

Т. Мотылев признает очевидным, что несоответствие между количеством труда, затраченного на производство товаров данного рода и величиной общественной потребности в них, может лишить часть товаров потребительной стоимости, а, следовательно, и стоимости. Какой характер носит утрата товарами стоимости—является ли она окончательной или временной,—не об этом идет речь; равно как нам неважно, какое название дать несуществующей стоимости—потенциальная, латентная или т. п. Мы никогда не сомневались в том, что, с расширением потребности, продукты человеческого труда, утерявшие было свою стоимость, снова обретают потребительную стоимость, а с нею и стоимость [1]).

[1]) При социологической трактовке категории стоимости, как общественного отношения в противоположность натуралистической трактовке, имеющей тенденцию слишком „овеществлять“ стоимость, опираясь на Марксовы выражения „сгусток“, „кристалл“ и др.,—при социологической трактовке, говорим мы,—признание непрерывных колебаний стоимости, созвучных колебаниям общественной системы в целом, является вполне естественным.

Нас интересует, почему т. Мотылев исследует вопрос лишь при неизменяющейся общественной потребности, почему исследование взаимоотношения стоимости отдельного товара и изменяющейся общественной потребности он заменяет анализом взаимоотношения цены товара и спроса на этот товар.

Никакого „достаточного" основания для такой замены мы не видим.

Стоимость—категория совершенно самостоятельная и ее анализ может и должен вестись вне зависимости от цены; явления цены могут быть привлекаемы при конструировании понятия стоимости лишь для иллюстрации. Взаимоотношение стоимости и цены—совершенно особая проблема, равно как проявление закона стоимости при посредстве механизма цен.

Продолжим анализ, прерванный т. Мотылевым. Случай, рассмотренный им—наиболее редко встречающийся случай. Общественная потребность эластична. Изменения ее находятся в самой непосредственной зависимости от величины стоимости. Чем выше стоимость отдельного продукта, тем уже общественная потребность в продуктах данного рода, и обратно.

При решении вопроса о том, какие мыслимы возможности при превышении общественной потребности количеством произведенных продуктов, мы полагаем, что помимо первого случая—когда общественная потребность не изменяется,—мыслим и второй случай: при наличности произведенных продуктов расширение общественной потребности может произойти за счет снижения стоимости отдельного продукта.

Почему это рассуждение наше неправильно, т. Мотылев не доказывает, а вместо опровержения описывает механизм колебания цен.

Мы знаем возражение по существу нашего рассуждения с доводами от формальной логики: общественная потребность—величина производная по отношению к стоимости отдельного товара данного рода и в то же время она—„количественная граница", которая может оказать влияние на величину стоимости того же товара, от которого она (общественная потребность) сама зависит:—порочный круг. Но мы помним—и Маркс не устает учить нас этому,—что при решении контроверз, возникающих при анализе диалектически развертывающихся процессов, „малый разум" формальной логики—не самый компетентный судья.

Кроме того, нужно заметить, что объяснение колебания цен,—вне зависимости от колебаний стоимости—спросом и предложением может иметь место лишь при анализе колебаний на протяжении незначительных промежутков времени.

Сколько-нибудь длительное, устойчивое изменение цен при отсутствии изменений в технике и производительности труда—с этим случаем мы имеем дело при кризисах—свидетельствует об изменении стоимости. Нельзя сводить все явления колебания цен исключительно к влиянию спроса и предложения. Хотя в развитом капиталистическом обществе цена есть денежное выражение не непосредственно стоимости, а „цены производства", но поскольку средняя норма прибыли для более или менее длительных промежутков времени есть величина мало изменяющаяся, колебания цен отражают изменения стоимости.

5. Анализ неоднократно цитировавшихся мест из 37-й гл. III тома „Капитала" приводит т. Мотылева ко „второму пониманию общественно-необходимого рабочего времени".

Мы считаем полезным напомнить еще одно никем из участников дискуссии не цитировавшееся место из первого тома „Теорий прибавочной стоимости".

„Если 1 арш. полотна обходится в 1 час труда, и если это есть необходимое для его производства рабочее время, которое обществу приходится затрачивать для удовлетворения своей потребности в аршине полотна, то отсюда еще совсем не следует, что при производстве 12 милл. арш., т.-е. при затрате 12 милл. рабочих часов или 1 миллиона рабочих дней, при 1 милл. рабочих, занятых в ткацком промысле, общество должно „необходимо" затрачивать именно такую часть своего рабочего времени на тканье полотна. Дано необходимое рабочее время, т.-е. дано то количество полотна, которое может быть произведено в течение одного дня; спрашивается, сколько таких дней должно быть затрачено на производство полотна? Отношение общего количества рабочего времени, затрачиваемого в данной отрасли производства ко всему рабочему времени, находящемуся в распоряжении общества, может быть выше или ниже правильного отношения, несмотря на то, что каждая доля продукта содержит только необходимое для ее изготовления рабочее время, или несмотря на то, что каждая доля затраченного рабочего времени была необходима для создания соответствующей ей доли всего продукта. С этой точки зрения необходимое рабочее время получает другой смысл. Спрашивается, в каких количествах само необходимое рабочее время распределяется между различными сферами производства?

„Конкуренция постоянно регулирует это распределение подобно тому, как она же постоянно и нарушает его. Если в какой-нибудь отрасли затрачено слишком большое количество общественного рабочего времени, то эквивалент все-таки может быть уплачен только в том размере, как будто затрачено необходимое количество. Значит, общая сумма продукта (одной сферы)—т.-е. стоимость общей суммы продукта—равняется в этом случае не тому рабочему времени, которое в ней содержится, а тому рабочему времени, которое должно было быть пропорционально затрачено, если бы общая сумма этого продукта была пропорциональна производству в других сферах. Но поскольку цена общей суммы продукта падает ниже ее стоимости, постольку же падает цена каждой

отдельной доли продукта. Если произведено 6.000 арш. полотна (вместо 4.000, считая стоимость 4.000 арш. 8.000 шиллингов), то эти 6.000 арш. полотна будут проданы за 8.000 шиллингов. Цена аршина [в последнем случае] равна $1^1/_3$ шилл. вместо 2 шилл., т.-е. она на одну треть ниже своей стоимости. Значит, это то же самое, как если бы на производство каждого аршина полотна ушло на одну треть больше времени, чем необходимо. Принимая, что товар имеет потребительную стоимость, факт падения его цены ниже его стоимости показывает, что хотя на каждую часть продукта затрачено было лишь общественно-необходимое рабочее время (здесь предполагается, что условия производства не изменились), но на всю отрасль промышленности в целом затрачено было лишнее время, превышающее то его количество, которое общественно-необходимо" [1]).

Мы привели длинный отрывок, в котором Маркс ставит и решает интересующий нас вопрос, полностью, без каких бы то ни было „редакционных" сокращений.

Нет ни малейшего сомнения, что как сторонники чистой технической версии, так и сторонники чистой экономической версии (вариант Каутского) будут толковать отдельные замечания Маркса в свою пользу.

В той связи, в которой мы в данное время рассматриваем вопрос, мы с своей стороны можем из подчеркнутых мест в связи с общим контекстом констатировать следующее. Маркс, несомненно, признавал возможность такой комбинации условий, при которой стоимость всей массы продуктов в данной отрасли определяется не тем временем, которое затрачено и является общественно-необходимым в техническом смысле, а тем, которое общество должно было бы затратить в соответствии со своей потребностью, что, в свою очередь, приводит Маркса к признанию возможности снижения стоимости общей массы продуктов данной отрасли, а вместе с тем и соответственного понижения стоимости отдельного экземпляра данного рода товаров. Адэкватным этому процессу понижения стоимости является процесс понижения цены.

При всем нашем желании быть оригинальными, мы должны все же признать приоритет Маркса в решении „в нашем смысле" того казуса, который мы разбираем как второй вариант третьего случая в примере с электрическими лампочками.

Будем надеяться, что анализ приведенного отрывка поможет т. Мотылеву открыть второй вариант открытого уже им „второго понимания общественно-необходимого рабочего времени", либо, по крайней мере, признать наличность этого варианта у Маркса.

6. Одним из основных положений нашей статьи является констатирование различения Марксом категорий „общественная потребность"

[1]) К. Маркс. „Теории прибавочной стоимости". Перев. под. ред. Плеханова, 1906 г., стр. 184—185, примеч. Курсив везде наш. А. М.

и „спрос". Мы утверждали, что между этими категориями в системе Маркса существует такое же отношение, как между стоимостью и ценой, между абстракцией и ее конкретным выражением. Разграничение этих понятий дает Марксу возможность сконструировать категорию стоимости, как prius цены.

Тов. Мотылев, не опровергнув нашего утверждения и смешав общественную потребность со спросом, стоимость с ценой, описывает механизм образования и колебания цен вместо того, чтоб анализировать явления стоимости, и тем самым—лишь на иной лад—повторяет ошибку Шрамма.

7. Т. Мотылев „ловит" нас на противоречии: мы признаем примат производства над потреблением и в то же время оказывается, что общественная потребность может служить, с нашей точки зрения, „количественной границей тех количеств общественного рабочего времени, которые можно целесообразно затратить на различные особые сферы производства" и тем самым влиять на величину стоимости.

На это „противоречие" того же порядка, как и противоречие между „базисом" и „надстройкой" в теории исторического материализма: „надстройка", обусловливаемая „базисом", может в свою очередь оказывать обратное влияние на „базис" [1]).

Признание примата производства над потреблением не исключает признания возможности обратного влияния потребления на производство.

На почве „последовательного" толкования тезиса о примате производства у некоторых развивается род идиосинкразии по отношению ко всему, что так или иначе связано с „потреблением".

Вопрос о роли общественной потребности в образовании стоимости есть несомненно лишь частный вопрос о взаимоотношении производства и потребления в капиталистическом обществе.

Т. н. экономическая версия понятия „общественно-необходимый труд" по существу дела не что иное, как применение к конкретному случаю положений об органическом взаимодействии между производством, распределением, обменом и потреблением, развитых Марксом в его „Введении к критике [2]).

Итак, резюмируем.

Т. Мотылев не опроверг основной предпосылки, из которой мы исходили в своем анализе: разграничение Марксом категорий „общественная потребность" и „спрос" или, по другой терминологии, различение эффективного и неэффективного спроса.

Направив формально жало своей критики против т. Мендельсона, т. Мотылев на деле предпочел опровергнуть Шрамма аргументами...

[1]) Н Бухарин. Теория исторического материализма, гл. VI, § 41.

[2]) К. Маркс. Введение к критике политической экономии. (Сб. „Основные проблемы полит. экономии". Под ред. Ш. Дволайцкого и И. Рубина,—особенно стр. 23).

А. Богданова, руководствуясь, очевидно, несомненно правильным соображением педагогического порядка: повторение—мать учения.

Несмотря на то, что т. Мотылев „просмотрел внимательно в немецком тексте" указанные нами места и не нашел „ничего даже напоминающего взгляды т. Мендельсона", мы имели возможность, процитировав эти „места", убедиться, что т. Мендельсон просто пересказывает Маркса, правда, с указанием источника.

Т. Мендельсон находит, что „у Маркса имеется двоякая трактовка понятия „общественно-необходимый труд". Т. Мотылев находит, что у Маркса имеется... „второе понимание необходимого рабочего времени", при чем это второе понимание удивительным образом совпадает с одним из вариантов трактовки вопроса т. Мендельсоном.

В начале заметки мы отметили три течения в вопросе о понимании общественно-необходимого труда. К какому примыкает т. Мотылев после своего открытия „второго понимания", мы затрудняемся решить. Во всяком случае ясно, что сторонники технической версии вряд ли согласятся считать его „своим", сколько бы он ни твердил, что „необходимое рабочее время может и должно пониматься только как технически-необходимое". Ведь весь спор идет из-за того, вводить ли или нет в понятие технической необходимости корректив от общественной потребности, а т. Мотылев его фактически вводит: у него стоимость переходит в потенциальное состояние, из которого может выйти, но может и не выйти. С точки зрения сторонников технической версии при затрате общ.-необх. труда в техническом смысле стоимости всегда существует и речь может итти лишь о ее реализации; с точки зрения т. Мотылева даже при затрате общ.-необх. труда в техническом смысле: „нарушение соответствия между общей массой труда, затраченной на производство товаров данного рода, и массой труда, пропорционально необходимой для удовлетворения потребностей может лишить вовсе или на время часть товаров потребительной стоимости и стоимости".

Невольно напрашивается вопрос: стоило ли при такой „тонкой" ориентировке в сложнейшей и чрезвычайно важной проблеме марксовой методологии брать на себя роль супер-арбитра и в менторском тоне непререкаемого авторитета вскрывать „ошибочные воззрения... т. Мендельсона", которые „содействуют неправильному восприятию теории стоимости Маркса"? Не проще ли было бы продолжать дискуссию в тоне прошлогодних статей в „Под знаменем марксизма" и не „поучать", а исследовать?—Впрочем, это дело вкуса, а о вкусах, как известно, не спорят.

А. Мендельсон.

Формула схемы простого воспроизводства.

(Заметка).

Тому, кому приходилось иметь дело со схемами простого воспроизводства Маркса, а в особенности тому, кому по ходу работы приходилось прибегать к этим схемам и видоизменять исходные данные последних, наверное знает, с какими практическими затруднениями приходится встречаться. Между всеми количественными элементами схемы — между величинами c, v и m, в обоих подразделениях, существует определенная зависимость, и эта зависимость должна позволить составить схемы при каких-угодно наперед взятых исходных данных; теоретически это так, но практически иной раз чрезвычайно трудно вычислить эти элементы; но в то же время это бывает иной раз необходимо.

На самом деле, возьмем схему, данную Марксом:

$$\text{I. } 4000_c + 1000_v + 1000_m$$
$$\text{II. } 2000_c + 500_v + 500_m$$

Здесь, во-первых, предположена известная величина капитала; предположена определенная норма прибавочной ценности — 100%; предположен также определенный органический состав капитала — 4 : 1. Но представьте себе, что вам нужны другие исходные данные: такой же по величине капитал, но норму прибавочной ценности вам нужно взять не 100%, а 300, 375, 432 и т. д.; вам нужен другой органический состав капитала — 2 : 1, 3 : 1,40, 7 : $2^1/_3$ и т. д. Какой вид примут схемы в этих случаях, какие величины будут представлять из себя c, v и m в первом и во втором подразделениях, выраженные в условных, но прежних единицах. Безусловно, такие схемы составить возможно, но практически это очень трудно осуществить.

Здесь я хочу дать алгебраическую формулу, позволяющую весьма легко делать подобные вычисления. Что такая формула вообще возможна, это можно сказать a priori, ибо в схемах, как я сказал, отдельные элементы находятся друг от друга в определенной зависимости: определенное по величине C требует,—раз дан органический состав капитала,—такого же определенного v. А раз даны зависимости, то их можно выразить математически.

Исходные данные формулы будут таковы:

Пусть x будет весь совокупный общественный капитал в начале цикла: он будет равен сумме постоянных и переменных капиталов обоих подразделений (прибавочная ценность сюда не входит), т.-е. $x = c + v$. Норма прибавочной ценности пусть будет p, т.-е. $\frac{m}{v} = p$ (выраженное не в процентах, а в целых единицах или в виде дробного выражения). Органический состав капитала пусть будет q, т.-е. $\frac{c}{v} = q$.

Формула схемы простого воспроизводства будет иметь такой вид:

$$\text{I } \frac{q^2 x}{\omega}(c) + \frac{qx}{\omega}(v) + \frac{pqx}{\omega}(m)$$

$$\text{II } \frac{\alpha}{\omega} qx(c) + \frac{\alpha}{\omega} x(v) + \frac{\alpha}{\omega} px(m)$$

Где: $\omega = (1+q),\ (1+p+q),\ \alpha = 1+p$.

Эта формула позволяет быстро получать схемы простого воспроизводства при любых значениях x, p и q.

В. Поздняков.

СООБЩЕНИЯ и ЗАМЕТКИ.

Письмо в редакцию „Правды“ [1]).

Некоторое время тому назад в журнале „Под знаменем марксизма“ появилась исключительная по своему тону, так и по способу аргументации статья, написанная под псевдонимом и направленная против моей „Теории исторического материализма“. Не будучи в состоянии—в силу недостатка времени—сразу ответить на эту, к сожалению, довольно невежественную статью, я неоднократно интересовался, кто ее автор, полагая, что в нашей среде может и должна вестись открытая полемика, если только она, по замыслу авторов, служит делу выяснения истины. Тем не менее редакция журнала всегда скрывала имя автора, точно тайную болезнь. Теперь от одного из членов редакции я узнал, что гражданин, ее писавший, дважды исключен из коммунистической семьи: один раз—из нашей партии, другой—из Коммунистического Интернационала. В виду того, что я ни прямо, ни косвенно не желаю прикрывать знаменем марксизма измену нашей партии и ренегатство, прошу редакцию почтенного издания снять меня со списка сотрудников.

Н. Бухарин.

Кружок по изучению диалектического материализма при ячейке Физ.-Мат. Ф-та I Моск. Гос. Унив.

Студенты марксисты, естественники и математики более, чем кто-либо другой, чувствуют крайнюю нужду в обработке естественно-научных тем с точки зрения диалектического материализма. Из нужд естественника-марксиста возник наш кружок.

Осенью прошлого года под руководством тов. А. А. Максимова и при ближайшем участии тов. А. К. Тимирязева начал при ячейке Физмата I М.Г.У. работать кружок по изучению диалектического материализма. Начали мы свою работу с изучения „Анти-Дюринга“ и „Людвига Фейербаха“—Энгельса. Основные положения Энгельса и Дюринга критиковались нами не только на основе тех естественно-научных данных, которые приводятся в книжке. Имея перед собою аудиторию молодых естественников, руководитель кружка мог использовать, в качестве экспериментального материала, новейшие достижения науки. Пользуясь методом Энгельса, члены кружка на заданиях последнего не только проверяли на новейших открытиях науки всю правильность и глубину основ диалектического материализма, но также имели возможность серьезной научно-философской критики трудов тех современных ученых, которые под флагом чисто научного исследования занимаются проведением своих антиматериалистических реакционных взглядов. Имея в кружке специалистов-

[1]) № 85 от 19/IV 23 г.

естественников, мы оттачивали свои материалистические и диалектические зубы не только на позабытом Дюринге, но и на свеженьких модных профессорах, как Берг, Вернадский, Новиков, Эйнштейн и др.

Один из докладов, заслушанных на заседании кружка, о профессорах Берге, Вернадском и Новикове, отпечатан в сборничке „Материализм и естествознание“, изданном кассой взаимопомощи Физмата.

После детального изучения „Анти-Дюринга“ и „Людвига Фейербаха“ кружок приступил к изучению представляющей для естественников особый интерес школы Маха-Авенариуса-Богданова. На этом работа кружка в этом учебном году заканчивается.

В будущем году предполагается продолжать работу кружка, и в качестве основной его задачи поставить целый ряд докладов по истории развития отдельных дисциплин в марксистском освещении. Дело весьма трудное, если принять во внимание, что большинство профессоров, читающих курсы, и авторы даже фундаментальных трудов на историю своей дисциплины обращают минимальное внимание, а подчас и вовсе с ней не знакомы.

Кружок в этом году занимался почти исключительно марксистскою подготовкою своих членов. Правда, один доклад напечатан; было также устроено одно открытое заседание кружка, на котором присутствовало больше 600—700 беспартийных студентов. Но своей основной работой кружок все же считал не воспитание других, а в первую очередь марксистское воспитание своих членов.

Мы думаем, что в результате годичной работы наш кружок может дать партии нескольких марксистов-естественников, в которых так сильно нуждаются наши рабфаки, коммуниверситеты и совпартшколы. С сожалением приходится отметить, что наши партийные члены кружка, будучи заваленными текущей партийной работой в различных студенческих организациях, будучи абсолютно в большинстве своем материально необеспеченными, не могут отдаться работе по изучению диалектического материализма и своих специальных наук так, как это бы нужно было. А ведь для партии весьма важно получить в ближайшее время опытных естественников-марксистов, а не недоученных полуестественников и, может быть, полумарксистов.

В заключение следует отметить, что наш кружок завязал связь с ячейками Физмата Петроградского Ун-та, с Екатеринбургской совпартшколой и с товарищами из Харьковского Ун-та. Тесную связь наш кружок поддерживает с редакцией „Под знаменем марксизма“, агитотделами М.К.Р.К.П. и Хамовнического райкома. Члены кружка приглашались на дискуссии в дискуссионном клубе М.К.Р.К.П. и в редакцию упомянутого журнала.

Е. Гольдштейн.

ТРИБУНА.

В защиту ленинизма.

„Теоретическая разработка вопросов революции—сейчас для нас настоятельнее и обязательнее, чем когда бы то ни было".

Л. Троцкий.

Наша статья в „Правде" на тему о „Марксизме и Ленинизме", как и следовало ожидать, вызвала в партийных кругах довольно серьезную полемику. Попытка теоретического оформления основ и исторической закономерности учения ленинизма, являясь сама продуктом партийной мысли—естественно — рассчитывала на движение партийной мысли; и поскольку это движение из частных запросов, споров и разговоров вылилось в более широкую и организованную форму печатного обсуждения и полемики—основная цель нашего выступления достигнута.

Но к столь серьезному вопросу, казалось бы, и подходить надо по серьезному, не говоря уж о подходе по коммунистическому, по партийному. Однако в заметке [1]), посвященной полемике со мною, имеются передержки, и полное непонимание, и ни одного довода по существу. В чем действительно убедила нас заметка—это наличие у автора бессомненного уклона к меньшевизму. Это сквозит через каждую строку; презрительное высмеивание ленинистов и ленинизма и на-ряду с этим восторженная похвала Плеханову „вообще", т.-е. также и Плеханову, оказавшемуся в том лагере, о котором мы в своей статье говорили, как о силе „консервативной, а временами и активно-реакционной"; все это весьма симптоматично и характерно.

Всякая теория есть продукт и отражение практики—это ясно; но всякая практика имеет свою теорию, которая является стержнем и факелом, освещающим путь текущей практике [2]). Теория, как обобщенная и синтезированная практика и практика—как база для теории. Если мы проследим историю социализма, то мы можем отметить целый длительный период—когда социализм развивался помимо и вне зависимости от движения рабочего класса. Лишь на известной ступени развития того и другого они соединились; получилось сра-

[1]) „Под знаменем марксизма" № 2—3, 1923 г.

[2]) Вспомним хотя бы 2 и 3 пункты знаменитых тезисов Маркса о Фейербахе.

щение теории и практики. Когда мы писали о подлинной революционной или пролетарской практике—то мы имели в виду—как это видно из всего контекста—в данном случае практику „пролетариата, организовавшегося как государственная власть", т.-е. практику господства пролетариата, в отличие от практики борьбы пролетариата в эпоху „практики" господства буржуазии. И когда совершенно не критически все это смешивается в одну кучу, то приходится лишь руками разводить. „Марксизм—это самое практическое учение из всех существовавших до него учений",—заявляет автор заметки. С таким же правом и столь же бесплодно можно заявить, что—скажем—„Бем-Баверкиада (это архи-буржуазное учение в теоретической экономике) или философия прагматизма (философия практических янки по преимуществу) и т. д. самое практическое учение из всех существовавших до него учений".

Это будет одинаково и верно, и бесплодно. Когда говорят о практике—надо понять, о какой практике идет речь; практика—практике рознь, а в этом вся суть.

Теперь перейдем к Плеханову.

В самом деле, что ж такое в конце концов Плеханов? Плеханов—это корень ущемленного нами больного нерва тех, о которых мы в статье деликатно отметили, как о поклонниках Плеханова „вообще". Это замечание не в бровь, а прямо в глаз автору заметки; это специально для него и сказано, ибо среди обиженных за Плеханова „вообще" самое почетное место избрал себе автор заметки,—впрочем—предусмотрительно укрывшись под псевдонимом „Материалист".

На общий вопрос о том, марксист ли Плеханов или нет, ответа давать нельзя; это зависит, во-первых, от того, о каком Плеханове идет речь, ибо мы не имеем одного, цельного до конца Плеханова, скажем—такого цельного и до конца ортодоксального, как т. Ленин; во-вторых, необходимо указать, о какой эпохе идет речь. Если речь идет об эпохе 80—90-х годов—это одно; если речь идет об эпохе империалистической войны или—еще четче—эпохе выхода из капитализма и перехода к диктатуре пролетариата—это совершенно другое. Марксизм—не застывшая догма, и мы не догматики.

Не понять такой постановки вопроса—значит не понимать того, что марксизм есть метод, а основой этого метода является так называемый историзм. Но постановка вопроса у автора нас не только не убеждает в том, что автор усвоил эту азбуку марксизма (мы уже не говорим о ленинизме, т. к. автор объявляет себя заклятым врагом всех ленинистов и ленинизма), но, наоборот, вся заметка убеждает нас в обратном, а именно, что он не понял самого духа марксова учения, его основ.

Историзм марксова учения требует, чтобы все явления исторической действительности оценивать сквозь призму исторической перспективы; об этом учили нас и Маркс, и Плеханов, и Ленин. Это элементарное требование для правильной оценки и событий, и людей; эту

элементарную азбуку приходится, к сожалению, внедрять в мозги „многоумных плехановцев", считающих себя чуть ли не „хранителями" марксовой ортодоксии. Вот уж поистине сказано: избави нас от друзей, а от врагов сами избавимся.

Но „друзья" становятся в сто крат вреднее, когда усваивают кой-какие фразы Маркса, Плеханова и др., совершенно не поняв и не усвоив истинного и глубоко революционного смысла всего учения, всей динамичности системы, всей „алгебры и высшей математики" тактики, теории и стратегии революционного пролетариата.

Но вернемся к Плеханову.

Если мы возьмем старого Плеханова, первого русского марксиста, вышедшего из рядов мелко-буржуазной революционной организации народников, того, который организовал „группу Освобождение Труда", который работал в старой „Искре" и „Заре", Плеханова—автора „К развитию монистического взгляда на историю", „Основных вопросов марксизма", „Vademecum" и ряда блестящих исторических монографий по теории и истории диалектического и исторического материализма,—в общем—того Плеханова, который владел умами, был признанным теоретическим вождем, того, учеником которого мы все себя считаем, и неудачным учеником (ученики всякие бывают!) которого является „Материалист"—то мы должны определенно заявить, что этот Плеханов наш, марксист, на нем мы учились и еще долго будем учиться и заострять свое теоретическое оружие. Но есть и другой Плеханов, Плеханов—обыватель, умерший для нас; тот который поддерживал своим пером „справедливую" империалистическую войну в 1914 г., тот, который издавал в Петербурге в 1917 г. газету „Единство" и работал в органах труда правительства Львова-Керенского (вспомним знаменитую „плехановскую" прибавку к грошевому содержанию железнодорожников лета 1917 г.).

Этого последнего Плеханова—Петербургский пролетариат отказался провожать в могилу, а Плеханову—марксисту, Плеханову до войны до пролетарской диктатуры, старому Плеханову—в тот же день было посвящено торжественное заседание Петербургского Совета с многочисленными представителями фабрик и заводов.

И, поистине, надо проявить необычайное невежество (где только эти люди учились марксизму?) и полное отсутствие марксистского, исторического подхода к оценке людей и событий, чтобы, не поняв такой труизм, с высокомерным тупоумием спрашивать: можно ли говорить о том, что Плеханов боялся подлинной революционной практики?

Если бы не было столь безнадежно, быть может, мы посоветовали бы автору, прежде чем браться за перо, взяться за книгу, за учебу, ибо учиться „никогда не поздно", если не хотят на всю жизнь остаться недоучками, но кажется, что единственный раз эта правдивая народная поговорка может дать „осечку".

В сущности Плеханов был вполне выдержанным марксистом-ортодоксом, главным образом, в вопросах по преимуществу теоретических; теория познания диалектического материализма, исторический материализм и философия вообще—в этих вопросах Плеханов проявил больше всего таланта и твердости. Но мы можем отметить, что чем дальше отходил Плеханов от теории и ближе становился к жизни, тем он становился бледней, а в отдельных случаях проявлял путаницу и оппортунизм (яркий пример тому отношение к войне 1914—1918 г.г.).

Начиная с 1903 года меньшевик, в революции 1905 г. недооценка и шатания (вспомним отрицательное отношение к Петербургскому Совету и его знаменитую глубоко-мещанскую фразу—„Не следовало браться за оружие"—о декабрьском восстании в Москве); в период ликвидаторства „партиец", т.-е. фактически поддерживал большевиков; затем опять отход и шатание... под конец темная полоса в жизни и деятельности Плеханова...

Теперь посмотрим, как оценивают Плеханова не „плехановцы" вообще, а коммунисты, марксисты, ленинисты.

Наиболее четко и наиболее правильно роль и место Г. В. Плеханова определяет т. Троцкий.

„Выше всего,—пишет т. Троцкий,—он (т.-е. Плеханов. *Н. Б.*) был на теоретических диспутах... слабее всего он бывал в речах чисто-политического характера. Вся его судьба отказала ему в возможности обращаться непосредственно к массе, звать ее на действие, вести ее" („Под знаменем марксизма", № 5—6 за 1922 г., статья „Беглые мысли о Плеханове", стр. 8).

Короче—Плеханов—по справедливому мнению т. Троцкого—„не был вождем действующего пролетариата (практика! Н. Б.), а только его теоретическим предвестником (курсив наш. *Н. Б.*). Он полемически отстаивал методы марксизма, но не имел возможности применять их в действии" (ibid).

Этого ясного и необходимого разграничения не хотят и не могут делать все „сторонники и почитатели, Плеханова, о которых тот же т. Троцкий остро подмечает, что они все „нередко неожиданные, и без исключения малоценные" (ibidem).

А вот, что пишет т. Зиновьев о нем же: „Плеханов был теоретиком. Политическая сторона никогда не была особенно сильной у Плеханова". И еще: „Сильной стороной Плеханова была теоретическая сторона". Тут же о т. Ленине говорится следующее: „молодой же Ленин с первых своих произведений сосредоточил свое внимание на социально-политических вопросах, на организации партии и рабочего класса" (Зиновьев—„История РКП (б)", Госиздат, стр. 43).

Это сопоставление двух фигур российского рабочего движения ярче всего оттеняет роль и место того и другого. Плеханов—теоретик пролетариата по преимуществу; Ленин, сочетавший и теорию и практику, фактический вожак пролетариата в его штурме против капитализма.

Плеханов—это отражение целой эпохи в рабочем движении. Ленин также продукт и отражение, но другой более поздней эпохи рабочего движения, эпохи наступающих классовых битв не за частичное улучшение в рамках капитализма, а за ликвидацию всей системы в целом.

Но каждая эпоха в истории и человечества и класса имеет свои понятия, свою идеологию, свою терминологию, свой „стиль". Понятия данной эпохи—в следующую модифицируются, они „лимитируются" и иначе быть не может. Иной подход, иное толкование—есть антидиалектичность, неисторичность, поповство, застой.

Это—азбука и эту азбуку приходится вколачивать нашим доморощенным „защитникам" Маркса (бедный Маркс!).

„Можно ли утверждать, будучи знающим (курсив автора заметки, Н. Б.) человеком, будто Плеханов боялся „подлинной революционной практики"? вопрошает нас грозно „Материалист". О каком Плеханове и о какой практике речь идет? Если мы вспомним, что подлинная революционная практика и есть практика пролетарской революции, то мы можем в свою очередь поставить вопрос: можно ли утверждать, будучи не только знающим, но и добросовестным марксистом, что Плеханов был сторонником „подлинной революционной практики" пролетарской революции.

Мы утверждаем, что в эпоху пролетарской революции—Плеханов не только боялся этой „подлинной революционной практики", но и был активным борцом против этой практики, против пролетарской революции, против диктатуры. Кто не с нами, тот против нас.

Или, б. м., по мнению „Материалиста"—„подлинная революционная практика" заключалась только в идеологической борьбе против народничества, за формирование марксистской идеологии на основах философского материализма—как он, повидимому, и склонен толковать „подлинную революционную практику"!?

Ясно, что Плеханов—основатель „группы Освобождение Труда", Плеханов—автор многочисленных и талантливых, строго выдержанных в марксистском духе теоретических работ по материализму и т. д. Этот Плеханов марксист, но он достояние минувшего этапа в развитии рабочего класса.

Теперь, для нашей эпохи тот Плеханов недостаточен; нам нужно теорию Плеханова обогатить и дополнить практикой, эмпирическим материалом новой эпохи. Короче, нам нужен Ленин и вся „теория" переходного периода. Тот марксизм, поскольку он остался только Плехановским и не обогатился Лениным, превращается для нас в марксизм в ковычках. Этот марксизм в ковычках, как мы и писали в статье, превращается в силу консервативную, а временами и активно-реакционную, контр-революционную. Теперь, в нашу эпоху нужно Маркса и марксизм воспринимать сквозь призму понимания Ленина и только Ленина. Теперь одним Плехановым—к великому огорчению нашего „плехановца вообще"—революционером быть

нельзя. Нужен Маркс плюс Ленин; иная формула, иная трактовка для нас неприемлема.

И тут мы вплотную подходим к вопросу, непонимание которого и сбило с толку нашего „плехановца". Мы уже не говорим о прямом искажении смысла писанного нами вроде того, что взамен фразы „продукт господства теории без революционной практики" напечатано: „продукт производства теории без революционной практики". Думаем—это простой недосмотр редакции, не более!

Но вся трактовка и подход к вопросу нас убеждает, что тут нет революционного, ортодоксального марксизма. На-лицо закостенелость мысли или запоздалый и, быть может, еще неосознанный, а следовательно, неоформившейся меньшевизм, но все же меньшевизм; следует только автору, не страшась выводов, довести свою собственную мысль до ее логического конца, и перед нами очутится вместо ортодокса, „спорящего с самим собою",—обыкновенный, неприкрытый „плехановец-меньшевик".

Итог. Примитивность и вульгаризация в понимании марксизма, соединенная с невежеством и заскорузлостью, застойностью мышления, чуть-чуть прикрытая дымком „ортодоксальной" фразеологии,—вот весь автор заметки.

Теперь перейдем к основному вопросу нашей дискуссии, а именно к вопросу о ленинизме [1]).

Основы марксизма—философского, экономического и историко-социологического—в общем и целом мы имеем в трудах как основоположников научного коммунизма, так и в сочинениях всей плеяды их учеников: Плеханова („в теории, до отхода от марксизма), Каутского (до „каутскианства"), Ленина и др.

Но не то мы имеем в учении ленинизма.

Это учение, которое только сейчас на наших глазах, в разгар революционных битв на гражданском и хозяйственном фронтах начинает оформливаться. Оно сейчас только накопило все те элементы, которые позволяют нам попытаться дать „диалектическое обобщение", подвести кое-какие далеко не полные итоги.

Но до этих попыток необходимо поставить и разрешить предварительно одну проблему, ибо без четкого и ясного представления о ней, анализ самого понятия и принципов ленинизма может оказаться построенным на песке и страдать однобокостью и неполнотой.

Мы говорим о взаимоотношении марксизма и ленинизма.

Проблема более точной формулировки и конкретизации всех черт ленинизма—все более и более становится актуальной.

В прошлый раз (см. „Правда" от 6/IV с. г.) мы попытались в самых общих чертах эту проблему поставить. Считаем нелишним дополнить

[1]) К вопросу о конкретизации всех черт и особенностей ленинизма мы еще надеемся вернуться, и тогда попытаемся дать полную характеристику, историческую роль и место этого величайшего завоевания пролетариата XX века. Пока же ограничимся лишь несколькими беглыми штрихами.

уже сказанное некоторыми мыслями, поясняющими эту столь важную и столь текуще-принципиальную проблему.

Ленинизм—есть теория „подхода и перехода" к пролетарской революции; марксизм—учение, которое исходит из эмпирической действительности капитализма, т. е. капиталистического процесса производства, воспроизводства и всей капиталистической системы в целом; марксизм, следовательно, есть пролетарская „теория" капитализма, теория, устанавливающая общие законы равновесия, нарушения этого равновесия, „кризисы" и движения всей капиталистической производственной и общественной системы. Одновременно он указывает и на те общие тенденции, которые с железной необходимостью ведут к выходу из этой системы.

Ленинизм же, опираясь на это „теоретическое" завоевание, исходит из другой, более поздней практики, практики конкретных условий выхода из капиталистической системы, практики экономики переходного периода, партийной диктатуры пролетариата и т. д.

Совершенно естественно поэтому—три четверти всех проблем марксизма, всего внимания, энергии, исследования и т. д. посвящены выяснению истории зарождения капитала, ее накопления, способов и средств выжимания прибавочной стоимости, проблемы общественного распределения, финансы, биржа и т. д. С другой стороны, Маркс и марксисты до диктатуры пролетариата были заняты, главным образом, выяснением корней и роли философских систем, научных школ и завоевания, формы государственного бытия, литературы, искусства и т. д. всего этого в рамках капитализма и как продукт капиталистического развития.

Ленинизм же ставит себе задачей не столько изучение капитализма и надстроек в эпоху капитализма (правильнее будет сказать—изучение всего этого постольку, поскольку это необходимо для борьбы и преодоления), а главным образом проблемы практического преодоления и уничтожения всего того, что служило объектом скрупулезного и долголетнего изучения как Марксом-Энгельсом, так и „марксистами" минувшего теоретического этапа развития пролетариата.

Но это, конечно, не значит, что мы отказываемся от наследства Маркса, как это способны толковать и „левые", и „оппортунисты",—ничего подобного: мы определенно и твердо заявляем, что только мы и являемся не только единственными достойными наследниками Маркса, но и единственными применяющими его учение в практическую жизнь. Это ясно!

Насколько нам известно, впервые вопрос о серьезном изучении ленинизма был поставлен тов. В. Сориным („Правда" № 1 от 3/I—1923 г.). Указывая на „всемирно-историческое значение" ленинизма, которое нами еще далеко не оценено, т. Сорин продолжает: „марксизм, подлинный марксизм во всей его революционной сущности мы

поняли благодаря Ленину, который заново воссоздал учение Маркса", так как „все то, что называлось (до Ленина) марксизмом, было в главном и основном—лишь марксизмом в ковычках; это то, что мы в своей статье называли чистым „марксизмом". Маркс-Энгельс плюс Ленин—только эта формула исчерпывающе охватывает содержание всего того, что мы называем коммунизмом или марксизмом" (там же).

Следовательно, без Ленина теперь нет и не может быть революционного марксизма; кто в эпоху выхода из капиталистического общества не стоит на точке зрения Ленина, ленинизма, т. е. за диктатуру пролетариата и гражданскую войну, тот не может быть назван марксистом. О „марксистах", не принявших Ленина, мы в статье совершенно отчетливо писали: „Это „чистые" марксисты, сторонники догмы, противники диалектики и высохшие мумии теории, это все те, которые не приняли пролетарской диктатуры"; более конкретно: „это все реформисты, ревизионисты, социал-демократы" (там же). Думаем, что к этому списку непринявших пролетарскую диктатуру мы пропустили еще одну разновидность врагов ленинизма, а именно всех нынешних поклонников Плеханова вообще". Список антиленинистов был бы тогда полнее. Но то, что мы пропустили в первой статье, охотно заполняем здесь.

Теперь мы спрашиваем „Материалиста", можно ли, „будучи знающим человеком", назвать Плеханова ленинистом или нет? Если нет, то как же можно утверждать, что Плеханов „революционный марксист" наших дней, и ставить его рядом с Лениным и Люксембург, как это делает автор заметки!

Если это не так, то почему, говоря о Каутском, автор находит необходимым оговорить—Каутский „до его отхода от марксизма", а о Плеханове пишется без всяких оговорок, вообще (стр. 220).

Разве Плеханов из „Единства" был ленинистом, а Каутский из независимой партии, объединившейся с Шейдеманом, был бо́льшим врагом Ленина, чем Плеханов? Мы утверждаем, что для нашего времени все они—одного типа „марксисты". Ясно, что автор заметки приемлет „плехановство" без всяких оговорок и отвергает „ленинизм"—также без всяких оговорок, в этом весь смысл его заметки. Это тот раздражающий нерв, который не дает покоя нашему „плехановцу". Он обижен за Плеханова вообще.

Тов. Троцкий в предисловии к своей книге („Правда" от 6/V—№ 99 за 1923 г.),—анализируя возможные опасности для партии, подчеркивает необходимость для „теоретической мысли партии... с боя брать все новые и новые позиции, оплодотворяя всю нашу работу правильной мировой и внутренней ориентировкой". Далее он пишет: „Близорукий практицизм на одном полюсе, скользящее по поверхности всех вопросов агитаторство (это не в бровь, а в глаз нашему „плехановцу" *Н. Б.*) на другом,—таковы две несомненные опасности,—или

два полярных выражения одной и той же опасности, подстерегающей нас на нашей нелегкой дороге". Каковы же пути преодоления этих опасностей и где те опорные пункты, держась за которые, мы сможем обойти подводные камни возможного перерождения в ту или иную „полярную" противоположность?

Т. Троцкий на это отвечает: „Линию нашего дальнейшего теоретического развития достаточно определяют две точки в царстве мысли: одна из них—Маркс, другая—Ленин. Синтетический охват обстановки на основе материалистического, глубоко сверлящего анализа основных ее элементов представляет сущность марксизма (с перевесом в сторону исторического предвидения) и ленинизма (с перевесом в сторону действенных выводов)" (ibid.)

Тут совершенно ясно, со всей четкостью, присущей перу т. Троцкого, подчеркнута сущность и марксизма и ленинизма; с другой стороны, тут же намечены и теоретические горизонты и пути развития для ближайшего периода революции. Мы в своей статье писали: „Учение ленинизма насквозь пропитано марксизмом; марксизм есть база для ленинизма, ленинизм без марксизма немыслим". Эти совершенно ясные положения были искажены с одной стороны массой нагроможденных трюизмов, с другой—прочтением между строк, что кто-то собирается добровольно уступить марксизм „первым встречным прохвостам", очевидно, подразумевая под этим всех тех, кого я назвал в статье не без иронии чистыми „марксистами", т.-е. марксистами без Ленина, скажем к примеру, того же Плеханова, Каутского и др.

Чем же обуславливаются различные черты и особенности того и другого учения? „Особенности того и другого вытекают не из разницы методов, а из различия эпох",—отвечает т. Троцкий и далее разъясняет, о какой эпохе идет речь: он пишет: „ленинизм можно определить как марксизм, переведенный на язык империалистической агонией буржуазии" (там же). Это тот период времени, который сам т. Ленин характеризует как эпоху „подхода и перехода к пролетарской революции" („Детская болезнь „левизны" в коммунизме"), а мы писали как об эпохе „выхода из капиталистического общества".

Идентичность и адекватность мысли тут настолько ясна и полна, что мы очень опасаемся, что в один прекрасный день наш „плехановец" причислит и т. Троцкого к „оппортунистам эпигонов". Тогда все ленинисты окажутся вне рядов плехановского „марксизма" в истолковании весьма неудачного ученика великого Плеханова. Но зато и все плехановцы антиленинистского толка окажутся вне рядов ленинизма, как единственного ныне подлинного пролетарского революционного марксизма.

Дифференциация весьма возможная и—чем скорее, тем лучше!

Мы будем продолжать носить имя марксистов-ленинистов и предоставим всем сторонникам и поклонникам Плеханова „вообще"—носить имя „плехановцев"; у нас таких „сторонников" Маркса через

Плеханова-оппортуниста, Плеханова—борца против диктатуры пролетариата, Плеханова—редактора издания „Единства" как в России, так и за ее рубежами—достаточно.

Если еще эта имманентная, трусливо прикрывающаяся в тогу „ортодоксальной" фразеологии сущность не выявилась сейчас, то все данные за то, что это рано или поздно выявится.

Мы будем ждать!

Н. Бабахан.

Ответ Н. Бабахану.

Из каждого сосуда протекает то,
Что в нем налито.
Шейх Муслих-Эд-Дин
Саади-Ширазский („Гюлистан", стр. 111).

Тот несравненный документ, который мы сейчас думаем разобрать, принадлежит к числу чрезвычайно примечательных.

Он примечателен в двух отношениях: во-первых, как человеческий документ, а во-вторых, как разительный образец того, сколь много из старого наследия растерялось за эти бурные дни революции.

Я из уважения к читателю и самому себе не хочу ни словом ответить на такие его „аргументы", которые выдают в авторе плохой литературный вкус и изрядную долю „проницательности"—как сказал бы Н. Г. Чернышевский.

На самом деле, попробуйте ответить на тираду, вроде: „В чем действительно убедила нас заметка—это наличие у автора бессомненного уклона к меньшевизму. Это сквозит через каждую строку; презрительное высмеивание ленинистов и ленинизма и на-ряду с этим восторженная похвала Плеханову „вообще", т.-е. также и Плеханову, оказавшемуся в том лагере, о котором мы в своей статье говорили, как о силе „консервативной, а временами и активно-реакционной"; все это весьма симптоматично и характерно".

О, несравненный грядущий профессор! Он подает большие надежды, он пойдет очень далеко! Ранее чем получить звание профессора, он перенял у старых коллег своих их нравы, обычаи, их пороки.

Все обвинения против автора предыдущей заметки, т.-е. против меня, построены на одном чрезвычайно распространенном методе—„чтении в сердцах". Это занятие, которым в былые времена занимались весьма усердно люди, одно уподобление коим считалось среди передовых литераторов оскорблением; однако наша современная молодежь с этим считаться не хочет,—у нее иные представления о дозволенном, у ней свои нравы.

Мы по этому поводу спорить не станем. Мы даже не виним Бабахана в том, что он сделал это, ибо чем отличается он от многих иных ему подобных развязных молодых писателей наших дней? Ничем.

И не преподавать законы приличия, не препираться с Н. Бабаханом мы собираемся—внимательный читатель, прочтя его ответ, надеюсь, согласится со мной, что это безнадежное и бесполезное занятие,—а выяснить самый вопрос, ибо уже теперь совершенно несомненно, что завтра оппортунизм воскреснет у нас в России, на этот раз по двум линиям: под лозунгом „нужно развивать марксизм дальше, нельзя топтаться на одном месте“ и на основе противопоставления Ленина—Марксу.

Оба лозунга чрезвычайно почтенные, при чем из них один нам очень знаком—им уже один раз прикрывался оппортунизм (эмпириофилософы разных толков, ведь, с того и начали, что взялись „развивать марксизм дальше“), другой имеет аромат острой современности и тем самым видимую новизну.

Первым видом оппортунизма мы не занимаемся, ибо твердить зады—занятие нудное, но вторым мы займемся и попытаемся доказать, что его провозгласители, под новым флагом, контрабандно, воровским путем, проводят старый залежалый товар девяностых и девятисотых годов.

„Подлинная революционная практика—утверждает Бабахан—есть практика пролетарской революции“, и, возражая против моего утверждения, что „марксизм самое практическое учение из всех существовавших до него учений“, он пишет, как бы в дополнение к своей вышеприведенной „мысли“: „С таким же правом и столь же бесплодно можно заявлять, что скажем „Бем-Баверкиада (это архибуржуазное учение в теоретической экономике) или философия прагматизма (философия практических янки по преимуществу) и т. д. самое практическое учение из всех существовавших до него учений“. Это будет одинаково и верно, и бесплодно. Когда говорят о практике—надо понять, о какой практике идет речь; практика—практике, рознь а в этом вся суть“.

Как бы мы ни были поражены этой галиматьей, а разобраться в ней нужно, ибо из этого и исходит он при постройке своей „теории“.

Что такое революционная практика? Это такая практика, которая сознательно направлена на ускорение бессознательного общественного развития. С этой точки зрения деятельность „Искры“ была самой что ни на есть подлинной революционной практикой.

Почему?

Потому, что она сознательно направляла свою деятельность на ускорение хода общественного развития.

Откуда взялось сознание законов развития, которым „Искра“ направляла свою деятельность?

Оно являлось как результат обобщения опыта и практики рабочего класса капиталистического мира в виде марксова учения.

Революционная деятельность „Искры“ чрезвычайно облегчалась существованием этого учения, знанием законов развития общества и общего направления этого развития.

Бабахан полагает, что марксизм ограничивается учением о стоимости и материализмом. Если бы это было так, то, конечно, аналогия его с Бем-Баверкиадой и прагматизмом имела бы некоторый смысл.

Но в том-то и все невежество и ограниченность голов всяких оппортунистов (и малого из сих Бабахана), что они охотно марксизм ограничивают, чтобы потом осталось место для пошлой отсебятины оппортунистических сорок.

О том, что я не ошибаюсь, что Бабахан именно так поступает с марксизмом, свидетельствует он сам: „Совершенно естественно поэтому—три четверти всех проблем марксизма, всего внимания, энергии, исследования и т. д. посвящены выяснению истории зарождения капитала, его накопления, способов и средств выжимания прибавочной стоимости, проблема общественного распределения, финансы, биржа и т. д. С другой стороны, Маркс и марксисты до диктатуры пролетариата были заняты, главным образом, выяснением корней и роли философских систем, научных школ и завоевания, формы государственного бытия, литературы, искусства и т. д., все это в рамках капитализма и как продукт капиталистического развития“. Это и есть тот взгляд на марксизм, который Ленин охарактеризовал, как „пошлый“, „оппортунистический“, фальсифицирующий Маркса и марксизм.

На самом деле марксизму все эти работы надлежало проделать для того, чтобы найти, обосновать и оформить, сделав его общеупотребительным, то основное учение о пролетарской революции и ее законах, которое приобрело особую силу только в нашу эпоху, при ярком свете нашей революции.

Была ли эта работа плодотворной? Несомненно. Разве „Государство и революция“ Ленина не гениальное подтверждение того, что Марксу и Энгельсу эту работу удалось проделать с исчерпывающей полнотой? Разве наша революция внесла что-нибудь, что бы заставило нас принципиально менять хотя бы какую-либо часть этого величайшего и стройнейшего здания, называемого марксизмом? Ничего. Наоборот, она лишь баснословно ярко осветила все стороны марксизма и на практике один за другим подвергла суровому испытанию каждый принцип этого учения, чтобы в непрерывной последовательности подтвердить их.

Посмотрите „Наши задачи“ Ленина, внимательно проштудируйте брошюру его о продналоге—эти решительные поворотные произведения В. И. Ленина—подлинное торжество марксизма, эти крутые повороты могла сделать наша партия, лишь охваченная таким практическим учением, как марксизм.

Пусть теперь Бабахан докажет, что и прагматизм помог практически буржуазии в борьбе с пролетариатом. Пусть он найдет вообще другую аналогию по практичности марксизму, ибо то, что он привел, лишь осрамило его, обнаружив в нем бездонную

ограниченность. Не в том практицизм марксизма, что он—результат практики, а в том, что он решающий фактор в практике! Этого оппортунистам понять не дано.

Бесплодно ли то, что марксизм практическое учение? Само собою разумеется, оппортунисту, особенно эпигонам от оппортунизма, даже задуматься над этим вопросом грех: какое может быть сомнение? Ан, дело не так просто. Когда мы говорим о практике, мы имеем в виду революционную практику, ту борьбу, которую сознательный авангард рабочего класса вел до сих пор и теперь ведет и будет вести до уничтожения эксплоатации человека человеком, в этой борьбе самое непосредственное практическое значение марксизма неоценимо великое.

Боюсь, что со свойственной всем оппортунистам развязностью Бабахан в лицемерном негодовании будет вопить о моем якобы идеализме,—чрезмерное, мол, значение он придает идее,—но полагаю, что мне здесь нечего доказывать вздорность подобного обвинения.

Если практическая роль марксизма исключительно велика, то есть значение марксовой теории в борьбе пролетариата за свое освобождение и вплоть до его освобождения, чрезвычайное, то спрашивается, какова роль практики для этой теории, какое влияние оказывает эта борьба на свою собственную теорию?

Это вопрос тем более интересен, что Бабахан как раз в решении его высказывает себя подлинным бернштенианцем.

„Всякая теория—есть продукт и отражение практики—это ясно; но всякая практика имеет свою теорию, которая является стержнем и факелом, освещающим путь текущей политике“,—говорит он; если перефразировать эту цитату, то она превратится в знаменитую формулу всех оппортунистов всех толков „каждая новая практика требует своей особой теории“, что марксова теория соответствовала определенной практике, а так как эта практика пережита, то пережита и вызванная ею теория.

Это, повторяю, ярко оппортунистическая по самой постановке мысль.

Роза Люксембург в одной из своих блестящих статей развивает ту совершенно правильную мысль, что богатство марксовых идей не вмещалось в ограниченных потребностях до-военной практики классовой борьбы рабочего класса и что „только тогда, когда рабочий класс покончит с теперешними условиями своего существования, вместе с другими средствами производства будет обобщен и марксов метод исследования, развернувшись во всю свою ширь и мощь для блага всего человечества“. Слышите, слышите, молодые оппортунисты? Так говорят старые испытанные революционеры. Мы еще не дошли до того состояния, когда марксизм сумеет развернуться во всю ширь, но мы идем к тому, руководимые исключительно проникновенным марксистом Лениным.

Начиная с самого Маркса и до наших дней практика классовой борьбы пролетариата (а известно, вероятно, и Бабахану, что и революция есть классовая борьба крайней остроты и напряжения, превращающаяся в гражданскую войну), каждой своей победой, каждым своим достижением лишь вовлекая в обиход своей борьбы все новые и новые части учения Маркса, освещая все новые и новые стороны этого исключительно богатого учения, и этот процесс будет еще длительным процессом, как длителен самый процесс экспроприации экспроприаторов.

Таким образом, оказывается, что не всякая новая практика вызывает новую теорию. Только тогда новая практика вызывает на свет божий соответствующую себе теорию, когда она принципиально отлична от старой практики, от той практики, которая вызвала старую теорию. Тогда же, когда новая практика каждым своим фактом лишь подтверждает старую теорию, тогда тот, кто не хочет быть смятым практикой ежечасной, должен овладеть этой теорией, тогда всякий, кто хочет или борется с этой теорией, тот явный оппортунист или классовый враг пролетариата.

Но вернемся к исходному вопросу о подлинной революционной практике. Если верно, что подлинной революционной практикой является всякая деятельность, ставящая себе целью сознательное и действительное ускорение процесса общественного развития—а это несомненно верно, если верно и то, что такую деятельность освободительная борьба пролетариата знает вот уже свыше полустолетия в лице политической классовой партии пролетариата, борющаяся под знаменем марксизма, то станет совершенно очевидно, что выражение вроде того, что „Плеханов боялся подлинной революционной практики“—по меньшей мере легкомысленно и обнаруживает в его авторе в лучшем случае очень небрежно-мыслящего человека.

„Или б. м. по мнению „материалиста“—„подлинная революционная практика“ заключалась только в идеологической борьбе против народничества, за формирование марксистской идеологии на основах философского материализма—как он, повидимому, и склонен толковать „подлинную революционную практику“?— говорит Бабахан. Вы чувствуете в каждой строчке дыхание, специфический запах профессорской полемики, но я „ароматной“ стороны не буду касаться, я желаю только выставить на суд читателя всю бездонную ограниченность моего оппонента.

Что такое подлинная революционная практика? Борьба с народничеством, скажем, „подлинная революционная практика“ или господство теории? Н. Бабахан думает очевидно последнее, однако Ленин (как мы сказали выше, очень слабый ленинист и гениальный марксист) думает иначе: он думает, что самое формирование (практика! дело!) русского марксизма было невозможно „без выяснения Бельтовым основ философского материализма“.—Вот что я говорил в предыдущей заметке моей. Прав ли я был в ссылке своей

на Ленина? Разумеется, прав. Да не только идеологическая борьба против народничества—подлинных революционных дел за российским марксизмом не станет, не станет и за Плехановым; я приведу несколько подобных дел только для того, чтобы спасти Бабахана от позорного состояния „Ивана, не помнящего родства", состояние, которое особенно позорно в области умственной, ибо обнаруживает в человеке в лучшем случае умственную обломовщину.

Мы гордимся нашей строго централизованной партией, мы убедились в особенности в силу централизма и строжайшей дисциплины в дни нашей великой революции, а знает Бабахан, кто впервые провозгласил эту идею строжейшего централизма? Г. В. Плеханов: „В России вообще, а не только между социал-демократами, пока еще нет сильной революционной организации. Остается говорить лишь о наших пожеланиях на этот счет. А пожелания наши сводятся к созданию подвижной боевой организации, вроде общества „Земля и Воля" или „Партии Народной Воли", организации, являющейся всюду, где можно нанести удар правительству, поддерживающей всякое революционное движение против существующего порядка вещей и в то же время ни на минуту не упускающей из виду будущность нашего движения". Это тот самый принцип, который большевики с такой последовательностью осуществили, та самая идея, которую несколько раз подчеркивает В. И. Ленин в своей знаменитой брошюре „Что делать?"—Она была провозглашена еще в 1893 году.

Найдет ли Бабахан это за подлинное революционное дело—не знаю, но наша партия считает это за одно из самых крупных вкладов Плеханова в организационный арсенал, за одну из плодотворнейших революционных идей.

Подумал ли Бабахан над тем, какое значение имел для нашей партии принцип, идея гегемонии пролетариата в буржуазной революции, формулированная Плехановым за долго до того, как была организована партия наша, идея, которая стала краеугольным камнем нашей тактики в буржуазной революции 1905—1907 г.г., или его оппортунизм и тут мешает ему видеть подлинную революционную практику?

После 1880 года Плеханову никогда не приходилось непосредственно руководить массовыми выступлениями больших рабочих масс, это совершенно правильно; он был насильно выброшен из необходимой ему стихии пролетарского массового движения, и это не могло не оказать на него сильнейшего отрицательного влияния. Но разве его программа 1903 года, которая в противовес бернштейнианскому оппортунизму ясно и определенно поставила вопрос о диктатуре пролетариата—от этого потеряла свою революционную силу? Ничуть! Какое особенное значение имела она—Бабахан может вычитать у Ленина, который, если мне память не изменяет, в нескольких строках дает об этом ясное представление в статье „К истории вопроса о диктатуре".

Не считая теоретических дел, гигантское значение которых не отрицает даже Бабахан, мы могли бы на много удлинить список „подлинных революционных дел" Плеханова, но мы этого не делаем ибо считаем излишним,—мы будем иметь возможность еще говорить о Плеханове более подробно и обстоятельно на страницах нашего журнала. Не могу не прибавить тут же, что мое якобы преклонение перед Плехановым „вообще" сплошная чепуха, я только не считаю нужным чопорно оговариваться каждый раз и именно теперь, когда никто не припоминает Плеханова социал-шовиниста, когда для всех он приобретает свой подобающий образ революционера-интернационалиста, когда социал-патриотизм его объясняют, но не считают не только актуальным, но даже заслуживающим припоминания. И я полагаю, что я безусловно прав, а жалкие попытки Бабахана за витиеватыми фразами скрыть свое невежество и незнание Плеханова—тщетные попытки.

Без конца повторять заученные фразы нельзя, есть ряд оговорок, которые молчаливо принимаются за несомненные.

„Теперь одним Плехановым—к великому огорчению нашего „плехановца вообще"—революционером быть нельзя. Нужен Маркс плюс Ленин; иная формула, иная трактовка для нас не приемлема". Что значит Маркс плюс Ленин? До сих пор мы считали, и я грешный человек по сей день продолжаю считать, что Ленин это не некая „новая сущность", которую надлежит прибавить к Марксу, чтобы получить „подлинную революционную практику", а есть марксизм в том объеме, какой современный этап освободительной борьбы рабочего класса приобрел, включил в поле своего сознания своей буйной и бурной революцией.

Если это так, а это, по нашему, несомненно так, то наш молодой профессор трижды оппортунист, когда противопоставляет Марксу—Ленина.

Переходя к основному вопросу нашей дискуссии о ленинизме, Бабахан пишет: „Основы марксизма—философского, экономического и историко-социалогического—в общем и целом мы имеем в трудах как основоположников научного коммунизма, так и в сочинениях всей плеяды их учеников: Плеханова (в теории, до отхода от марксизма), Каутского (до „каутскианства"), Ленина и др.

Эта диверсия довольно неожиданная и поэтому поражает своей странностью; оказывается, что Ленин до сих пор находился в числе „плеяды" и к самому ленинизму никакого отношения не имел; о том, что я правильно понимаю дело, показывают следующие строки: „Это учение, которое только сейчас на наших глазах, а разгар революционных битв на гражданском и хозяйственном фронтах начинает оформливаться. Оно сейчас только накопило все те элементы, которые позволяют нам попытаться дать „диалектическое обобщение", подвести кое-какие далеко не полные итоги".

Итак, нужно полагать, что даже Бабахан не будет возражать,

прочтя второй раз свою заметку, если мы на этом основании скажем, что „ленинизм“ Бабахана—это такое учение, в созданию которого В. И. Ленин никакого отношения не имел, что это учение создается в наши дни на наших глазах и ставит себе задачей „дополнить Маркса“, пользуясь тем, что сделал, говорил и писал В. И. Ленин.

Хорошо, тогда отчего весь этот гвалт Бабахана? В предыдущей заметке я как раз это и говорил.

Бабахан это не считает оппортунизмом—воля его, на то он и оппортунист, чтобы быть малосознательным, мы же ни минуту не колеблясь поддерживаем свою старую классификацию.

Переходя к вопросу об отношении ленинизма к марксизму, Бабахан напоминает читателям свою статью в „Правде“, которую он и берет за основу, в дальнейшем ее лишь несколько пополняя. Напомню центральное положение этой статьи: „Ленинизм—вот знамя, под которым организуются отряды международного пролетариата для боя за коммунизм. Учение ленинизма насквозь пропитано марксизмом; марксизм есть база для ленинизма, ленинизм без марксизма не мыслим (но марксизм без ленинизма мы имеем—это все реформисты, ревизионисты, социал-демократы. Это „чистые“ марксисты, сторонники догмы, противники диалектики и высохшие мумии теории, это все те, которые не приняли пролетарской диктатуры. Это „марксисты“—минувшего этапа развития рабочего движения)“. Приведя это место я указал ему, что в таком случае все оппортунисты всех стран оказываются марксистами („чистыми“ при этом), на что Бабахан не обратил никакого внимания и, ничтоже сумняшеся, пишет далее: „Следовательно, без Ленина теперь нет и не может быть революционного марксизма; кто в эпоху выхода из капиталистического общества не стоит на точке зрения Ленина, ленинизма, т.-е. за диктатуру пролетариата и гражданскую войну, тот не может быть назван марксистом. О „марксистах“, не принявших Ленина, мы в статье совершенно отчетливо писали, при этом подтверждая вновь вышеприведенное свое утверждение. Он думает, что единственное исправление, которое надлежит сделать к вышеприведенному отрывку, это прибавить вашего покорного слугу к числу чистых марксистов: „Думаем, что к этому списку не приявших пролетарскую диктатуру мы пропустили еще одну разновидность врагов ленинизма, а именно: всех нынешних поклонников Плеханова „вообще“. Список анти-ленинистов был бы тогда полнее. Но то, что мы пропустили в первой статье охотно заполняем здесь“.

Отроду слепому чрезвычайно трудно растолковать, какого цвета дерево, что такое гора, какова прелесть степного пейзажа. Таким же отроду слепым в марксизме является Бабахан. Он не видит и вряд ли ему можно втолковать, что ревизионисты, оппортунисты, реформисты ни в какой степени не являются марксистами, и они потому и реформисты, ревизионисты и т. д., что они не

марксисты. Они не марксисты не только в современном смысле (современный марксизм есть тот марксизм, самым гениальным выразителем и олицетворителем которого является Ленин), но они перестали быть марксистами задолго до мировой катастрофы; их беда не в том, что они „сторонники догмы“, наоборот, это нас винят в этом грехе и не без большого основания—мы догматики жестокие,—их беда в том, что у них никакой догмы нет, ведь, и пролетарскую-то диктатуру они не принимают, ибо считают это за мертвую догму, а себя, наоборот, объявляют сторонниками живой жизни.

В этом их беда! Субъективно многие из этих реформистов, быть может, и очень хотят бороться за дело освобождения рабочего класса (не все же они поголовно подлы)! но объективно они работают против пролетариата,—так мстит за себя отвергнутая ими „догма“.

Я был прав, и нужно сказать даже слишком прав, когда на основании этого отрывка обвинил Бабахана в том, что он готов в своем оппортунистическом рвении отдать марксизм первым встречным прохвостам...

Но в одном я ошибся—я не предвидел размеры трусости Бабахана. Убедившись, что спина Ленина действительно плохое прикрытие для оппортунизма, особенно такого ничтожного, как эпигонский, он пытается спрятаться за спиною Л. Троцкого. Тщетно, Троцкий не лучше Ленина защитит Бабахана.

Чтобы окончательно парализовать всякую попытку маскироваться Троцким, я приведу целиком все то место из его статьи, которое относится к данному вопросу:

„Та же опасность стоит в известной степени и перед нашей партией, в стране пролетарской диктатуры. Работа наша по необходимости специализируется и уходит в детали. Вопросы государственной бережливости, научной организации труда, понижение себестоимости продуктов промышленности, прибыли и накопления должны занять сейчас центральное место в жизни партии. Без правильной, систематической работы и без реальных и прочных успехов в этой области все остальное будет запоздалым агитаторством, т.-е. жалкой и пошлой болтовней. Но, с другой стороны, даже и несомненные хозяйственные наши успехи грозили бы ослабеть и расшататься, порождая в ней узкий практицизм, ведомственную и долевую ограниченность, крохоборчество,—если теоретическая мысль партии не будет по-прежнему с бою брать все новые и новые позиции, оплодотворяя всю нашу работу, правильной мировой и внутренней ориентировкой. Близорукий практицизм на одном полюсе, скользящее по поверхности всех вопросов агитаторство на другом—таковы две несомненные опасности или два полярных выражения одной и той же опасности, подстерегающей нас на нашей нелегкой дороге.

„Эта опасность стала бы фатальной, если бы мы допустили разрыв теоретической традиции партии. В области материальной культуры мы видели и видим, как трудно бы-

вает восстановлять, когда нарушена непрерывность работы,—но здесь нарушение было неотвратимо, вытекая из самой природы классовой борьбы и ее революционной кульминации. В области идейной мы, как партия, меньше всего нуждаемся в революции,—наоборот, поддержание идейной преемственности есть сейчас наиболее повелительное требование революционной мысли. Линию нашего дальнейшего теоретического развития достаточно определяют две точки в царстве мысли: одна из них Маркс, другая—Ленин.

„Синтетический охват обстановки на основе материалистического глубоко сверлящего анализа основных ее элементов представляет сущность марксизма (с перевесом в сторону исторического предвидения) и ленинизма (с перевесом в сторону действенных выводов). Особенности того и другого вытекают не из разницы методов, а из различия эпох. Ленинизм можно определить как марксизм, переведенный на язык эпохи империалистической агонии буржуазного общества.

„Хотя Ленин—теоретик сам давал всегда обобщенное выражение тому, что делал Ленин-политик, тем не менее,—а еще лучше сказать: именно потому—теоретическое изучение и обобщение революционной работы Ленина на протяжении трети столетия представляет самостоятельную и огромную задачу, работа над которой уже сама по себе может и должна стать школой для теоретиков партии нового призыва".

Выписка вышла длинная, но, во-первых это превосходные слова, а во-вторых нужно отбить охоту у всякого невежественного оппортуниста скрываться за именами авторитетов.

„Эта опасность (теоретическое оскудение—стала бы фатальной, если бы мы допустили разрыв теоретической традиции (курсив т. Троцкого) партии"—в том-то и дело! Всякая попытка невежественно создать разрыв теоретической традиции (а к этому сводится „деятельность" наших оппортунистов новой формации) величайшее преступление перед партией пролетариата.

„Ленинизм можно определить как марксизм, переведенный на язык эпохи империалистической агонии буржуазии". Совершенно верно, но это нечто фундаментально отличное от того, что проповедуют новоявленные оппортунисты! Тов. Троцкий глубоко образованный марксист, и он прекрасно знает, что „в области идейной мы, как партия, меньше всего нуждаемся в революции,—наоборот, поддержание идейной преемственности есть сейчас наиболее повелительное требование революционной мысли",—вот чего Бабахан не понимает!

Во время войны и революции 1917 г. нас, работающих в России, иначе и не величали—как ленинцы (величали ли в оные времена Бабахана тем же именем?—не знаю), но что это означало? Это было равносильно выражению „самые ортодоксальные интернационалисты-марксисты". Никто при этом и не замышлял отрезать от себя марксизм и бросить первым встречным собакам из-под всякой буржуазной подворотни, занятие которым особенно ознаменовали „начало" своего оппортунизма наши горе „ленинисты". Не замышляет этого и тов. Троцкий, как не трудно читателю заметить это из вышеприведенного отрывка. Но есть еще одно фундаментальное отличие между нашим ленинством и бабахановским „ленинизмом"—наше ленинство это учение самого В. И. Ленина, это есть марксизм, так, как он развернулся в деяниях и творениях В. И. Ленина в то время, как бабахановский оппортунистический „ленинизм" это некое новое учение, которое создать собираются молодые оппортунисты, для противопоставления его марксизму.

Не трудно предвидеть, что из этого получится. Но мы и без того слишком много занимаем читателя Бабаханом.

Благосклонный читатель! Статья Бабахана напомнила мне интересный рассказ про одного своенравного персидского дворянина.

Ходил этот хан-Заде по улицам Тегерана не иначе как с целой ордой и причинял много хлопот дервишам,—уличным мудрецам востока,—постоянно щеголяя перед ними нахватанными цитатами из Корана, Саади, Фирдуси, Хафыза.

В одно из таких шумных похождений сего ретивого дворянчика со свитой, один из дервишей обратился к нему,—после особенно долгого мучения—и сказал: „Хан-Заде, ты умен, что и сказать, а все-таки, как я вижу, у тебя на самом стыдном месте шаровары твои шелковые продырявились".

Хан-Заде опешил, несколько минут соображал, а затем порывисто скинул штаны свои и сказал: „Хан-Заде или ходит в целых штанах или без них". Тогда дервиш обратился к нему и сказал: „Хан-Заде, тебя не сделали умным Хафыз, Саади, Фирдуси, Коран, но неужели ты нисколько не поумнел и от тех лоз, которыми, как я вижу, твой отец тебя изрядно награждал".

Бедный дервиш! Он был очень наивен...

Материалист.

БИБЛИОГРАФИЯ.

Национальный вопрос и Р. К. П.

Г. Сафаров—**„Национальный вопрос и пролетариат“**—Пгр. Гос. Изх. 1922, стр. 204.

„Марксизм и национальный вопрос“—Сборник статей и материалов в двух частях под редакцией и с перевод. М. Равич-Черкасского—Изд. „Пролетарий“.—1923, стр. 198—260.

„Марксизм и национальная проблема“—Сборник статей.—Сборник 1. Предисловие С. Диманштейна.—Гос. Изд. Украины. Харьков, 1923 г., стр. 278.

Национальный вопрос—один из самых сложных и запутанных вопросов капитализма—в наши дни приобретает особо важное значение.

И чем ближе подходит передовое человечество к уничтожению эксплоатации человека человеком, с вступлением его в полосу революционных потрясений, национальный вопрос к тому же приобретает значение „аргумента“, одного из тех аргументов, которые в конце концов если не обуславливают окончательное решение дилеммы, то на много приближают ее реализацию.

На самом деле, наш опыт после октябрьской революции с совершенной очевидностью показывает нам, что пролетариату и после победоносной революции придется длительное время „решать“ национальный вопрос. Даже те наивные простаки, которые в 1918—1919 г. думали, что национальную проблему следует считать уже решенной, во всяком случае ее не следует считать одной из трудно разрешимых проблем диктатуры пролетариата,—даже и те сегодня хорошо понимают, как они жестоко ошибались.

XII Съезд нашей партии не даром одним из центральных вопросов своих занятий сделал „национальный момент“—это действительно первостепенной важности вопрос в числе тех труднейших и сложнейших вопросов, которые и составляют в сумме понятие пролетарской диктатуры.

И наша коммунистическая литература почувствовала всю важность вопроса, но, увы, попытки, которые до сего сделаны для правильного освещения вопроса, надлежит считать крайне неудачными.

Лежащие перед нами три книги не одинакового достоинства; о специфических особенностях—недостатках и достоинствах их—я скажу несколько слов в конце статьи, но для них всех одно является общим недостатком, это то, что в них совершенно искажена картина развития взглядов Р.К.П. на решение национальной проблемы. Ниже я постараюсь набросать с моей точки зрения более правильные вехи к истории, чем это сделано в этих трех книгах, занимающих в общей сложности около 1000 страниц, постараюсь *восстановить* (именно восстановить, ибо каждая из этих трех книг по своему, по особому

коверкает *историю*) подлинную историю развития взгляда Р.К.П. на решение национальной проблемы.

Когда возник национальный вопрос? „Национальный вопрос—не новый вопрос. *На практике он стар как мир* (!)“—это слова из предисловия Равич-Черкасского к сб. „М. и нац. вопрос“. От этого утверждения всякий разумный человек придет в ужас, ибо возраст мира вряд ли реально представляем, а национальный вопрос, как таковой, встал перед передовым человечеством с момента появления национально-освободительных движений, а оные движения имеют чрезвычайно незначительный возраст и вполне укладываются в ближайшие к нам столетия.

Национально-освободительные движения—порождение развития капитализма. Рост капиталистического способа производства, усиление тенденции к государственному единству с единым языком по всей территории—те самые причины, которые порождают широкие демократические движения,—порождают и национальный антагонизм между разными нациями, входящими в состав государства.

Если это так, а это несомненно так, то, спрашивается, нельзя ли точно определить момент появления национальной проблемы у нас в России и нельзя ли определить, с какого примерно момента в истории Р.К.П. возникает потребность в решении этой проблемы.

Все три автора пытаются ответить на этот вопрос, при чем приоритет в решении вопроса несомненно принадлежит т. Сафарову.

„Первым значительным спором по национальному вопросу,—пишет Сафаров,—в рядах Р.К.П. был спор между старой „Искрой“ и „Бундом“ [1]). Вслед за ним Диманштейн в предисловии к сборнику „Маркс. и нац. пробл.“ пишет о бундовцах, как о „первых теоретиках национального вопроса в России“ [2]). А Равич-Черкасский туманно говорит о „двадцати пяти, тридцати годах“.

Само собою разумеется, эти соображения, высказанные всеми тремя товарищами, никак не могут быть названы правильными.

Россия,—страна многонациональная. Она вступила на путь капиталистического развития чрезвычайно поздно, буржуазно-демократическое движение—плод второй половины XIX столетия, так же как и борьба наций, которая с особой силой выступила к концу XIX столетия, т.-е. накануне решительного момента буржуазного движения. И немудрено поэтому, что *с первых же шагов марксизму в России* пришлось столкнуться с национальным вопросом—это был один из тех проклятых вопросов, которые возрождались во все критические моменты общественного развития после шестидесятых годов в России.

Эпоха возникновения и оформления российского марксизма—одна из подобных знаменательных критических эпох. Ей было суждено выдвинуть и подвергнуть переоценке целый ряд важнейших вопросов, в том числе и вопрос национальный.

Бакунизм в России претерпел много изменений, но в ряде пунктов он неизменно вошел в программу, в идеологию нашего народничества (отрицание политической борьбы, вера в русскую общину и т. д.); одним из таких целиком принятых у Бакунина пунктов землевольческой программы был пункт о „федерации“. Этот пункт вместе с другими был унаследован от „Земли и Воли“ „Черным Переделом“. Чернопередельцы называли себя „социалистами-федералистами“, и не кто иной, как Плеханов, еще в январе 1881 г. писал своим това-

[1]) Сафаров,—*цитир. сочин.*, стр. 110
[2]) *Назван. сборник*, стр. XI.

рицам—новым издателям „Черного Передела“: „В политической области, по нашему мнению, орган (т.-е. „Ч. П.“ В. В.) должен остаться верным принципу федерализма. Поэтому распадение Российской империи на самостоятельные организмы по естественным ее областям пусть будет откликом на зов, раздающийся с другой стороны—„Всероссийский Земский Собор“ [1]. С другой стороны, у „Нар. Воли“, которая в целом ряде пунктов разбила бакунизм, а в некоторых отстранила от него, создав страну российского бланкизма, эта революционная террористическая партия как раз в национальном вопросе обнаружила наибольшую беспринципность. В начале 1881 г. по всему югу Росиии прокатились жестокие еврейские погромы. Как относилась „Народная Воля“ к ним?—Комитет „Народн. Воли“ увидел в них начало восстаний, которое должно было низвергнуть старый порядок на Руси и вручить верховную власть революционерам [2]. „Черный передел“ не так смотрел на эти погромы. Плеханов в апреле 1881 г. писал Лаврову: „Как вам понравилось избиение „жидов“ чуть ли не по всей матушке России. Все эти сцены, положительно, переносят воображение в средние века“ [3]. Он принялся было написать брошюру против антисемитизма спустя год с лишним после этого письме, но не закончил и бросил писать, считая ее за „азбучную истину“ [4].

И беспринципная неразборчивость российского бланкизма и ортодоксальный федерализм народников—были одинаково конкретными программами по национальному вопросу, и совершенно понятно, что молодая марксистская мысль, пересматривая и перетряхивая весь „багаж“ вчерашнего дня, должна была почистить и этот уголок „Авгиевой конюшни“ [5]. Уже в середине 1882 г. мы видим Плеханова за этим, не совсем веселым, занятием. Он пишет П. Лаврову: „Я очень жалею теперь, что я согласился участвовать в „Черном Переделе“, как органе социалистов-федералистов. Я связан теперь в своей политике с Драгомановым, с которым рано или поздно нам придется воевать не на жизнь, а на смерть. Боюсь, чтобы „Вестник Народной Воли“ не связал меня еще больше, если он будет проповедывать федерализм. Я теперь решительно противник федерализма; по моему лучше якобинство, чем эта мелко-буржуазная реакция“ [6]. Перед нами весь Плеханов, наметивший в этих нескольких словах программу своей дальнейшей деятельности на целых четверть века. И в этом пункте сомнений не было, не было колебаний, преимущество „якобинства“ перед „мелко-буржуазной реакцией“ было выяснено еще, следовательно, более чем за год до организации „Гр. Осв. Тр.“—первой официальной марксистской организации. В дальнейшем оппортунистическое вороньe много каркало насчет „якобинства“ тактики Р.К.П. Наше якобинство, как видит читатель, имеет почтительный возраст и славную традицию.

Совершенно ясно, что еще задолго до того, как бундовцы решили сделаться „первыми теоретиками национального вопроса“,—отношение российской социал-демократии к нему было уже поставлено на крепкий фундамент подлинного революционного марксизма. Достаточно вспомнить отношение Гр. Осв. Тр. к польскому освободительному движению. Г. В. Плеханов в 1896 г. в Цюрихе, на международном

[1] „Черн. Передел“ № 3—„Черн. Передел.“ Гос. Изд. 1923, М., стр. 238.
[2] Об этом подробнее см. „Времена меняются“—соч. Плеханова, т. XII.
[3] Л. Дейч—Г. В. Плеханов“, вып. I, стр. 87.
[4] „Соврем. мир“, № 5, за 1912 г., стр. 173.
[5] Выражение Плеханова.
[6] Л. Дейч, стр. 93

собрании в память 4 социалистов, казненных в Варшаве по делу „Пролетариата“, сказал: „Для нас, социалистов, Польша вовсе не умерла... С тех пор, как на место старого революционного движения выступило движение борющихся за свои права рабочих, мы можем быть уверены, что Польша должна победить. Старая песня „Еще Польша не погибла“ теперь только наполнилась новым содержанием и стала пророческой формулой будущего. И когда польский пролетариат подымется на смертельный бой со своим злейшим врагом—царизмом, он не будет одинок: с запада ему протянет руку германская социал-демократия, что же касается востока, то это будет уж нашим делом, делом сознательного русского пролетариата, чтобы в решительный момент из России в Польшу явились не только одни палачи. Польское социалистическое движение развивалось все больше, являя пример нам и угрозу царизму. За это мы, русские социалисты, должны быть благодарны полякам, и мы всегда будем повторять: действуй, наша Польща, наша рабочая Польща, борись и победа будет твоя“ [1]. (См. еще предисловие Плеханова к бр. Дикштейна „Кто чем живет“ [2], относящееся к гораздо более ранней эпохе—1885 году.) Тот самый вопрос, который стал предметом спора между Искрой и Бундом, для российской социал-демократии был решен одним из первых, как видит читатель.

За этим общим решением чрезвычайно длительное время пролетарское движение в России не занималось национальным вопросом—и тому были глубокие основания.

Конечно, национальный гнет ни на иоту не уменьшился, разумеется, социал-демократия ничуть не умаляла гигантское значение этого животрепещущего вопроса,—дело не в этом.

Эпоха от образования „Группы Освобождения Труда“ до первого Съезда Р.С.Д.Р.П. (1883—1898) является эпохой оформления рабочего класса, как класса, как решающей политической силы в стране. Его партия вместе с ним проделывает этот рост от разрозненных групп к массовому всероссийскому целому, от возможности партии—в организационно-оформленный политический авангард рабочего класса.

Разумеется, в таком процессе развития национальный вопрос выпячивался лишь в моменты особо острые, когда в силу полицейского самодержавного режима национальная ненависть выливалась в руководимые полицией погромы. Не то было в самой западной из российских провинций—в Польше. В промышленном отношении это была страна с совершенно оформившимся капиталистическим лицом. Ее пролетариат имел уже длительную революционную практику и классовую партию.

Но если на этом основании исследователь решится выкинуть за борт идейное наследство предшествующей эпохи, то его постигнет та же участь, что постигла Сафарова и др. товарищей, последовавших его примеру.

Баснословный гнет самодержавия издавна сделал Польшу страной, где буржуазия и мелкая буржуазия (даже часть рабочего класса—правда, сама классово-малосознательная) была настроена явно националистически; лозунг „независимость Польши“ был самым святым лозунгом и в стране и далеко за ее пределами.

Совершенно понятно, что польская социал-демократия с первых же шагов своей деятельности столкнулась с этим вопросом.

Вопрос этот в польской и немецкой прессе горячо обсуждался, были установлены три точки зрения, и вопрос был перенесен на ре-

[1] Цитирую по статье С. Геккера из „N. Z.“ т. XIV, вып. II.
[2] С-с. т. II.

шение международного Конгресса. Таким образом, решение Лондонского Конгресса совсем не так просто появилось, как это кажется т. Сафарову. Отголоски этого острого диспута в рядах польских революционеров, в которых не малое участие принимал Бунд, можно найти и в русской зарубежной прессе. Стоит только просмотреть „Работника“ (№ 5-6), чтобы убедиться в этом. Решение Лондонского Конгресса, которое гласило: „Конгресс объявляет, что он стоит за полное право самоопределения (Selbstbestimmundsrecnt) всех наций и выражает свое сочувствие рабочим всякой страны, страдающей в настоящее время под игом военного, национального или другого абсолютизма; конгресс призывает рабочих всех этих стран вступить в ряды сознательных (klassenbewust, сознающих интересы своего класса) рабочих всего мира, чтобы вместе с ними бороться за преодоление международного капитализма и за осуществление целей международной социал-демократии“, является огромной победой революционного марксизма. Оно ввело в социал-демократическую программу, в поле обсуждения социал-демократии „право нации на самоопределение“, которое не менее страстно обсуждалось, чем все остальные проблемы рабочего движения, но в котором ранее, чем где бы то ни было, огромное большинство социалистов встало на путь самого неприкрытого оппортунизма. Оно длительное время, вплоть до 1917 года, стало предметом жестокой борьбы.

Т. Сафаров разделяет историю возникновения двух основных проблем национального вопроса. Он полагает, что проблема автономии или федерации—является на сцену в эпоху „Искры“, а вопрос о праве нации на самоопределение, примерно, с Лондонского международного Конгресса (меня интересует сейчас история Росс. К.П.). Мы уже видели, что это неверно хронологически, но и самое подразделение неверно. Два эти вопроса не являлись попеременно, они явились сразу, как две стороны одного и того же вопроса, когда развитие рабочего движения в самой России перенесло центр творчества вопросов в самую Россию в момент оформления революционного рабочего движения, примерно, в девяностых годах. Западные окраины и Кавказ еще задолго до „Искры“ выдвинули национальный вопрос именно в форме вопроса об автономии и федерации. Бунд, как самая сильная национальная организация, и взял на себя инициативу постановки и решения вопроса. Отголоском этого служит хотя бы статья все в том же № 5—6 „Работника“.

Да и первый Съезд Р.С.Д.Р.П. был вынужден считаться с существующим брожением.

Как и по ряду других вопросов, по национальному вопросу, первый Съезд 1898 г. декларировал в своем манифесте создание единой с.-д. партии, в которую национальные соц.-дем. организации входили на автономных правах, а окончательное решение вопроса он оставил на долю второго Съезда.

Такое решение естественно не могло удовлетворить Бунд, ибо руководители его еще до этого стояли на точке зрения права каждой нации, входящей в Российскую империю, образовать свою соц.-демократию. Однако долгое время вопрос этот не обсуждался открыто и лишь в 1901—1903 гг. вопрос вновь встал с особой остротой перед созывом второго Съезда Р.С.Д.Р.П. По ряду частных вопросов завязалась дискуссия между „Известиями“ З. Б. Бунда и „Искрой“, которая уже к Съезду выяснила пункты расхождения между Бундом и „Искрой“. Это оказался вопрос о федерации и автономии. Бунд отстаивал идею необходимости федеративной связи между национальными с.-д. и Российской с.-д., в то время, как „Искра“ жестоко напа-

дала на федерализм (Плеханов, Н. Ленин, Л. Аксельрод и др.) и выдвигала в свою очередь решение национальной проблемы и организационных взаимоотношений в партии в духе постановлений Лондонского Конгресса Интернационала—право нации на самоопределение и автономию в партии для национальных организаций.

В чем заключаются разногласия между этими двумя точками зрения? Бунд, выставляя требование федерации—требовал для себя независимого фактически положения от Р.С.Д.Р.П, предъявлял претензии стать единственным представителем еврейского пролетариата. Что это означало для пролетариата в его борьбе против царизма и капитализма? А то, что рабочие каждой нации сорганизовались бы в особые партии, разбились бы, следовательно, на столько частей, сколько наций в России—в то время, как враг был бы тем же, объединенным и сильным. Само собою разумеется, для интернациональной социал-демократии, стоящей на классовой точке зрения, эти националистические претензии были совершенно не приемлемы. Ну, а право нации на самоопределение, которое было выдвинуто революционной соц.-демокр. Разве оно не националистично? Так как его пытались толковать уже в эпоху Лондонского Конгресса, П.П.С. и др. националистические партии, конечно, и этот принцип мог стать националистическим. Но в том-то и все дело, что между пониманием националистов и революционных соц.-демокр. огромная принципиальная разница.

Революционный соц.-дем. не может не признать за нациями, угнетенными царизмом, права на самоопределение: „Если бы мы позабыли о нем или не решились выставить его—говорит совершенно справедливо Плеханов—опасаясь затронуть предрассудки наших соотечественников русского племени, то в наших устах стал бы постыдной ложью боевой клич международной социал-демократии: „Пролетарии всех стран соединяйтесь“ [1]). Как подлинно интернационалистическая партия, не зараженная великорусским национализмом, наша партия признала этот принцип, это право за угнетенными нациями. Но она одновременно требует такого же интернационализма и от действительно социалистических партий угнетенных народов, она требует от них, чтобы те „не развращали пролетарское сознание, не затемняли классовую борьбу, не обольщали рабочий класс буржуазно-демократическими фразами, не разбили единства современной политической борьбы пролетариата [2]). На самом деле, социал-демократия этим своим принципом категорически отказывается насильственными мерами извне влиять на национальное самоопределение, но это еще далеко не означает, что она будет поддерживать всякое требование национального самоопределения. Как общее правило, она всегда стремится к самому тесному объединению пролетариев всех национальностей и только в исключительных случаях она выставляет и защищает требование создания нового классового общества [3]). А в вопросах партийно-организационных „Искра“ стояла на точке зрения автономии. Национальные с.-д. являются частью Р.С.Д.Р.П. и автономны лишь в делах, касающихся специально работы среди пролетариата данной нации.

Все это написано в эпоху „Искры“, накануне II съезда, и с нашей точки зрения не оставляет ни тени сомнения насчет того, что уже тогда национальная программа нашей партии была совершенно ясная и определенная.

---

[1]) Плеханов—Сочинения, т. XII, стр. 250.
[2]) Н. Ленин—Собран. сочинен., т IV, стр. 245.
[3]) Н. Ленин—Собран. сочинен., т. IV, стр. 240.
[4]) С-с. т. II.

Однако, так думаем мы, а вот т. Диманштейн с нами не согласен. Он пишет:

„Нельзя сейчас утверждать, что 9-й пункт старой программы партии, декларировавший право нации на самоопределение, заключал в себе цельную программу по национальному вопросу". Нет! можно, и мы уверены, что читатель согласится с нами, если мы скажем, что, конечно, практическое решение национальной проблемы тогда не было ясно, как не было ясно решение очень многих вопросов, но принципиально 9 параграф нашей программы давал исчерпывающую формулировку, а „Искра"—совершенно цельное теоретическое толкование его.

На первый взгляд может показаться странным, что борьба, возникшая вокруг относительно узкого вопроса—формы организационной связи с.-д. партий разных национальностей, так горячо и так длительно подвергалась обсуждению. Но в том то и все дело, что на этом конкретном организационном вопросе обнаружилось явное противоречие между мелко-буржуазным националистическим федерализмом (Бунда) и пролетарским централизмом-автономизмом „Искры" в решении национальной проблемы, как до этого, еще во время Лондонского Конгресса, совершенно отчетливо выяснилось и противоречие также с так называемым радикальным крылом социал-демократии—Р. Люксембург и др.

На своем шестом Съезде федералисты из Бунда выдвинули уже новую, более конкретную, но ничуть не менее националистическую программу. VI Съезд их (1905 г. осень) принял новую резолюцию, в которой общие рассуждения насчет „федерации национальностей" были заменены конкретными требованиями „культурно-национальной автономии".

Резолюция социал-демократии требовала территориальную областную автономию, она основана на том принципе, что каждая данная область, имеющая свои экономические или национальные особенности, выделяется в особую единицу, которая в решении местных, областных дел автономна, а во всем, что касается всего государства (вопросы крупной промышленности, финансы, торговля, внешняя политика, войска и т. д.), подчинена центральному демократическому государству. В пределах данной автономной территории рабочие всех национальностей составляют тесную, единую армию, противостоящую эксплоататорам всех наций. Не то в национально-культурной автономии. Ее суть заключается в требовании, чтобы все функции, связанные с вопросами культуры, были изъяты из ведения государства и его местных органов, областных самоуправлений и переданы нациям, в лице специальных учреждений, избираемых по четырехвостке [1]). Современные капиталисты, нивелирующие с баснословной быстротой все национальные грани, создающие такие мощные организации как биржа, банк, акционерные предприятия, тресты, в которых представители всех национальностей создают свою капиталистическую культуру—современный капитализм в области школьного дела, языка, литературы—словом, того, что носит название в устах бундовцев „культуры"—стирает национальные грани, ломает нелепые, устарелые, всегда реакционные национальные рамки и предрассудки. Из этого целого, единого процесса вырвать школьное дело, скажем, и передать национальным организациям—это значило бы превратить их в гнезда клерикализма, жестокой реакции, т.-е. оно превратилось бы в оружие против рабочего класса. Их автономия, основанная на принципе экстерриториальности, является отражением

[1]) „Серп" сб. второй (формулировка I параграфа резолюции VI Съезда Бунда).

психологии мелко-буржуазных малых народов, самой, следовательно, реакционной, самой антипролетарской идеологией.

Ни украинцы, ни бундовцы, ни армяне, и тем более поляки, не могли спокойно слышать пролетарскую критику их мелко-буржуазных националистических бредней. „Ассимиляторы"—так окрестили они революционную соц.-демократию. Конечно, в этом крике—вся ограниченность националистов на лицо. Социал-демократы (а теперь Р.К.П.) насильно не только не ассимилируют никого, но вся их национальная программа построена на борьбе за самоопределение наций, против мер насильственных ассимиляций. Но социал-демократы не мелко-буржуазные утописты и превосходно видят, какую грандиозную ассимиляторскую работу проделывает капитализм. „Кто не погряз в националистических предрассудках, тот не может не видеть в этом процессе ассимиляции наций капитализмом величайшего исторического прогресса, разрушения национальной заскорузлости различных медвежьих углов, особенно в отсталых странах, вроде России [1]). Это превосходно сказано. Революционную интернационалистическую рабочую партию — коммунистическую партию, разными жупелами, реакционное содержание коих ясно ребенку, провести невозможно конечно.

Но почему эти жупелы и по сегодня еще продолжают казаться некоторым людям очень убедительными аргументами?

Потому что ограниченность — порок, свойственный и нашему времени...

...В эпоху после первой революции в рядах рабочего класса произошло жестокое опустошение. Частью в результате поражения, частью как следствие всестороннего „пересмотра", который был учинен мелкобуржуазным крылом партии.

В числе „пересмотренных" вопросов одно из первых мест занимал вопрос национальный. Ликвидаторы, столь „успешно" ликвидировавшие революционное прошлое, методы и принципы, не колеблясь взялись за ликвидацию § 9 тогдашней программы—„права нации на самоопределение". Но все дороги ведут в Рим, оппортунистическим Римом национального вопроса была бундовская автономия, на точке зрения которой и остановилось ликвидаторство. А среди ликвидаторов самый главный—Семковский, тот самый Семковский, „Философию национального вопроса" которого сегодня издало Укр. Гос. Изд. на поучение молодому поколению.

Но если оппортунизм отличался малой изобретательностью и катился от социализма и интернационализма к национализму и шовинизму по торному пути, то радикалы отличались не меньшей „устойчивостью", только на свой манер.

Р. Люксембург и другие польские товарищи с своей стороны нападали на § 9 программы, объявили его абстрактным, метафизическим. Не буду останавливаться на их возражении, блестящую им отповедь дал т. Н. Ленин [2]). На августовском совещании ЦК с местными работниками (1913 г. VIII) наша партия в особой резолюции точно и совершенно недвусмысленно подчеркнула свою непоколебимую последовательность в этом вопросе. Положение дел в партии заставило совещание выдвинуть основные положения для облегчения постановки агитации.

Они сводились к следующим пунктам:

1) Национальный мир в капиталистическом обществе возможен лишь при последовательном проведении демократического и респу-

[1]) Н. Ленин, т. XIX, стр. 48.
[2]) Н. Ленин. Собран. сочин., т. XIX.

бликанского устройства государства, обеспечивающим: полное равноправие всех наций, языков, широкую областную автономию, вполне демократическое местное самоуправление и т. д.

2) Безусловно против „культурно-национальной" автономии.

3) Слияние рабочих всех национальностей данного государства в единстве пролетарских организаций (политических, профессиональных и т. д.).

4) Социал-демократия безусловно отстаивает „право нации на самоопределение", как право на отделение и образование самостоятельного государства.

5) Вопрос о праве самоопределения нельзя смешивать с вопросом о целесообразности отделения той или иной нации. „Этот последний вопрос с.-д. партия должна решить в каждом отдельном случае совершенно самостоятельно с точки зрения интересов всего общественного развития и интересов классовой борьбы пролетариата за социализм".

Эти точные, не допускающие никаких кривотолков, положения как нельзя более были ко времени.

Если с одной стороны справа совершенно отрицался территориальный принцип (бундовцы, ликвидаторы), то слева попытки сводились к ограниченному толкованию § 9 программы.

Всякая попытка ограничивать понятие „самоопределение" в лучшем случае ошибка. Право на самоопределение есть право на полное государственное отделение,—так понимали все революционные теоретики, начиная от Маркса—таково было решение августовской конференции.

Война вспыхнула в самый разгар дискуссии по национальному вопросу, и этот теоретический спор сразу стал вопросом практической политики. Те самые причины, которые выдвинули с такой настойчивостью и остротой национальную проблему—вызвали мировую войну.

Потому ли, что военная эпоха и революция с особой силой и отчетливостью формулировали задачи, или просто по хронологической близости, но история этой поры более или менее рассказана правильно—мы на ней не остановимся.

Такова в основных чертах та история, которая иным не ясна, а иными искажена.

Но вернемся к реферируемым сборникам.

В них мы нашли много „ума, но мало толку", как говорят.

На самом деле, поглядите, какую бездну работы вложил тов. Сафаров в свою книгу. На одно преодоление тех трудов, которые цитирует он, понадобилось ему вероятно не мало трудов, много „ума", но что „толку". При всем этом у тов. Сафарова много неясного, противоречивого, неточного и неверного. „Национальное неравенство—пишет он—есть сословное политическое неравенство" [1],—не говоря о том, что это не верно, мысль выражена чрезвычайно неточно: сословное и политическое это не одно и то же. Но и по существу мысль эта неверная: „Национальное неравенство выражается в том гражданском и политическом неравноправии, которое было свойственно феодальному, дворянско-крепостническому обществу. Между нациями существует такое же политическое, сословное неравенство, какое в средние века существовало между господами и черным людом" [2].

В том-то и вся сложность вопроса, что дело обстоит совсем не так, как это описывает Сафаров. По вопросу о равноправии: армянский буржуа в Тифлисе вряд ли занимал положение „черного люда", наоборот, он там сам давил грузинскую мелкую буржуазию, хотя по теории Сафарова он должен быть пришиблен. В самые лютые времена царизма еврейские банкиры равноправно играли на бирже (а это равноправие им как раз и надо было!). На чью же шею ложилась вся тяжесть „национального неравенства"? На армянское крестьянство, на еврейский ремесленный люд. Как же при этих условиях можно называть национальное неравенство — неравенством сословным и на этом строить свою теорию и учебник. Нации — говорит он в другом месте — были превращены в сословия, каждая из отдельных национальностей получила те сословные „права", которые соответствовали ее хозяйственному весу и политическому влиянию" [1],—так, видите ли, государство национальностей предохраняло себя от революций снизу; это, конечно, остроумно рассчитано на то, что читатель все проглотит, ибо, ведь, совсем не обязательно со стороны читателя безграничное доверие, он может быть и критически настроен и тогда десяток подобных утверждений (а у Сафарова их больше), и он растеряет последнее, что он имел, либо перестанет верить даже правильным утверждениям Сафарова, которых все-таки в его книге не так мало, как могло казаться.

Или он цитирует М. Хошхабера. „В Персии революция может быть произведена (Сафаров в примечании замечает: „вернее начата",—любопытно, а кем может быть продолжена?—В. В.)—только мелкой буржуазией и ремесленным классом, мелким купечеством и военной силой. Крестьянство может только поддержать выступление этого третьего сословия в национально-освободительном движении и при условии лишь, что ему будет предстоять реальная выгода в виде раздела огромных латифундий персидских магнатов". К этому месту Сафаров в примечании замечает: „ А это и указывает на возможность перехода национально-буржуазной в советскую крестьянскую революцию" [2]). Кому—кому, а человеку, проделавшему нашу революцию, менее всего позволено говорить о „крестьянской советской революции" — советская революция без пролетариата — нелепость.

Я бы мог указать целый ряд таких принципиальных ошибок у т. Сафарова, но воздерживаюсь. Всякий спор с ним он расценивает как личное оскорбление (вспомните только прошлогоднее его выступление на страницах „Правды" против моей библиографической заметки), а мы не имеем никакого резона вести с ним личные пререкания. Мимоходом остановлюсь только на одном возражении, которое он направляет против меня. Обвиняя меня в „струвизме, колонизаторстве", сравнивая меня с Милюковым и Гильдебрандтом, он пишет на поучение: „Нельзя вести борьбу с империализмом за освобождение колоний, нельзя ставить советское строительство на бывших колониальных окраинах, не подрубивши источников колониального хищничества у себя дома" [3]). Благие советы, золотое правило, но разве об этом речь? Ведь спор в том и заключается, что кое-кто ищет „источников колониального хищничества" не там (совсем не там!), где им полагается быть.

Одно дело политическое насилие, а совсем другое дело экономическое насилие. Политическое насилие преодолеть можно и должно с жесточайшей последовательностью, не то экономическое

[1]) Реф. сочин., стр. 5.
[2]) Ibid, стр. 6.

[1]) Ibid, стр. 35.
[2]) Ibid, стр. 88.
[3]) Ibid, стр. 187.

насилие. Оно заключается в том, что крупная индустрия метрополии—передовое хозяйство—держит в своих когтях, подчиняет себе, заставляет делать то, что ему надо, разлагает патриархально-привычное доморощенное отсталое хозяйство колонии, интенсифицируя производство, специфизируя его. Спрашивается, можно ли с такой же прямолинейной последовательностью ликвидировать это насилие? Безнадежен тот, кто полагает, что можно, но еще безнадежнее тот, кто на практике эту борьбу проводит.

Если в метрополии судьба пролетарской революции зависит от крупной индустрии, а судьба последней от того, насколько бывшие колонии интенсивно будут выполнять свои прежние хозяйственные функции—то смешно, нелепо и невежественно было бы говорить не только об уничтожении, но даже об ослаблении экономического насилия. Последнее уничтожится лишь тогда, когда произойдет коренное изменение в разделении труда между областями—а это песня долгая.

Но если это так, а это несомненно так, и с этим тов. Сафаров не может спорить (особенно после XII съезда), то спрашивается, откуда такой победоносный вид у т. Сафарова?

Борьба с колонизаторством — великая задача. Но одно дело—колонизаторство и борьба с ним, а другое дело—возврат к первобытным формам хозяйствования. Право нации на самоопределение и областные автономии мелкими нациями и их интеллигенцией было на практике истолковано, как право на возврат к национально-привычным формам хозяйствования. Это особенно сильно проявилось в процессе борьбы против остатков колонизаторства. Само собою разумеется, революционная национальная политика в первый же момент должна приступить к ликвидации насильственно-колонизаторского наследства. Но революционному марксисту совершенно очевидно, что мелкие нации, которые тянет за собой, насильственно тянет в смысле экономическом, индустриальное хозяйство метрополии, всегда будут подчинены тенденции возврата к национально-привычным (всегда отсталым по отношению к хозяйству метрополии) формам хозяйствования. И это тем более неизбежно, что интеллигенция, которая приходит к власти в автономных областях и самоопределившихся республиках, эта интеллигенция годами занималась идеализацией уходящего национального быта, хозяйства, годами воспитывалась на самом затхлом националистическом партикуляризме и всегда являлась жестокой ненавистницей всего „чужеземного“, носительницей самой пошлой, мелко-буржуазной идеологии. Яркий пример такого уклона в сторону от интернационализма дает опыт Туркестана за 1920—1921 г. Борьба с колонизаторством вылилась под конец в борьбу против прогрессивных хозяйств и за кочевое и полукочевое привычное хозяйство. Почему? Потому, что товарищи, проводившие политику национального самоопределения, рассуждали не как диалектики и не с точки зрения революционного марксизма, а подпадали под влияние идеологии интеллигенции мелких наций.

Гениально проста на этот счет формула Ленина: „Борьба против всякого национального гнета—безусловно да. Борьба за всякое национальное развитие, за национальную культуру вообще—безусловно нет.“—Но, вероятно, именно потому, что она очень проста, ее мало помнят, либо при случае забывают наши национал-коммунисты.

Не следует думать, что мы сами упускаем из виду ту несомненную истину, что в момент социального переустройства и ломки неизбежны в целом ряде пунктов попятные движения, даже в области хозяйственной. Но одно—неизбежное, а другое—идеологическое извращение интернационализма Р.К.П. Ковечно, борьба с колонизационным

наследием царского правительства не могла обойтись без тяжелой борьбы, без разрушений, но нельзя их превратить в должное. Охотников превратить нужду в добродетель много теперь—мы не из их числа.

Тут Струве не при чем и приплетен лишь ради красного словца: суть спора такими словечками не затемнить. До тех пор, пока существует экономическое насилие метрополии—а это долго еще будет существовать—мелко-буржуазная интеллигенция бывших угнетенных народов будет тянуть назад, и дело Комм. партии этих народов вести с этим жестокую войну[1]).

Что сказать о сборниках? Оба они очень плохо составлены. „Марксизм и национальная проблема“ составлен без всякой исторической перспективы и представляет собою сборник статей, из которых одни хороши — Каутского и Сталина, другие слабы — изложение Бауера Семковским, статья Диманштейна,—но читатель не будет удовлетворен; он не сможет проследить сам ход развития национальной проблемы, а отношение марксизма к национальному вопросу определить по трем полемическим статьям, которые носят на себе яркую печать своей эпохи, никак нельзя.

Сборник Семковского-Диманштейна никак не можем считать удачным, еще менее удачен второй сборник—„Марксизм и национальный вопрос“; тов. Равич-Черкасский попытался решить вопрос исторически, но попытка удивительно неплодотворная. Национальный вопрос на всем протяжении роста и развития марксизма терпел много превратностей. Ортодоксальная линия подвергалась жестоким нападкам со стороны не только оппортунистов; более того: лишь столкновение с радикальным крылом марксизма являлись плодотворными столкновениями.

Так что, когда т. Равич представляет читателю два лагеря, при чем в одном лагере такие матерые оппортунисты, как Шпрингер, Пернерсторфер, Медем, Гейликман, а в другом лагере—Ленин, Каутский, Сталин (в этом же лагере приведены Сафаров и Трайнин; но, я полагаю, читатель согласится со мной, что Равич поспешил зачислением их в „классики“), мы в праве утверждать—вся проблема и ее история искажены. Что хотел тов. Равич? Чтобы современный читатель мог познакомиться с взглядами бундовцев и австрийцев? Они сейчас не представляют поучительного чтения, тем более, что приведенные авторы не бог весть как щедро одарены талантом, чтобы противопоставить их коммунистам. Но не лучше ли было бы противопоставление точки зрения коммунистов с радикалами: Р. Люксембург, с голландцами и др.? Это было бы тем поучительней, что современный читатель мог сравнить точку зрения В. И. Ленина с оспариваемой им точкой зрения Люксембург. Да и к тому же заблуждения Люксембург нельзя считать ныне совсем изжитыми, и такое сопоставление имело бы гигантское агитационное значение. Закончим наш не в меру растянувшийся реферат. Национальный вопрос в наши дни становится одной из самых важных проблем; дать хорошее руководство для изучения его—еще остается задачей дня, несмотря на вышедшие три объемистых книги.

В. В-ян.

---

[1]) Боюсь, что краткость моих возражений противниками будет использована против меня, в частности могут сказать, что я противоречу резолюции XII съезда, которая определенно предписывает всемерно способствовать изживанию экономического неравенства. Но такой упрек обнаружит в них лишь нежелание понимать меня, если не невежественное непонимание вопроса.

Müller-Freienfels: Irrationalismus. Umrisse einer Erkenntnisslehre. Lpz. 1922.

Об увлечении современной западной европейской мысли всякого рода мистицизмом и иррационализмом писалось не раз. Ницше и Шопенгауер, Бергсон и Джемс, Кайзерлинг и Шпенглер—таковы основные вехи этого увлечения, увлечения, а не философии, не умственного движения; потому что ни Бергсон, ни Джемс, ни Кайзерлинг не создают строго логически обоснованной системы мыслей: логика, как наука, им чужда, аргументация их взята из психологии, а выводы относятся скорее к темпераменту, чем к рассудку. (В этом смысле, если хотите, Ницше, Шопенгауер и Шпенглер—более „философы"). Но в этой философии воли, философии темперамента основной принцип, им выдвигаемый и нашедший чрезвычайно живую и сильную поддержку в психологии эпохи, далеко не был исчерпан во всех своих л о г и ч е с к и х возможностях. „Жизнь" требовала своего реального воплощения после бесплодного обывательского шатания в психологических самоковыряниях. И как бы символом возможности этого нового широкого мировоззрения, долженствующего оправдать реальное воплощение жизни в индивидууме, была трагическая фигура Г. Зиммеля, не сумевшего преодолеть пространственный пафос психического. Личность, индивидуальная жизнь и, далее, индивидуальное мировоззрение—становятся трансцендентными. Душа начинает обладать мировоззрением, переходящим в некоторое живое тело ее, и индивидуальность становится общим принципом мышления. Таково самое общее обозначение наметившегося за последние 3—4 года нового направления в современной „философии жизни", которое исходит не из „факта науки" и не из „факта жизни", а из факта многообразия мировоззрений. В этом направлении лежат работы Ясперса: Psychologie der Weltanschauungen 1919, Шпрангера: Lebensformen, и М ю л л е р - Ф р е й е н ф е л ь с а: Philosophie der Individualität, 1921.

Реферируемая книга Мюллер-Фрейенфельса и пытается дать логическое оправдание этой новой философии „индивидуальной жизни". На ней не лишне остановиться подробнее, так как она—лучший показатель того, каким образом вполне трезвый взгляд на вещи может обратиться в пустейшую мистику при отсутствии строго определенного н а у ч н о г о метода.

Мюллер-Фрейенфельс отграничивается прежде всего от тех тенденций современной философии жизни, которые выражаются явно или скрыто в походе против науки. По его словам многие невежды, которым рациональная методика кажется опасной и трудной, бросились в ряды тех, кто борется против односторонности научного рационализма. К числу этих весьма сомнительных по удельному весу своих суждений единомышлящих М.-Ф. относит представителей практического искусства жизни, руководствующихся в своих поступках „интуицией", особым „инстинктивным чутьем",—это купцы, воспринимающие с молниеносной быстротой все тончайшие колебания конъюнктуры жизни „делового человека"; это политики, насквозь видящие некоторым душевным тактом любого своего противника, это шахматисты, художники, религиозно-настроенные люди. В противоположность этому поверхностному скорее психологически, чем теоретически обоснованному иррационализму, М.-Ф. ищет систематического рационального оправдания иррационализма. „Иррационализм не означает борьбы темных людей против ясности и истины, он хочет только дать иную истину и иную ясность, чем односторонняя истину рационализма". (Стр. 15). Кратко его собственные взгляды можно свести к следующему.

Познание есть „душевный факт с характером оценки" (18 сл.). Для определения „познания" недостаточно рассуждения об очевидности, „правильности", „непротиворечивости", „согласия во мнениях людей", „принципе экономии сил" и т. д. и пр., потому что „история человеческого духа доказывает, что ни один из этих критериев не имел абсолютного значения";

„объективного признака, по которому можно было бы отличить истину от заблуждения, не существует". Названные критерии между тем имеют то общее, что они являются определенными „оценками", и в этом-то поэтому самый общий признак „знания". Знание прежде всего есть то, что с какой-либо точки зрения представляется ценным для данного субъекта. Но эта ценность знания всегда зависит от того, удовлетворяет ли субъект свои потребности, свои стремления, или нет. Потребности субъекта в свою очередь меняются в зависимости от условий биологических, психологических или социологических. Нужно различать предмет знания и само знание. Если предмет знания объективен и независим от субъекта, то само знание всегда субъективно, относительно, как относительны и все потребности, все нужды данного индивидуума,—последние всецело определяются потребностями той „социальной группы", к которой принадлежит индивидуум. „В наших оценках мы никогда не являемся строго индивидуальными, но всегда вместе с тем и как члены общественных союзов—исторических, национальных, сословных и других, и в зависимости от этих последних условий меняются также наши суждения об „истинности", а само понятие „знания" теряет поэтому все свое абсолютное значение, которым его наделяют". Отсюда нельзя делать вывода, что знание в таком случае зависит от субъективного произвола,—напротив, всякое „знание" заключается в практическом отношении к объективному, вне нас существующему миру. При этом этот мир не есть ни „непосредственная данность" наивного реалиста, ни „субъективное явление" идеалиста, но есть все то, что может быть „предметом деятельности", „не абсолютное, освобожденное от всякого отношения к „я" бытие, но все то, к чему мы можем стать в косвенное или непосредственное активное отношение" (27). Таково, именно, всякое практическое знание, от которого т. наз. теоретическое отличается тем, что вместо индивидуального субъекта выступает субъект социальный, отношение которого к действительности выражается не в непосредственной, но в возможной деятельности. В этом заключается объективная сторона знания. Исходным и заключительным пунктом знания всегда останется действительность. Математика, на которую столь часто ссылаются любители „чистого знания", была бы лишь умственной гимнастикой, если бы хоть на мгновенье отпала всякая возможность ее применения к эмпирической действительности. „Знание есть всегда сознание плюс действие, и в действии и состоит для нас полная реальность" (34). „Знание не есть ни полное охватывание предмета, как это кажется наивным реалистам, ни свободное построение предмета, как это утверждают идеалисты, но есть активное отношение „я" к предмету". Отсюда ясно, что М.-Ф. у прагматистов, биологистов и психологистов заимствовал наиболее ценные моменты, отбросив всякое одностороннее их развитие и совершенно отрицая такие учения, как консциентализм, феноменализм, скептицизм, агностицизм, фикционализм. В отличие от всех этих теорий М.-Ф. говорит не об абстрактной общезначимости понятий, которая является совершенно „утопическим вымыслом, но всюду, где только речь идет о сверх индивидуальном значении, он находит те конкретные сверх индивидуальные связи, о которых трактует социология" (с. 41). „При этом,—продолжает он,—я подчеркиваю в сильнейшей степени, что мое учение о познании вовсе не является диким индивидуализмом,—напротив, даже тогда, когда познающим субъектом является единичный индивидуум, познание обусловливается социально-обусловленными факторами". Резюмируя свои общие рассуждения, он говорит: „Исходя из субъекта, можно считать, что познание является процессом, обусловленным биологически, психологически, социологически, и порождающим познание благодаря тому, что он служит деятельности, деятельности в самом широком смысле, то-есть не банальной полезности, но сохранению и развитию жизни в широчайшем размере" (43),—другими словами, познание не может быть дано там, где нет активного отношения к объективной дей-

ствительности. Вот почему М.-Ф. и противопоставляет себя всякой „абсолютистической логике". Абсолютного различения „ложного" и „истинного" для него не существует. Например, если исследователь искусства избегает называть аккорд или орнамент красивыми в абсолютном смысле, зная, что это зависит всецело от связи, в которой они выступают, то и в области знания „истинность" мысли зависит от того, в связи с какой системой других мыслей выступает она, чтобы облегчить или оправдать „деятельность" данного индивидуума, как члена той или иной социальной группы. Таковы общие положения, выдвигаемые М.-Ф. относительно понятия и предмета учения о знании. Что касается критической части этих положений, то она направлена прежде всего против одностороннего рационализма.

Целью рационального познания является установление законов и понятий, обладающих „абсолютной общезначимостью". „Общезначимость" здесь стоит выше суждений отдельных индивидуумов, она „вневременного порядка (с. 2.58). Рациональное знание претендует на абсолютное, внеслучайное, сверхиндивидуальное значение. Но наш непосредственный ежедневный опыт убеждает нас в том, что мир полон такого многообразия, таких противоречий, изменений, на которые рационализм закрывает глаза или которые в бессилии обнять их своими формулами, он объявляет „явлениями" „иллюзией" и т. д. В противоположность этому, по словам М.-Ф., иррационализм подчеркивает с самого начала, что мир есть сложное многообразие и что познание этого сложного многообразия вполне возможно (4.61). „Наше человеческое мышление, — говорит Мюллер-Фрейенфельс, — должно по крайней мере считаться с возможностью, что существуют прорывы рациональной закономерности, что может быть даже некоторая закономерность иррационального вида" (с. 4). При этом „рационализирующее и иррациональное знания не только не являются несоединимыми противоположностями, но, напротив, рационализирующее знание есть только одна из форм некоторого иррационального способа мышления". Но от критики рационализма наш автор все же не отказывается. Он упрекает рационалистов в утопизме их абстрактных понятий, и в частности главнейших из них—„теоретико-познавательного субъекта" и „объекта вообще". „Я же исследую—говорит он,—не идеальные, утопические случаи, но факты, но человеческие познания, как они нам открываются в духовной истории человечества и в современной жизни" (89). „Познание не есть только индивидуальное явление,—говорит он в другом месте,—но и социальный факт, не нечто вневременное и внепространственное, но и фактор жизни" (66).

Отдельные логические проблемы у М.-Ф. выступают также в новой постановке, которая недвусмысленно определяется его общей позицией. И здесь следует отметить необычайную простоту и ясность его мысли. Как и следовало ожидать, он исходит из конкретного „обыденного", донаучного мышления в его живом опыте, и останавливается на критическом анализе языка, который характеризуется не как рациональное, „но социальное и в то же время индивидуальное явление" (71). Далее, проблема понятия значительно упрощается. „Мы постигаем смысл понятия, если при его помощи мы можем действовать, „работать". По виду этих работ и различаются понятия по роду". Понятие есть „действенный центр" в наших поступках. Ошибку интеллектуалистической логики М.-Ф. видит в том, что она ищет „понимание" не в практической действительности, но в определенных признаках. Принято думать, что понимание вполне возможно, когда понятие „ясно определено", или имеет „всеобщее значение"; это соответствует и ложному представлению о науке, когда последняя рассматривается как неподвижная система несокрушимых истин, неизменных и вневременных (91). Но в действительности наука не есть система в готовом виде, не есть готовое единство познаний. С другой стороны, подобное рационализирование никогда не может быть доведено до конца: „рационализм" приемлем как один из методов, а не как

мировоззрение. В этом его относительная ценность, в противном случае мы имеем пустейшую игру слов и фантастику. Логический „реализм понятий" Э. Гуссерля, напр., не выдерживает никакой критики по той простой причине, что, по мнению М.-Ф., в действительности никто не может удостоверить существование таких понятий, которые были бы „идеальными сущностями", независимыми от психологических особенностей данного акта мышления. Это не доказано еще ни одною из наук. И рационализирование всегда относительно уже потому, что во всяком мышлении присутствует противоположный рационализированию момент „сингуляризирования". Последнее движется в обратном направлении: оно ищет необычное, единичное, конкретное, различное. Единством этих двух направлений мысли и характеризуется всякое знание. На общей основе этой вполне трезвой и объективной концепции о целях, существе и методе знания нетрудно, как это легко понять, развить систему новой „иррациональной" логики, которая, будучи сама рациональным выражением всей неукладывающейся в схемы формальной логики стороны действительности, представляла бы вместе с тем более „общий", более „принципиальный" тип логики, не противостоящий формальной, но охватывающий ее в открытой системе общих с нею проблем. Но у Мюллер-Фрейенфельса нет метода: и этим все сказано. Его „социологизм продиктован не историческим методом, но возникает у него лишь ad hoc, и вся книга—сплошь эклектического происхождения. Этим объясняется, что вся вторая половина книги расплывается в настоящую мистику,—мистику „вчувствований", „творческой интуиции", „инстинкта" и пр. и т. д. „вчувствование в философии" посвящено не более, не менее как телепатии (211—213). Мюллер-Фрейенфельс делает ту же ошибку, в которой он упрекал рационалистов: из отдельных, взятых из специальных наук принципов делать абсолютное основание всего целого мировоззрения. Напр., его рассуждения об искусстве заслуживают всяческого внимания, и он известен главным образом своими работами по психологии искусства, но когда он художественные наблюдения переносит в область знания и мировоззрения вообще, его рассуждения лишаются всякого значения. Напр., все логические „категории" (причинность, единство и пр.,) для М.-Ф. понятны только на основе „вчувствований". Так релятивизм, не доведенный до методологической ясности, превращается в субъективизм, скептицизм и мистицизм.

Гр. Баммель.

Фридрих Энгельс – „Людвиг Фейербах"—Перевод с предисловием и примечаниями Г. В. Плеханова.—Изд. „Красная Новь". Москва, 1923 г., стр. 144.

„Опять подцензурное издание"—в недоумении принимается читатель за мою на сей раз коротенькую заметку.

Нет, товарищи, на этот раз не подцензурное, и я не ругать, а хвалить собираюсь издательство „Красную Новь": оно издало полную, не исковерканную цензурой брошюру Энгельса с двумя предисловиями и одиннадцатью примечаниями Плеханова.

Вы спросите с удивлением: хвалу за что же? За ту чрезвычайно простую вещь, что оно не оказалось невежественным? Это в наши дни величайшая заслуга.

Конечно, реферируемое издание не без недочетов (когда мы имеем уже не искалеченный труд Ф. Энгельса в издании, доступном широким массам, можем предъявлять следующим изданиям более повышенное требование).

Основной недочет—отсутствие внимательного и заботливого редакторского просмотра: делая примечания ко 11 изданию, Плеханов, естественно, пишет „Примечание к настоящему изданию"—но, ведь, это не к изданию „Красной Нови", не правда ли?—значит надлежало оговорить; ссыла-

ется в своих примечаниях на свою работу „Beiträge zur Geschichte...“ но, ведь, этот его труд теперь переведен на русский язык и имеется в трех изданиях! Что же мешало бы читателю знать об этом?

Но самое плохое последствие такой редакционной беспечности заключается в том, что шестое примечание целиком, без единого комментария, отпечатано в наши дни на поучение молодому поколению.

А что вредного в этом примечании?—Очень много.

Нужно совершенно не знать Плеханова, чтобы полагать, что он может написать в три страницы примечание об „истинных социалистах“ (в 1905 году!), не пытаясь связать это с современными ему течениями.

Он ни более, ни менее как, сравнивая „истинных социалистов“ с народниками, через последних приплетает большевиков и полемизирует с последними (т.-е. с Р.К.П.) по вопросу о вооруженном восстании. Это его право, конечно,—из песен слов не выкинешь, на 54 страницы превосходнейшего комментария—одну страницу ошибки—не грех, но нужно было бы это отметить.

Он там уже связывает имя Ленина с ницшеанцами и махистами (Луначарский и Богданов, которые тогда были видными большевиками), а впоследствии он особенно напирал на эту незаконную связь, нужно было бы особо напомнить читателям, как в борьбе как раз с этим родом оппортунизма В. Ленин чрезвычайно близко подошел к Плеханову в области философии и г. д., и т. д.

Все это надлежит сделать в следующем издании, нужен зоркий глаз редактора.

Но это для будущих изданий, а пока что не можем не рекомендовать это издание „Красной Нови“,—технически выполнено оно превосходно.

В. В-ян.

К. Диль. „Социализм, коммунизм, анархизм“—Издательство „Пролетарий“—1923 г.

„Автор предлагаемой ныне читателям книги—немецкий буржуазный профессор, и сама книга представляет собою курс его лекций, которые он в течение ряда лет читал в германских университетах перед аудиторией, почти сплошь состоящей из сынков буржуазии“... „Всякий способный критически мыслить читатель уловит буржуазное извращение истины в лекциях проф. Диля“... „Внимательному и сознательному рабочему, читателю настоящей книги, не раз бросится в глаза, что и лекции проф. Диля являются не чем иным, как изложением воззрений социализма, коммунизма и анархизма для будущих прокуроров и судей, директоров банков и журналистов, чиновников и офицеров,—для тех, кому в первую очередь придется отстаивать капиталистическую собственность и право эксплоатации наемного труда против всех этих течений“... „Не случайность, что в 1906 году книга проф. Диля вышла в России сразу в трех изданиях, и все эти издания были делом рук русских соглашателей—эс-эров и меньшевиков. И те, и другие, вопреки ясному смыслу своих программ, старательно внедряли в сознание русских рабочих их мнимое бессилие. И тем, и другим хотелось убедить русских рабочих именно в том, что правы те „социалисты“, которые, подобно проф. Дилю, думают, что „лишь через сотни лет возможно достижение социалистического строя“... (сама себя раба бьет, коль нечисто жнет.—В. Г.) Такова книга проф. Диля, и это не по мнению моему, злому и предвзятому (как думают издатели о рецензентах),—это мнение т. Гладнева, это он в предисловии к реферируемому изданию „труда“ проф. Диля так мастерски бичует двенадцать лекций германского профессора. Я не имею ничего прибавить к этим достаточно сильным выражениям: книга оценена по заслугам.

Но тогда почему это коммунистическое издательство „Пролетарий“ берет на себя роль, которую в 1905 г. исполняли „презренные соглашатели“?

„Книга проф. Диля, вредная полтора десятка лет тому назад, может сослужить большую службу сознательному и развитому рабочему читателю в настоящее время. Этого читателя также мало собъет с толку похвала, расточаемая автором во второй лекции другому буржуазному профессору—Р. Штаммлеру, как и собственная его критика социализма, опирающаяся отчасти на давно опровергнутую Марксом теорию Мальтуса, отчасти на обычные либеральные воззрения. Наоборот, эти и тому подобные специфические буржуазные извращения истины имеют то преимущество, что показывают пролетарскому читателю мыслящего буржуа, опирающегося в борьбе с пролетариатом не только на войско и полицию, но и на попа, идеалистическую философию и на демократические иллюзии.“—Остроумно, что и сказать! Перепечатывать буржуазное извращение коммунизма на поучение коммунистической молодежи—что может сравниться с этим целесообразным использованием средств, досуга, энергии.

„Книга эта выпускается в расчете на читателя марксиста и материалиста, у которого воззрения, быть может, и не вполне оформлены и закончены, но уже определенны и тверды. Но, подобно тому, как не вредно, случайно встретившись в вагоне, побеседовать с попом и не только послушать, что он имеет сказать, но и на критике его воззрений укрепить и обосновать свои собственные, ему враждебные“... Гладнев, как видит читатель, фразу не закончил,—вот каков должен был бы быть конец: „подобно этому не вредно также встретиться в издательстве „Пролетарий“ с теоретическими попами буржуазии, извращающими марксизм,“ и т. д.

Пусть этим делом занимаются любители, мы не из их числа.

Мы предостерегаем читателя, желающего учиться марксизму: по книге профессора К. Диля марксизму, а тем более коммунизму не научимся. Это не работа марксиста, это и не критика его, а так—умное извращение, не больше. К. Диль хорошо приспособил к своим задачам и социализм, и коммунизм, и анархизм. Не критикует, а именно приспособливает. Поэтому его книга и не должна была быть издана марксистским издательством.

Но так как издательство „Пролетарий“ само не умеет найти границу, где оно своими изданиями вредит делу марксизма, то мы предлагаем читателям самим беречь себя и защитить марксизм: не покупать это издание. Материальный ущерб—лучший урок для издателей.

В. Румий.

Э. Енчмен—Теория новой биологии и марксизм. Выпуск первый. Тип. раб. фак. Петерб. госуд. университета „Наука и Труд“. Петербург 1923 г., стр. VI+82.

Странная, доходящая до безумия заносчивость новоявленного реформатора, выдающего свою теорию за новое откровение, которое должно положить конец „эксплоататорскому мышлению“ всех времен и веков, является основной чертой Э. Енчмена и его книжки. Чтобы не показаться пристрастным, я приведу пару образчиков:

„Мало того: мы достигаем в этом вопросе такой ясности, что, оглядываясь кругом, не только на тертые пятаки вульгарной истории философии, но и изучая немногие, несколькие сочинения самых решительных, самых передовых, в частности современных революционеров теории, нигде не находим ничего подобного нашей ясности“.

„Прежде всего несколько слов по поводу брошюры „Восемнадцать тезисов по теории новой биологии“: мы глубоко убеждены, что в ближайшие годы мы с читателем увидим много изданий этой брошюры и много раз

мы с ним будем свидетелями того, как изучая эту брошюру, рабочие будут перелистывать ее своими мозолистыми руками; мы далеко глубоко уверены, что к этому недалекому времени все, считающиеся сейчас самыми авторитетными, сочинения по философии марксизма самым печальным образом будут покрываться все более и более толстым слоем пыли на полках школьных библиотек. Мы совершенно не сомневаемся в том, что истинная, подлинная теоретика марксизма, как мы ее застаем в лучших местах, лучших из великих творений Карла Маркса, и в ближайшие годы выйдет на широкую дорогу теории новой биологии. И эту книгу пишем для того, чтобы показать русским революционным рабочим, что теория новой биологии—это прямое и неизбежное наследие подлинного ортодоксального марксизма".

Довольно. Кто имеет хоть слабое понятие о марксизме, подлинном революционном марксизме, тот поймет невероятный вздор, кроющийся в приведенных рассуждениях. Марксизм будет поглощен биологией, превратится в разновидность биологической теории. Исторические методологические, экономические социологические моменты марксизма исчезнут, обратятся в ничто перед мироспасающим революционном биологизмом Енчмена.

Маркс, который, по существу принципов Енчменовской теории, примыкает к представителям эксплоататорского мышления, как известно, проводил самую решительную грань между законами органического и социального мира.

Биологизм не способен развивать и углублять подлинный ортодоксальный марксизм, являющийся целым мировоззрением, имеющим своей отправной точкой материю, находящуюся в процессе постоянного развития. Этим мировоззрением является, как известно, диалектический материализм. „Диалектический материализм,—говорит Энгельс, знаменитый представитель эксплоататорского мышления,—есть наука о всеобщих законах развития, что совершается в природе, истории и человеческом духе. Это два ряда законов, которые по существу тождественны, а по форме различны, ибо человеческая голова применяет их сознательно, когда в природе и по большей части в истории они протекают еще бессознательно".

Приведенное положение Энгельса пригодится нам для оценки революционного биологизма Енчмена. Пока же, судя по приведенному положению, нужно сказать, что и Энгельс повинен в вековечном обмане «эксплоататорских классов», ибо и Энгельс говорит о законах развития человеческого духа. Но, быть может, рьяный революционер Енчмен, яростный противник „эксплоататорского обмана" разоблачает этот обман по отношении в духу, оставаясь вполне лояльным по отношении к материи и к материализму? В том-то и дело, что нет! Плачевную участь духа разделяет у Енчмена и материя.

«Психология, идеализм и материализм,—говорит Енчмен,—это слова к которым со всей справедливостью можно применять гениально смелое место из Декарта: люди часто пользуются в своих утверждениях непонятными словами, ибо полагают, что некогда понимали их или получили от тех, кто эти слова понимал».

При случае Енчмен не прочь сослаться и на Декарта, когда это утверждение обнажает характер и природу „эксплоататорского" материализма. Казалось бы, что ретивому сокрушителю старых скрижалей эксплоататорского мышления не подобало бы ссылаться на Декарта, который постулирует в своей теории самостоятельную духовную субстанцию как реальное бытие, но такая ссылка оправдывается тем обстоятельством, что реакционный характер этой теории, совершенно повидимому ускользает от „революционного" ока Енчмена. Но это мимоходом, а пока вернемся к биологизму Енчмена. Попытки биологизировать марксизм делались уже давно различными буржуазными ревизионистскими теоретиками, которые на этом всегда решительно разоблачали полнейшую свою несостоятельность. Попытка Енчмена, принципиально ничем не отличающаяся от этих попыток, обнаруживает лишь изрядную заносчивость, выступающую под видом неслыханной революционности. Но если отбросить эту заносчивость, самовлюбленность, то бессодержательность этой теории оказывается поразительной. Какой биологизм способен объяснять возникновение классов? Какой биологизм способен объяснять различие социальных структур? Не благодаря биологическому различию в своей природе вступают люди между собою в борьбу, а на почве развития производительных сил, орудий труда, завладеть которыми стремятся вступившие в борьбу социальные группы. История делается людьми, и в этом историческом творчестве труд не как биологический, а как социально-экономический фактор объясняет закономерность общественного развития. Марксизм, таким образом, как историческая теория, составляя часть марксизма, как целого миросозерцания, имеет своей задачей исследование социальной среды, изучение ее в ее развитии, происхождении и исчезновении. Историей общественного развития является развитие совершенствования орудий труда, система которой образует социальную среду, что составляет в ее последовательных изменениях коренную опору общественного развития. Революционная теория Маркса связует объективные изменения исторического процесса с теми практическими задачами, которые ставит себе человечество, и поэтому девизом этой теории является познание изменения мира. Познания, таким образом, играют в теории Маркса колоссальную революционную роль. Познания в марксизме не только не упраздняются, но призываются способствовать практическому разрешению общественного преобразования.

В каком же свете выставляется и решается проблема познания в свете новой биологической теории, составляющей „прямое и неизбежное развитие подлинного, ортодоксального марксизма". Оказывается, что в связи с распространением новой биологической теоретики, совершится поголовное уничтожение логики, познания и в том числе и логики диалектической. „Некое философское мировоззрение, именуемое диалектическим материализмом"—Енчмен страстно подражает Дюрингу—будет повержено в прах, ибо в свете невиданной биологической тренировки бесповоротно замрет знание, познание, мышление и только физиологическая реакция хохота будет напоминать об эксплоататорском диалектическом материализме, одурачивавшем невинные головы передовых революционных рабочих. Что же сказать об этой перспективе, неизбежной в результате развития новой биологической теории? что может сказать бедный эксплоататор, насквозь пропитанный лживыми тенденциями эксплоататорского мышления? Кстате о Дюринге: необходимо предупредить недоумевающего читателя, что биологические упражнения у Энчмена,—уже не так много оригинальности. „Эксплоататорская бессмыслица диалектического мировоззрения" уже давно возвещалась Дюрингом, который в своих рассуждениях силился установить положение, что противоречие равно бессмыслице и потому не может существовать и в действительности. Против общественной точки зрения он впервые выдвигал биологизм.

Диалектический материализм есть наука о всеобщих законах развития, и в действительности которая приводится в движение противоречием. Но диалектический материализм есть „эксплоататорская бессмыслица", и следовательно, и противоречие, что составляет основную характеристику диалектики, как логики мирового процесса, является также бессмыслицей. Здесь мы подошли к тому месту, где можно ярко иллюстрировать эксплоататорский характер Марксова мышления в свете сокрушительной биологической тренировки. Маркс говорит, что противоречия какой-либо системы производства являются необходимым условием ее разложения и преодоления. Маркс в приведенных словах указывает на диалектический характер общественного развития, что находит свою решительную формулировку и в отражающем это развитие диалектическом материализме, для которого понятие является снимками вещей. Диалектическая логика, как логика движущегося

противоречиями бытия, составляет для Маркса серьезное, уверенное, отточенное оружие, пригодное не только как орудие исследования, но так же как орудие борьбы за изменение бытия. Но если „некий диалектический материализм“ есть „эксплоататорская выдумка“, то основателем этой выдумки является именно Маркс, чья „эксплоататорская“ роль в свете биологической теории Энчмена не подлежит никакому сомнению. „Диалектика понятий представляет сознательный рефлекс диалектического движения в действительном мире“ (Энгельс). С глубоким огорчением сознаюсь, что мне приходится ссылаться исключительно на теоретиков, участвующих в „вековечном эксплоататорском обмане“, приходится ссылаться на материалистов, которые видели в материалистическом мировоззрении, с одной стороны, могучее средство господства человека над природой, а с другой—радикальное средство против эксплоататорских форм общественного бытия, переставших соответствовать прогрессивным тенденциям производительного процесса (Маркс). Маркс, естественно, также примыкает к категории эксплоататорской, несмотря на то, что Энчмен называет его великим ненавистником эксплоатации, что совершенно не совместимо с принципами биологической теории и обнаруживается как резкий непоследовательный эклектический диссонанс. Однако и упорство Энчмена оказывается относительным. Он, например, допускает, что обычная для марксистской литературы явно эксплоататорская трактовка вопросов материализма и идеализма сыграла относительно революционную роль, честь которой разделяет диалектика Гегеля. Но... но все это только до всеспасающего распространения среди передовых революционных рабочих новой биологической теоретики.

Энгельс, как мы уже знаем, считал, что диалектика и логика останутся, когда философия уступит свое место науке. Необходимо по этому поводу сказать, что диалектический материализм, как простое отражение процесса действительности в человеческом мозгу, не отделим от этого бытия, составляет его отраженное инобытие, составляет его формальную сторону, словом, самосознание бытия. Согласно Спинозе, одного из видных представителей эксплоататорского мышления, вещь есть тело и вместе с тем идея тела. Если стоять на этой точке зрения, которую разделяли также и Маркс, и Энгельс, то материалистическая диалектика есть самопостигающая предметность и потому является универсальной и неотразимой силой, которая разрушает все прочное, устойчивое в существующем, несмотря на степень этой прочности, устойчивости и независимости, стимулируя, таким образом, реализацию прогрессивно отрицательных тенденций развития (Гегель). Поэтому Энгельс подчеркивает безусловно революционный характер материалистической диалектики. Но ведь известно, что эту свою безусловную революционность она приобрела, когда Марксом была перемещена в конкретную действительность, т.-е. когда она стала материалистической, словом, перестала быть только методом, а стала мировоззрением.

Но тут нас резко обрывает Энчмен, горящий революционной ненавистью к всевозможным эксплоататорским выдумкам, безразлично от кого бы они не исходили. „Мировоззрения, — восклицает Энчмен,—это эксплоататорская выдумка. И с наступлением эпохи пролетарской диктатуры мы против „мировоззрения“. Мы за пролетарскую и грядущую коммунистическую „единую систему органических движений“. Так, если материалистическая диалектика есть „капризная эксплоататорская выдумка“, то навряд ли состоятельна была бы сыграть даже условно революционную роль в революционной борьбе пролетариата. Если ее революционный характер безусловен, как говорит Энгельс, эксплоататорские слова которого внушают известное доверие, то это объясняется неотразимой революционной силой диалектической действительности, диалектическое движение которой, отражаясь в этой диалектике, сообщает ей безусловно революционную силу, которая является лишь отзвуком независимо от человека протекающих процессов. „Для него (Маркса) важен сверх того еще закон их (явлений), изменяемость из развития, т.-е. переход от одной формы к другой, от одного порядка взаимоотношений к другому порядку. Для него совершенно достаточно, если он, доказав необходимость современного порядка, доказал необходимость и другого порядка, к которому непременно должен быть сделан переход от первого, все равно думают ли об этом или не думают, сознают или не сознают. Маркс рассматривает общественное движение как естественно исторический процесс, которым управляют законы, что не только не находится в зависимости от человеческой воли, человеческого сознания, но определяет его волю, сознание и намерения (Маркс. Рецензии Кауфмана). Понятно, кажется, после сказанного, почему материалистическая диалектика безусловно революционна: так как она отражает безусловно революционный характер самой действительности, законы которой определяют психологическую физиономию данного общества и также революционные действия его прогрессивно революционных элементов.

Но материя и материализм являются для Энчмена эксплоататорскими словами, которые в будущем коммунистическом обществе будут предметами гомерического смеха, причиной хоральных физиологических хохочущих реакций. В таком случае предметами такого гомерического хохота окажется и сам Маркс, ибо Маркс, который предпринял и осуществил мощную реабилитацию Гегелевского метода, подвергшегося яростным нападкам со стороны буржуазных теоретиков, переместив этот метод на почву материальной конкретности и сообщив ему безусловно революционную силу. И разве, например, не известно новоявленному биологу, что Маркс указывал и подчеркивал логическую и этическую связь, существующую между французским материализмом и коммунизмом. Если материализм есть лишь эксплоататорский обман, то Маркс весь пропитан этим вековечным эксплоататорским обманом, опутан насквозь его коварными сетями, которые лишь Энчмен ухитрился окончательно порвать. Маркс, с одной стороны, был материалистом в самом последовательном смысле этого слова, так как исходил из объективного бытия, существующего и развивающегося независимо от человеческого сознания, а с другой стороны, он все же считал сознание реальным фактом, определяемым общественным бытием. Но материализм и сознание являются эксплоататорскими категориями, взорванными в воздух „новой теорией биологии“ или „единой системой органических движений“. Маркс стоял на точке зрения материалистической диалектики, и эта точка зрения разделялась Марксом по той причине, что в ней сказывается и отражается пульс действительности, трепещут ее диалектические биения, которые Маркс своим гениальным мышлением опознал и использовал это достояние, как взрывающий динамит против отживших форм капиталистического мира. Знает ли этот новоявленный биолог, что величайший в истории революции акт экспроприации экспроприаторов „обнаруживает непреодолимо реалистический характер материалистической диалектики, ибо является тем диалектическим отрицанием отрицания, которое гениальное мышление Маркса познало в процессе действительности. Если бы материалистическая диалектика была бы лишь диалектической верой, как ее клеймил Дюринг, она действительно была бы эксплоататорской выдумкой, но она является теоретическим рефлексом объективно развивающегося мира, получающегося в результате объективного изучения этого процесса и способствующего победе его революционных сил, что действуют в этом процессе“.

Материалистическая диалектика есть революционная логика, движущаяся противоречиями действительности, а логика, диалектика и познания вообще, как эксплоататорская выдумка, погибнут в сокрушительном крахе, причиненном теорией новой биологии. Познания не только как ценность, но и как процесс, „свойственный только классовому обществу“, будут взорваны в воздух, и „в то же самое время начнется, по непоколебимому убеждению Энчмена, массовое оживление, массовые победы в организмах „единой системы органических движений“, бывшей в организмах в раздавленном состоянии

все тысячелетия эксплоатации и оживающей в значительно более развитом в сравнении с до-эксплоататорским периодом виде". Говоря об относительном характере познания, который, согласно Енчмену, будет уничтожен и побежден единой системой органических движений, Енчмен оказывается не различает между идеологическим познанием, как ложно-мыслительным процессом, чуждым причинному пониманию вещей, и действительным научным познанием, что базируется на объективной закономерности бытия. Не делая такого различия, Енчмен без обиняков сокрушает познание во всех его видах, как явно эксплоататорский обман. Мы, таким образом, стоим перед дилеммой: универсальной материалистической диалектики, как науки о всеобщих законах развития, что познаются человеческой головой, которая дает сознательное выражение бессознательно протекающим в природе и истории законам, приобретая благодаря этому колоссальную революционную мощь, т.-е. становясь благодаря этому способной к революционно-преобразовательным действиям, и, с другой стороны, единой системой органических движений, т.-е. универсальной, всепоглощающей биологии, поражающей всякое познание, логику, диалектику, как разбойничьей эксплоататорской категории. „Во-первых, наше понимание процесса знания, познания совершенно не совпадает с тем смыслом, который придавался и придается этим словам во всех учениях, кроме теории новой биологии: для нас слова знание и познание означают собой только физиологические реакции без всякого участия психики, т.-е. без всякого участия непространственных явлений". Итак, вместо знания и познания—физиологические реакции, вместо материалистической диалектики—единая система органических движений. И эти физиологические реакции, и эта единая система органических движений должны положить решительный конец и самому процессу познания, и всем его возможным разновидностям, превратив его в музейный памятник и предмет гомерического хохота будущего коммунистического общества. Чтобы решить эту дилемму, необходимо, однако, решить вопрос о самой задаче марксизма, развивать которую претендует новая биология. Мы уже раньше указывали на отношение Маркса к попыткам биологического толкования социальных процессов. По этому поводу необходимо отметить, что марксизм, как историческая наука, т.-е. как применение диалектики к общественному развитию, менее всего обретается в области физиологии, химии, биологии, а напротив, стремится найти объективные условия общественных формаций, поскольку последние закономерно обусловлены развитием производительных сил. „Речь идет не о том, — превосходно замечает Антонио Лабриола,—чтобы подпереть наши индуктивные и дедуктивные выводы данными биологии, а, наоборот, о том, чтобы распознать прежде всего особенности человеческих ассоциаций, которые образуются и развиваются путем последовательной и все более совершенной деятельности самого человека в данных и изменяющихся условиях, и о том, чтобы найти отношения координации и субординации между потребностями, что являются субстратом воли и действия. Дело не в том, чтобы открыть намерения или высказать взгляд, а в том единственно, чтобы выявить с очевидностью необходимость того или иного факта". Универсальная биология, быть может, способна объяснять что угодно, но она совершенно чужда практическому объяснению вещей, остается вне сферы действия, что является основным критерием познания и его действительности. Необходимо подчеркнуть эту мысль Маркса о практическом характере познания, гласящую, что вопрос о действительности или недействительности мышления вне практики действия есть вопрос схоластический. Но этот критерий, который занимает центральное место в подлинном марксизме, совершенно не имеет места в теории новой биологии, представляющей, по словам Енчмена, последовательное развитие подлинного ортодоксального марксизма. „Разве можно что-либо понять в исторической действительности,—говорит Маркс,—без объяснения теоретического и практического отношения к природе—естествознания и индустрии. Разве можно понять какой-либо исторический период без изучения индустрии этого периода, без изучения непосредственного способа производства, экономии данного периода". Укладывается ли такое понимание в единую систему органических движений? Если не укладывается, то как же понимать притязания новой биологии на развитие подлинного ортодоксального марксизма. Когда Маркс говорил, что человек, действуя на природу вне себя, изменяет и свою собственную природу в процессе этого воздействия, он, с одной стороны, подчеркивал свою материалистическую точку зрения, а с другой стороны—момент действия, ибо человек не созерцает природу, но обрабатывает, формирует, изменяет данный ею материал. Словом, Марксом подчеркивается как раз то, что в „биологической теоретике" Енчмена является эксплоататорской выдумкой. Умрет ли действительно познание, которое, по мнению Енчмена, проникнуто исключительно эксплоататорским характером? Послушаем по этому поводу одного из тех, кто преподносит подобную эксплоататорскую отраву, а именно Фридриха Энгельса. „Мы здесь вновь встречаем то же противоречие между мыслимым абсолютным характером познания и его осуществлением в ограниченно мыслящих индивидуумах. Противоречие, которое может разрешиться только в процессе исторического прогресса, в бесконечной последовательной смене человеческих поколений. В этом смысле человеческое мышление столь же суверенно, как и несуверенно, и его способность к познанию столь же ограниченна, как и неограниченна. Мышление суверенно и способность к мышлению не ограничена потенциально в своем стремлении к развитию и по своей исторической конечной цели, но оно не суверенно и ограниченно в каждом отдельном своем проявлении и в каждый данный исторический момент. „Предупреждаю, что мои ссылки на Энгельса не предназначены для Енчмена, так как, по словам последнего, величайшая путаница в вопросах о материальном и духовном в произведениях Плеханова и Энгельса явно эксплоататорского происхождения, а эксплоататорские мышления менее всего способны убеждать неколебимого Енчмена. Энгельс вовсе не думает о неизбежном крахе познания, как явно „разбойничьего эксплоататорского обмана", а, напротив, различает между его относительным характером в каждый данный исторический момент и потенциально неограниченной способностью, т.-е. способностью познавать существующий мир постольку, поскольку человечество будет продолжать существовать и поскольку в объектах и органах познания не поставлено ему границ. Кажется, ясно. Поскольку человечество будет продолжать существовать, оно будет познавать, так как в объектах этого познания ему не поставлено границ. Если же помнить, что основное положение Маркса гласит, что общественное бытие определяет общественное сознание, то еще раз пришли к тому, что Маркс в своих основных теоретических положениях фигурирует у Енчмена в роли эксплоататора. Но Маркс даже в наиболее конкретных проявлениях экономической интерпретации оперирует явно эксплоататорскими терминами, при чем он не обнаруживает никакого сомнения насчет положительного смысла и законности этих терминов". „Под рабочей силой или способностью к труду мы разумеем сумму физических и духовных способностей, которые существуют в живой человеческой личности (Маркс). Духовные способности фигурируют у Маркса при объяснении наиболее конкретных процессов человеческой деятельности, что делает его в свете биологической теории Енчмена вполне достойным эксплоататорского звания... Тут появляется сокрушительная улыбка на лице реформатора, и он восклицает: Но где же речь о моем великом откровении, о великом дуализме между пространственными и непространственными явлениями! Ведь здесь стержень откровения, здесь его блеск, сила, грация и сокрушающий размах, ибо, например, и Плеханов только ощупью разбирается в этом великом дуализме, почему его произведения представляют сплошной музей эксплоататорских орудий мести". „Мы уже на-

учились понимать,—говорит Енчмен, увлеченный реформаторским пафосом,—что, во-первых, под словами: „материальное и духовное" Плеханов ни в одной из своих философских работ не понимает что-нибудь, хотя бы на одну минуту вполне ясное для него самого; как мы уже выразились, материальное и духовное бытие и сознание витает перед ним в пестрой эксплоататорской смеси; во-вторых, ни одно место и сочинение Плеханова не указывает на то, что этот густой туман хотя бы изредка рассеивался перед ним, и проблема материального и духовного оформлялась перед ним, как проблема пространственного и непространственного". „Развивая наше изложение,—продолжает Енчмен, —разбивая старые скрижали, мы постепенно придем к пониманию того, что величайшая путаница в вопросах материального и духовного и в сочинениях Плеханова, и даже Енгельса, и вообще во всех философских работах чисто эксплоататорского происхождения". Все, следовательно, что не вышло из-под пера Енчмена, полно эксплоататорского обмана, ибо во всем этом не говорится о великом дуализме или пространственном явлении, которое Енчмен, наконец, разоблачил в своей теории новой биологии. Однако этот великий дуализм, безжалостно разоблаченный Енчменом, является лишь показателем его полного теоретического бессилия в вопросах о материальном и духовном. Так, согласно Енчмену, выходит, что в материализме непространственные явления, которые охватываются областью психических, выступают как особая непространственная сущность, которую Енчмен и разоблачает, как подлинную эксплоататорскую иллюзию. Физиологическая речевая реакция Енчмена творит в его лингвистической тренировке настоящие чудеса вплоть до выведения мышлений из мыши, чтобы вскрыть эту зловредную иллюзию. Однако речевая плодовитость Енчмена, плодовитая в области бесплодных речей, чрезвычайно бесплодна на счет содержания. Материализм прежде всего утверждает, что нет другой субстанции, кроме протяженной. Сознание, как и движение, рассматривается материалистическим миропониманием как функция материи, которая заключается в отражении воздействующих на чувственные органы предметов. Мозг, замечает, например, Гексли, есть орган Самосознания космоса. Идеальное,—говорит Маркс,—есть переведенное, перемещенное в мозгу материальное". Как известно, Плеханов, Ленин, Деборин и другие представители ортодоксального марксизма непоколебимо держались этого положения. Но разве это положение говорит об особой непространственной сущности, говорит об особых непространственных явлениях? Понятия являются снимками вещей, духовное есть переведенное в мозгу материальное. Идеальное не существует вне протяженной субстанции, немыслимо вне своего материального носителя. Оно есть процесс, происходящий и в клетках мозговой материи, но выступающее в человеческом мозгу в субъективно-психологическом формате. Выступает, как отражающая деятельность, что дает образ и осмысленность бытию. Енчмен делает отчаянные усилия, чтобы доказать, что нет слов, которые обозначали бы непространственное явление. К сожалению, его усилия совершенно излишни, и менее всего они поражают материалистическое миропонимание, так как в последнем мыслительная деятельность есть отраженная в человеческой голове материальная предметность, ибо материя также мыслит. „Самосознание человека—есть сознание предмета" (Фейербах). Если таким образом духовное есть перевод материального в человеческой голове, то естественно, что нелепо искать слова, которые обозначали бы непространственное явление. „Я ощущаю и мыслю,—говорит Фейербах,—вовсе не как субъект, противостоящий объекту, а как субъект-объект, как действительное материальное существо. Объект для меня есть не только ощущаемый предмет, но также основание и необходимое условие для моего ощущения. Объективный мир находится не только вне меня, он также во мне самом, в моей собственной коже. Человек есть часть природы, часть бытия, поэтому нет места противоречия между

мышлением и бытием". Мышление в его объективном проявлении есть физиологический мозговой процесс, совершающийся в пространстве, но для субъекта он именно выступает напряженно аперципирующей деятельностью, истолковывающей этот объективный процесс субъективно психологически, что является его переводом в человеческом мозгу. Самая постановка этого вопроса указывает на теоретическое бессилие Енчмена в понимании материализма, который он не может понимать иначе, как дуалистически. Мысль есть тот же мозг в его бытии для субъекта. Пусть мысль является чрезвычайно сложным рефлектованным процессом, последний в человеческой голове выступает исключительно психологически, т.-е. в ощущениях, представлениях, и понятиях, словом субъективно". Психологически, т.-е. для меня, как представляющего мыслящего, представление мышления вовсе не мозговое. Я могу думать, не зная, что у меня есть мозг; в психологии нам влетают в рот жареные голуби; в наше сознание и чувство попадают только заключения, а не посылки, только результаты, а не процессы; поэтому совершенно естественно, что я отделяю мышление от мозгового акта и мыслю его самостоятельно. Но из того, что мышление является для меня не мозговым актом, а актом отличным и зависимым от мозга, не следует и само по себе, что оно не мозговое. „Короче, мышление как физиологический процесс совершается в клетках мозговой материи, протяженен и объективен, но не пространственен в его субъективном истолковании, т.-е. в его переводе в человеческом мозгу. И если субъект вместо того, чтобы говорить, я мыслю, скажет, я физиологически реагирую, он все же не будет осязать никакого физиологического материала, не будет ощупывать протяженных объектов, так как ощущение, как таковое, по справедливому замечанию Фейербаха, не может сделаться объективным предметом. Идеальное, духовное есть переведенное в мозгу материальное, но это и не исключает и того, чтобы перевод все же отличался от оригинала, что и заключается в том, что материя в данном случае существует не только „в себе", но и для себя. И это для себя бытие материи, выражаясь языком Гегеля, и квалифицируется, как субъективная сознательная деятельность. Мыслит ведь не отвлеченное существо, а именно это действительное существо, это тело (Фейербах). Геккель, один из виднейших биологов, считает, что сознание лучше всего определить словом внутреннее воззрение. Ланге в своем разборе физиологических воззрений Мейнерта, говоря о проекции внешнего мира в человеческом мозгу, проходящей через различные инстанции, говоря о превращениях рефлектованного процесса, связанных с этими прохождениями, вполне справедливо замечает, что сознательная воля, являющаяся с физиологической стороны лишь выше рефлектованной инстанцией, не терпит, однако, никакого ущерба ее сознательности. Сказанного вполне достаточно, чтобы показать реформаторскую ценность новой биологической теоретики. Енчмен в своей лингвистической тренировке производит мышление из мыши. Это весьма показательно, так как, производя эти лингвистические упражнения, он, вероятно, имел в виду свое собственное мышление.

И. Вайнштейн.

Die gegenwärtige Krisis in der Deutschen Physik. Von **Dr. Johannes Stark.** Leipzig, 1922. 32 p.

Эта небольшая книжечка, автором которой является один из крупнейших физиков современной Германии Штарк, интересна не столько сама по себе, сколько как один из показателей той горячей борьбы, которая разыгрывается сейчас в Германии между представителями экспериментального и теоретико-математического направления в физике. Борьба эта разыгрывается главным образом около новых физических теорий: принципа относительности и теории квант. И тот, и другой лагерь считают в своей сре-

де величайших ученых нашего времени. Вождями анти-релятивистов являются Ленар, Штарк и Герке,—на торжественном съезде в ознаменование столетия германского общества естествоиспытателей и врачей в Лейпциге, который начинался с доклада Лауэ о принципе относительности, они, выстроившись перед дверьми, убеждали членов съезда не слушать этого доклада. Из этого ясно, что содержание книги в сущности предопределяется ее первой страницей—посвящением Ленару, да и объявление на последней странице о новой книге Штарка: Die physikalisch-technishe untersuchung Keramischen Kaoline" является тоже многозначительным. Кризис, по мнению автора, заключается в превалирующем положении теории в нынешней немецкой физике. Экспериментальное исследование перестало быть самостоятельным, оно превратилось в простую поверку формул, выводимым теоретиками. Теория стала уже не объяснением и истолкованием опытных данных о чем-то самодовлеющем, да к тому же современные теории потеряли специфические признаки физических теорий, это или теории формально-математического или философского характера, как знаменитый общий принцип относительности Энштейна, или характера догматического, как не менее знаменитая теория квант, или правильнее квантовая теория атома, основные положения которой недоказуемы и принимаются, как некоторое „откровение духа святого". Правда, это откровение противоречит писаниям всех „отцов" физической церкви от Ньютона до Лоренца, но приятие его дает возможность теоретического вывода всех известных до сих пор спектральных формул. Не нужно забывать и того, что квантовая модель атома Бора возникла после того, как Розерфорд показал, что опытные данные делают неприемлемой общепринятую до этого времени модель Томсона. Попытки Штарка в этом направлении тоже нельзя назвать успешными, его модель еще менее удовлетворительна, чем модель Томсона.

Из упреков, которые Штарк бросает общей теории относительности, самым тяжелым и справедливым является упрек в формально-математическом характере ее основных положений. „Все Гауссовы системы координат принципиально равноценны для формулировки общих законов природы", говорит Энштейн в своей популярной книжке о принципе относительности, и Штарк правильно замечает, что здесь ни слова нет об отношениях между физическими величинами,—а только о формально-математическом представлении физических законов". Но Штарк не развивает этого возражения, ограничиваясь лишь указанием на цитированное место в брошюре Энштейна. Возражения о сомнительности экспериментальных фактов, подтверждающих теорию Энштейна, ничего существенно нового не содержат.

Подчинение экспериментального исследования целям теоретической мысли повлекло за собой сужение круга задач, разрешаемых экспериментаторами. По данным Штарка, огромное большинство немецких физиков-экспериментаторов работает в настоящее время над вопросами строения атома, т.-е., в конце-концов, главным образом поверяет приложимость формул, выведенных из „догм" квантовой теории, к разнообразнейшим спектрам. Работы прикладного характера почти не ведутся. Тут Штарк, пожалуй, недооценивает влияние войны. Благодаря войне, число экспериментальных работ значительно сократилось уже в 16 и 17 годах, что вполне понятно. Постановка экспериментальных работ часто требует больших материальных затрат, опытного технического персонала в мастерских, обслуживающих лаборатории,—в те годы Германия испытывала недостаток и в том, и в другом. И в результате многие физики от эсперимента работы перешли к теоретической, напр., в 16 году такие прирожденные экспериментаторы, как Франк и Герц, печатают работу теоретического характера. Все время войны немецкие ученые волей-неволей принуждены были разрешать задачи прикладного характера, и, м. б., устремление в области далекие от крови и грязи четырех лет войны является естественной психологической реакцией.

Путь к разрешению кризиса автор видит в возможно более широкой постановке научных работ прикладного характера. Современная немецкая физика далека от жизни и техники, говорит он, и при этом прибавляет: „Что важнее? То, что небольшой круг математически образованных специалистов будет восторгаться удачно найденному и элегантно выраженному математически отношению между физическими величинами, или многие тысячи рабочих получат хлеб и еще большее количество людей удобства благодаря приложению физики к вопросам жизни? (стр. 26). Здесь он забывает, впрочем, что много раз работа над совершенно отвлеченными научными вопросами приводила к открытиям громадного практического значения: вспомним хотя бы Фарадея, Герца, Рентгена.

Неприятное впечатление производят выпады Штарка против отдельных представителей немецкой науки.

Вл. Семенченко.

И. И. Рубин. Очерки по теории стоимости Маркса. Гос. Изд. 1923 г., стр. 125.

Книга И. И. Рубина является серьезным научным комментарием к I главе I тома „Капитала". Автор старается осветить на основе всех работ Маркса круг вопросов I главы. Лишь последняя глава, посвященная производительному труду, выходит за пределы вопросов первой главы „Капитала". Следует признать, что эта задача автору бесспорно удалась.

Основной особенностью книги является последовательная, обоснованная и убедительная социологическая трактовка всех вопросов. Наиболее яркой и ценной кажется нам первая часть книги, где И. И. Рубин разработал теорию товарного фетишизма. Автор правильно отмечает, что теория фетишизма представляет основу экономической системы Маркса и, в частности, его теории стоимости. Ее нельзя рассматривать, как самостоятельное и обособленное целое, как дополнение к теории стоимости Маркса. Она представляет собою общую теорию производственных отношений товарного хозяйства, пропедевтику политической экономии и, значит, введение в теорию стоимости Маркса. Эта часть книги распадается на следующие главы: 1) Объективная основа товарного фетишизма; 2) Процесс производства и его общественная форма; 3) Производственные отношения и вещные категории; 4) Струве о теории товарного фетишизма; 5) Развитие теории фетишизма у Маркса. И. И. Рубин обстоятельно развивает положение, что в товарном хозяйстве общественные производственные отношения людей неизбежно объективируются в вещах, принимают вещную форму и не могут проявляться иначе, как через посредство вещей. Производственные отношения, срастаясь с вещами, образуют понятия, категории. Политическая экономия изучает производственные отношения, принимающие вещную форму. Это общепризнанное положение марксистской политической экономии обстоятельно разработано автором.

Вторая часть книги, посвященная теории стоимости, оказывается поэтому органически связанной с теорией фетишизма. В этом большое достоинство книги. Стоимость автор рассматривает, прежде всего, как регулятор производства и убедительно доказывает, что в теории стоимости речь идет не о труде, как факторе производства, а о трудовой деятельности людей, как основе жизни общества. Переходя к анализу проблемы равенства товаропроизводителей и равенства товаров, автор доказывает, что отношения между различными социальными единицами капиталистического общества проходят в форме и на основе отношения между ними, как между равноправными, автономными товаропроизводителями. И выражением этой связи и взаимозависимости является категория стоимости. Тот факт, что у Маркса все понятия экономической системы логически выводятся из понятия стоимости, объясняется тем, что производственные отношения, выражением которых служат все понятия, происходят в форме отношения между независимыми товаропроизводителями, выражаемого понятием стоимости.

Равенство товаропроизводителей находит свое отражение в форме обмена, представляющего собою обмен эквивалентов. С приравниванием товаров,—доказывает автор,—сливается акт приравнивания и распределения труда. Таким образом происходит регулирование распределения общественного труда.

Целую главу И. И. Рубин посвящает анализу соотношения категорий стоимости и меновой стоимости. Он старается доказать, что их следует рассматривать, как содержание и форму. Мнение, что стоимость, по Марксу, есть скрытая сущность, а меновая стоимость—внешняя форма ее проявления,—решительно отвергается автором. Он настаивает на необходимости рассматривать стоимость не как скрытую сущность меновой стоимости, а как ее содержание. Соглашаясь с формулировкой И. И. Рубина, мы полагаем, однако, что он придает слишком большое значение этим формулировкам, ошибочно усматривая в иной формулировке иное по существу понимание проблемы.

Интересна трактовка автором абстрактного труда. И. И. Рубин доказывает, что понятие абстрактного труда имеет лишь своей предпосылкой его характеристику, как затраты человеческой энергии в физиологическом смысле. Превращение конкретного труда в абстрактный не есть мысленный акт абстрагирования, а явление социально, реально происходящее на рынке, и поэтому абстрактный труд является категорией социальной.

Совершенно правильной и обоснованной является, по нашему мнению, трактовка автором общественно-необходимого труда. Являясь решительным сторонником так называемой технической версии, он убедительно вскрывает ошибочность иного истолкования.

Интересной, хотя и спорной, является заключительная глава, посвященная проблеме производительного труда. Производительным трудом Маркс, по мнению И. И. Рубина, считает лишь труд, нанятый капиталом в фазе производства. Этим истолкованием автор пытается разрешить несомненные противоречия, имеющиеся в формулировках Маркса по этому вопросу. По нашему мнению, однако, для преодоления этих противоречий нельзя ограничиваться лишь сопоставлением и истолкованием цитат, как это сделал И. И. Рубин, но необходимо рассмотреть вопрос по существу, исходя из экономической системы Маркса в целом. И. И. Рубин от этого, однако, уклонился, заявив лишь, что он не согласен с положением Маркса, что труд, нанятый капиталом в фазе обращения, не создает стоимости и прибавочной стоимости. Между тем, нам эти положения кажутся бесспорными.

Обращает на себя внимание отсутствие во второй части книги главы о редукции сложного труда к простому. Хотя заглавие книги („Очерки“) и не обязывает к полному исчерпанию проблем первой главы „Капитала“, но так как фактически книга представляет собою комментарий к главе,—нам кажется желательным, чтобы при повторном издании она была пополнена главой о редукции.

В общем же и целом книга представляет ценный вклад в марксистскую литературу по теории стоимости и ценное пособие по политической экономии.

В. Мотылев.

А. Ефремин. Методическое пособие по политической грамоте. „Московский Рабочий“. 1923 г. 93 стр.

Брошюра А. Ефремина должна служить подробной методической запиской к программе школ политической грамоты. Задача этих первичных школ, рассчитанных на самые широкие рабочие массы, скромна, а потому и ответственна. В течение 48 часов руководитель школы должен помочь курсантам: „1) осознать сущность и историческую закономерность политического и хозяйственного строя Советской России и 2) получить представление о путях развития от советского строя к коммунизму“ (объяснит. записка к программе).

Главные пункты программы: начальные сведения по политической экономии (капитализм и империализм), понятие о пролетарском государстве, элементарные сведения по истории Р.К.П. и Интернационала и, наконец, знакомство с современным хозяйством Советской России. Таковы внешние рамки. Уже из них видно, какой ответственной, а при известных условиях и неблагодарной является работа пропагандиста в этих школах. Брошюра т. Ефремина призвана облегчить труд подобного, по большей части, средней квалификации преподавателя, показать ему, в каком виде, как, в методическом отношении, должен он передавать материал курсантам.

Автор принужден был при выполнении своей работы считаться не только с готовой программой, т.-е. с ее недостатками, о которых здесь не место говорить, но и с пунктом „Методы преподавания“ официальной объяснительной записки к программе; а между тем последняя грешит тем недостатком, что отправляется только от материала и руководителя, а не от слушателей-рабочих. По существу в этой записке уже даны преподавателю следующие методы:

1) беседа с объяснениями руководителя по наиболее сложным вопросам,
2) устные вопросы и ответы,
3) доклады-рефераты курсантов, и т. Ефремин нового к ним ничего не прибавляет.

Фактически же именно потому, что в этих элементарных школах курсантами оказываются весьма мало подготовленные товарищи, самостоятельные рефераты не удаются, они не под силу, и попытки ставить их, по общему правилу, лишь отнимают время, которое при 48 часах указанной выше программы крайне ценно.

Метод бесед, который объяснительной запиской выдвигается на первое место, а т. Ефреминым усиленно подчеркивается, весьма часто не удается по той простой причине, что для беседы необходимы не только большое умение и навык преподавателя, но и некоторый запас сведений по данному вопросу у самих курсантов. Попробуйте провести методом чистой беседы темы о феодализме, прибавочной ценности, даже первом Интернационале при отсутствии некоторых знаний обо всем этом у аудитории, а ведь аудитория первичных школ именно такова. „Беседа“ немедленно вырождается в вопросы руководителя с заведомо ничтожными ответами или вовсе без таковых, за которыми следует рассказ первого. И по существу, этих рассказов, не „лекций“, а именно рассказов, преподавателя отнюдь нечего опасаться в подобных школах.

В самой брошюре т. Ефремина, кроме официальных материалов, читатель найдет указания по литературе к темам научно-популярной и, что более ценно, художественной; ряд занятных и незанятных воспоминаний, впрочем довольно свежих, автора о том, как он сам проводил ту или иную беседу; длинный ряд интересных соображений его же о том, что „запах заводских мастерских вызывает у мещанки гримасу отвращения“, в то время как „сумма запахов танцкласса не вызывает отвращения у той же мещанки“ (36 стр.); указание на то, что школу политграмоты I ступени следует начинать (в целях ознакомления с курсантами) письменной анкетой с такими вопросами: 1) каков ваш идеал, 2) почему, 3) стремитесь ли вы к нему, 4) какими путями,—прием весьма спорный, а вопросы звучат совсем не материалистически. Такие бы вопросы тургеневским девушкам задавать, а не рабочим в 1923 году!

Много еще полезного и бесполезного найдет читатель в этой брошюре, но методики политической грамоты он не найдет.

И. Л.

К 75-летию революции 48 года. Сборник статей. Изд. „Красная Новь". Москва. 1923 г. 239 стр.

Мы с величайшим интересом прочли предлагаемый читателю сборник и глубоко убеждены, что так же отнесется к нему каждый читатель, даже и тот, который изучил имеющийся на русском языке материал о революции 1848 года, который знает не только классические работы К. Маркса и Ф. Энгельса, но и толстые книги В. Блоса, М. Баха, Л. Эритье, Б. Кинга и других.

Сборник состоит из статей лучших литераторов-марксистов—И. Степанова, М. Покровского, А. Луначарского, Е. Варги, Ф. Ротштейна, Ю. Стеклова, Ю. Мархлевского и М. Бэра. Каждый из них взял ту страну, историю которой он лучше знает, в которой он жил в свои эмигрантские годы и о которой уже не раз писал.

Общей вводной статьей является статья тов. Ив. Степанова „1848—1898—1923 г.г." В ней он вкратце анализирует, какие общественные группы и классы в какой мере и какое участие принимали в революционной буре 1848 года, и показывает, как буржуазия, крупная и мелкая, умела да еще и умеет „вести его (пролетариат) на поводу за собой и отклонять от путей, ведущих к освобождению", увлекая „всеклассовыми задачами" и „общенациональными интересами". Доказывая половинчатый характер революции, автор указывает, что в революции 48 года не было ни одной революционной партии, „которая сумела бы прочно втянуть крестьянство в борьбу за развитие и завершение революции". Деревня, без особого труда использованная контрреволюцией, раздавила революцию. Роль деревни вполне оценить мог только Союз Коммунистов, руководимый К. Марксом и Ф. Энгельсом. В своем наброске программы они дали ясную „аграрную программу" того времени: „национализацию крупного землевладения", чтобы вырыть глубокую пропасть между крестьянством и буржуазией. От этого момента автор переходит к Стокгольмскому съезду (1906 год), когда тов. Ленин в противовес масловской муниципализации выдвинул и блестяще обосновал проект национализации. Указав, что на континенте Европы пролетариат в революции 1848 года выступил „как радикальнейший придаток, как крайний левый фланг мелкобуржуазной демократии", тов. Степанов через ряд теоретических рассуждений по поводу „обращения Центрального Комитета к Союзу Коммунистов" с предложением „создать самостоятельную тайную и открытую организацию рабочей партии", чтобы рабочие не опустились до роли хора, „одобрительно рукоплескающего буржуазным демократам", протягивает нити к советам рабочих депутатов и к диктатуре пролетариата, осуществленной нашей октябрьской революцией.

Особенный интерес статья тов. Степанова приобретает тем, что он прекрасно сумел уроки революции 1848 года связать с задачами, методами и путями нашей славной и героической Р.К.П., которая в нужной мере использовала весь революционный опыт Европы.

Особый интерес приобретает „страничка из истории февральской республики 1848 года" М. Н. Покровского, озаглавленная „Ламартин, Кавеньяк и Николай I". В ней он использовал неопубликованный архивный материал и вскрывает отношение Николая I к революционным событиям, развернувшимся в Европе. Тут фигурируют и донесения Якова Толстого, тайного агента русского правительства, и переписка со своим центром российского поверенного в делах Киселева.

Тов. Покровский прослеживает, как Николай вместо того, чтобы порвать с Ламартином, с тихийновтягивается в дружеские отношения с ним через своих дипломатов, так как Киселев не с чужих слов знал, „что в лице влиятельнейшего члена временного правительства перед ним, действительно, воплощение „силы порядка"—или буржуазной реакции", которая впоследствии под видом „демократической" Франции „неожиданно протягивала Николаю братскую руку". Когда же генерал Кавеньяк разбил Парижские баррикады, Нессельроде (18 августа ст. ст.) писал: „Намерения, о которых он (Кавеньяк) свидетельствует, нам показались тем более искренними, что мы вполне согласны с генералом, думая, как и он, что какова бы ни была разница принципов, на которых основаны общество и правительство во Франции и в России, тем не менее, на почве политики в чистом виде никакой действительно серьезный интерес не разделяет оба государства". Заканчивается статья эпизодом, как Николай, „говоря без шуток, конечно, пропустил великолепный случай посадить в февральскую республику „своего" президента". И стоило это всего 250 тысяч рублей серебром. „Пропустил явно потому, что был слишком принципиален. Кто бы мог это подумать".

Особенного внимания заслуживает статья тов. Ротштейна „Сорок восьмой год в Англии". Она дает богатейший и интереснейший материал. И мы весьма сожалеем, что недостаток места не позволяет нам хотя бы вкратце дать ее содержание.

Прекрасна статья А. Луначарского, во многих случаях автор опрокидывает заключения Б. Кинга, автора книги „История объединения Италии", книги, написанной в духе английского либерализма.

Хотелось бы остановиться и на статьях других авторов, но пусть читатель сам в оригинале познакомится с ними.

Весь сборник служит прекрасной иллюстрацией мысли К. Маркса, что революция 48 года была эпохой „борьбы всех классов против пролетариата", и что „под твердой, повидимости, поверхностью обнаружился чудовищный океан, которому надо было только распространиться для того, чтобы целые континенты разнести вдребезги. Шумно и спутанно возвестили они освобождение пролетариата, тайну XIX века и его революцию", тайну, которую разрешает в наши дни Коммунистический Интернационал.

Валерьян Полянский.

А. М. Саймонс—„Классовая борьба в истории Америки" (перевод В. Дитякина). **В. Дитякин—„Очерк основных явлений истории Соединенных Штатов за 1900—1920 г.г."**, с приложением библиографического указателя русской литературы по истории и общественной жизни Соед. Штатов. Госиздат. Казань 1922 г.

Перед нами не одна книга А. М. Саймонса, а две, под одной обложкой, при чем статья Дитякина о последних десятилетиях истории Соед. Штатов по размерам больше первой, хотя она и приютилась скромно около работы Саймонса. Это—две самостоятельные работы, лишь механически связанные друг с другом. И в этом—основной недостаток книги.

Книжный голод в России огромный. Новый читатель ищет книги не для забавы, а для учения. Вот почему сугубо осторожно надлежит Госиздату проверять то, что он дает нашему читателю—рабочему и крестьянину. Но в наши дни именно эта потребность в хорошей учебной и популярной книге служит для многих „писателей" стимулом производить всякую макулатуру. Появились даже спецы этого дела. Посмотрите только, о чем не пишет В. Дитякин. На обложке рецензируемой книги мы узнаем, что автором изданы: „Мировая торговля в эпоху великого экономического кризиса 1917—1921 г.г. (эскиз)" и „О пределах рационализации труда в производстве, науке и искусстве"; „Список произведений К. Маркса и Ф. Энгельса с указанием главнейших событий их жизни и деятельности", „Искусство и социализм" и „Социалистическое движение в Польше". Печатаются и готовы к печати: Ф. Энгельс: „Юношеские письма" и „Очерк внутренней истории ломбардских городов в XII в.", ч. I—Хозяйственные отношения"; наконец, „готовятся к печати" (не готовы, а готовятся) „Профессиональные типы (историко-социологическая монография)". Мы несколько злоупотребили перечислением „напечатанных, готовых и готовящихся" к печати работ В. Дитякина,

чтобы ясно видеть, с кем мы имеем дело. Конечно, энциклопедичность вещь хорошая, но не граничит ли она часто с шарлатанством? В. Дитякин—марксист и даже не скрывает свою близость к коммунизму. Но прежде всего займемся Саймонсом. Его очерк американской истории хорош по своей сжатости и марксистскому подходу к материалу. Но сжатость часто мешает ясности и популярности изложения. Во многих местах автор говорит о вещах, называет имена, которые нашему новому читателю совершенно не известны, а переводчик не считает нужным их разъяснить. „Было известно, что Ганкок, Трумбулль (брат Джонатан) и Гамильрен знали о контрабанде и одобряли ее"... А о конституции и декларации речь идет как о совершенно знакомых вещах.

Сила книжки Самойнса в том, что она разоблачает „великий демократизм и героизм" истории С. Штатов. В этом отношении это—прекрасное противоядие к книгам à la Мижуев. Война за независимость, по Саймонсу,—борьба контрабандистов американского берега с Англией. Политика метрополии уничтожала их барыш, и „тогда поднялись угнетенные контрабандисты и устроили „Бостонское чайное общество". 18 декабря 1773 г. бостонцы выбросили чай за борт, это и послужило поводом к войне. Но Саймонс знает и другую причину: развитие промышленности в Америке сделало колонию в значительной степени независимой от метрополии. А на завтра после победы, „чтобы потребовать долги, чтобы установить пошлинный тариф на защиту фабрик, которые во время войны быстро выросли, чтобы даровать льготы рыбному промыслу и заключать торговые договоры с другими странами,—господствующий класс нуждался в сильной власти, которая связала бы штаты Союза в одну нацию". Вот причины появления конституции. В 50-х годах XIX в. разразилась война между севером и югом. Борьба шла не столько за освобождение рабов, сколько за власть над Союзом. Саймонс очень популярно и очень внимательно вскрывает причины и социальную сущность войны, ее экономические корни и последствия. Страницы, посвященные гражданской войне,—лучшие в книжке. Но и здесь сжатость и популярность часто затемняют и вульгаризируют вопрос.

Социальную историю Соед. Штатов, по Саймонсу, заполняет борьба следующих групп: плантаторы юга, пионеры запада, на севере класс купцов и класс фабрикантов и, наконец, пролетариат. Но когда автор должен нам изобразить взаимоотношения этих классов, он делает это часто так путанно, что читатель должен с большим трудом догадываться, что думал автор. Так, Саймонс почему-то упорно называет буржуазию Соед. Штатов средины XIX ст. „мелкой буржуазией". Он пишет: „то был класс капиталистов; конечно, не монополизированная, укрепленная, современная плутократия, но покоющаяся на конкуренции мелкая буржуазия, которая уже свергла в Европе феодализм"... Саймонс не дает нам анализа социального состава американского пролетариата со стороны его исторического развития. Роль эмиграции в формировании американского пролетариата не выяснена, и не установлены и причины его дифференциации. Словом, нет объяснений тому своеобразию американской истории, которое представляет особый интерес. Книжка Саймонса могла бы служить учебным пособием в наших партшколах, но только при условии, если бы она сопровождалась дельными примечаниями сведущего человека. Но этого-то и нет. В. Дитякин не дал ни одного слова в разъяснение и пояснение книги, он решил лучше под одной обложкой с Саймонсом дать свое „самостоятельное исследование".

„В самом начале нашего десятилетия можно констатировать только две силы, два рычага мировой культуры, два пути (курсив наш.—*Ц. Ф.*) будущего развития человечества: Советская Россия и Соед. Штаты",—авторитетно заявляет В. Дитякин. Что это должно означать? Это вряд ли ясно самому автору. Самостоятельный очерк В. Дитякина называется: „Краткий очерк основных явлений в истории Соед. Штатах за 1900—1920 г.г.". Это—

сумбурное нагромождение фактов без всякой связи. Скверная компиляция из хороших статей в №№ „Коммунистического Интернационала". Очерк не дает ни связной фактической истории Соед. Штатов последних десятилетий, ни сжатой характеристики. Два раза возвращаясь к описанию экономической жизни Соед. Штатов, автор не дает анализа ни причин мощного экономического расцвета страны, ни объяснения своеобразия этого развития. Для характеристики „самостоятельности" автора следует отметить следующий факт. Речь идет о кризисе 1919—1920 г.г. В. Дитякин относит начало его к половине 1919 г. Он заявляет: „Е. Варга относит начало кризиса к весне 1920 г. и в указанной выше своей работе обосновал свое ныне излагаемое здесь мнение (половина 1919 г.,—*Ц. Ф.*), а Финн-Енотаевский относит начало кризиса к началу 1919 г.". Поразительная тонкость анализа, но она почему-то не проявляется в вопросах, более существенных для данного очерка.

К очерку В. Дитякина приложен библиографический указатель русской литературы: 400 названий! Чего-чего там нет! Но, конечно, подобный указатель не имеет смысла: он не может облегчить читателю-массовику ориентироваться в этой литературе.

Книжка А. Саймонса не только не выиграла от сожительства с „Очерком" Дитякина, но сильно проиграла. Она должна быть освобождена от излишнего балласта.

Ц. Фридлянд.

Издатель: Кн-ство „Материалист". Отв. редактор: **В. Тэр.**

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

ФИЛОСОФСКИЙ и ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.

Год издания второй.

ВЫХОДИТ ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ:

А. ДЕБОРИНА, В. НЕВСКОГО, Д. РЯЗАНОВА, А. ТИМИРЯЗЕВА.

Книгами не менее 12 листов.

НА СКЛАДЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА ИМЕЮТСЯ:

№ 3, № 7—8, № 9—10 и № 11—12 за 1922 г., № 1 и № 2—3 за 1923 г.

АДРЕС:

Москва, Воздвиженка, Крестовоздвиженский пер., д. № 9, кв. 13.

Телеф. № 2-34-53.

ВЫШЕЛ И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

№ 2. МАЙСКИЙ **№ 2.**

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ЖУРНАЛА

„ПРОЛЕТАРСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО"

Орган Ц. Б. Коммунистич. Студ-ва.

В № статьи: А. Н. Баха, профессора М. М. Завадовского, А. В. Луначарского, проф. А. Е. Чичибабина, А. Романенка, проф. И. В. Грибова и друг.

Объем №—16 печатн. листов.

Цена отд. №—70 коп. зол.

№ 1 РАСПРОДАН

Редакция помещается—Страстной бульв., 12, кв. 15.

1923 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ, ОРГАН ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТА У. С. С. Р.

„ПУТЬ К КОММУНИЗМУ":

ГОД ИЗДАНИЯ 3-й.

Журнал выходит ежемес. в 12—15 печ. лист. по следующей программе:

I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. II. ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ: 1. Агиткампании и празднества. 2. Клубы, сельбудники и хаты-читальни. 3. Ликпункты и школы малограмотных. 4. Экскурсии, выставки и музеи. 5. Школы и кружки политграмоты. 6. Библиотеки. 7. Совпартшколы и курсы. 8. Антипункты. 9. Учреждения искусства. 10. Фото-Кино. III. ПРАКТИКА ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТЫ НА УКРАИНЕ и В СССР. IV. ПОДСОБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ и ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТЫ: Экономика. Политика. Советское строительство. Профессиональное движение. Кооперация. Новое в науке. Новое в искусстве. V. БИБЛИОГРАФИЯ. VI. ХРОНИКА ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТЫ: 1. Главполитпросвет. 2. Агитпроп ЦК КПУ, КСМУ, Культотдел Юзкбюро ВЦПСС, Пууно, Оргбюро Пролеткульта. 3. СССР. VII. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

На 1 год (12 м-цев)	6 р. — к.	золотом.
На ½ „ (6 „)	3 р. — к.	„
На ¼ „ (3 „)	1 р. 50 к.	„
На 1 месяц	— р. 50 к.	„

При коллективной подписке не менее 3-х экз. и для посредников (при выписке не менее 10-ти экз.)—20% скидки.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:

За 15 строк (1) 4 стр.	20 р. зол.
За 30 „ „ 2 „	35 р. „
За 60 „ „ 1 „	60 р. „

При повторных объявлениях—скидка по соглашению.

Адрес редакции и конторы журнала: Харьков, ул. Артема, № 29, Главполитпросвет У. С. С. Р.

„КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ".

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН ГЛАВН. ПОЛИТ.-ПРОСВЕТ. КОМИТЕТА РЕСПУБЛ.

ЖУРНАЛ. ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПОЛИТПРОСВЕТИТ. РАБОТЫ. **ЖУРНАЛ.**

Выходит 1 раз в два месяца, размером в 12—15 печ. лист.

ВТОРОЙ ГОД ИЗДАНИЯ. ◆◆◆ ВЫШЛО 7 КНИЖЕК. ◆◆◆ ВТОРОЙ ГОД ИЗДАНИЯ.

СОДЕРЖАНИЕ № 2 (8). ◆ (ВЫШЕЛ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ МАЯ). ◆ СОДЕРЖАНИЕ № 2 (8).

В ОБЩУЮ ЧАСТЬ вошли статьи: **Н. Крупской**—Сельско-хозяйств. пропаганда; **Ю. Лещинского**—К вопросу антирелиг. пропаганды; **Н. Колесниковой**—(Политпросветработа летом; **М. Рафеса**—Красная армия и смычка с деревней; **В. Владимирова**—Художественное просвещение в условиях НЭП'а и др.

В ОТДЕЛ—**АППАРАТЫ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ** вошли статьи: А. Рындича, **Н. Крупской, Ф. Адрианова, В. Суздальцевой, С. Левман, Л. Лойко, В. С., Л. Менжинской, А. Ефремина, Е. Хлебеача, И. Смушковой, П. Будкова, И. Бернштейна, И. Ребельского, А. Пинеса.**

ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТА ЗА РУБЕЖОМ. Статьи: **Х. Матсумото, Дж. Эмтер, Б. Ирсмен, Ф. Гула, А.** Романский и пр.

В ОТДЕЛ — **ПРАКТИКА ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТЫ** — корреспонденции по работе в провинции; материалы по работе Дома Крестьян., Дома просвещ., раб. клубов, обзор местн. работы профсоюз.

КНИГА ДЛЯ ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТНИКА.—Отзывы т. т. Е. Херсонской, И. Удальцова, В. Смушкова, Н. Рузер-Нировой, З. Богомазовой, И. Устинова, Е. Медынского, М. Слуховского и др.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ. (По работам съездов и конференций). 2-ой Съезд совпартшкол, XII-й Съезд РКП, 2-ой Съезд Соцвоса, I-ый Съезд Нацменов и др.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ◆◆ **КАЛЕНДАРЬ ТЕКУЩЕЙ ПРЕССЫ.**

Издатель: **Изд-во „КРАСНАЯ НОВЬ"** при Главполитпросвете. ◆◆◆ Ответственный редактор: **Н. А. Рузер-Нирова.**

ЧАСЫ ПРИЕМА РЕДАКТОРА—**понедельник, вторник, четверг и пятница от 1 до 3-х часов.**

Адрес редакции: Москва, Сретенский бульв., д. № 6, 4-ый подъезд, 4-ый этаж, кв. № 44. Телефон городской **2-71-00;** коммутатор: **2-71-69, 91-92,** доб. **105.**

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ.

Цена отдельного номера — 50 к. золотом; на 6 м-цев (3 книги)—1 р. 50 к., на 1 г. (6 книг)—2 р. 75 к.

Учителям труд., сельских и др. школ, препод. совпартшкол и комм. унив., библ. и научн. учр. при непосредств. обращении в отдел Период. Литер. Изд-ва—„КРАСНАЯ НОВЬ"—10% скидки.

Заказы направлять: МОСКВА, Милютинский пер., д. 2, отделу ПЕРИОДИЧЕСК. ЛИТЕРАТУРЫ ИЗДАТ. „КРАСНАЯ НОВЬ".